



Б * С * М Е Й Л А Х

*Декабристы
Турквин*

Страницы героико-трагической истории



Иркутск
Восточно-Сибирское
книжное издательство
1987

Мейлах Б. С.

М45 Декабристы и Пушкин: Страницы героико-трагической истории.— Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987. 368 с., ил.
70 к.

В книге известного советского ученого, доктора филологических наук, лауреата Государственной премии, на большом и разнообразном материале показаны органические связи А. С. Пушкина с декабристским движением, его роль в этом движении, а также значение Пушкина после разгрома восстания 14 декабря.

Тема книги охватывает период от учения Пушкина вместе с некоторыми декабристами в Лицее до гибели поэта и вплоть до того времени, когда в годы сибирской каторги и ссылки декабристами были написаны воспоминания о нем.

М $\frac{4603010101-39}{M141(03)-87}$ 68--87

© Восточно-Сибирское книжное
издательство, 1987

ФАКТЫ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФАКТОВ

Вместо предисловия

Нет ни одной книги об истории декабризма, где не возникал бы и образ Пушкина, и нет ни одной книги о жизни Пушкина, где не было бы сказано о декабристах. Немало написано и специально на тему «Пушкин и декабристы». Усилиями многих ученых накоплено обилие фактов, проведены архивные поиски, собраны воспоминания современников. Но не раз говорилось, что общая картина только складывается. В самом деле, внимание больше всего привлекали два ракурса темы: отдельные эпизоды биографии Пушкина, связанные с декабризмом, и его отношения с теми или иными членами тайных обществ. Нет еще целостной обобщенной концепции объективной роли поэта в движении декабристов — этой эпихальной полосе истории России. С другой стороны, нет целостного представления о субъективной стороне ощущения самим Пушкиным своей судьбы как участника освободительного движения, представления о том, как проникновенно он улавливал перипетии его хода. Можно сказать без преувеличения, что вся жизнь Пушкина была расколота трагедией 14 декабря (так, «трагедией», он и назвал это событие). После катастрофы восстания он мужественно, в обстановке жесточайшего террора принял на себя новую роль хранителя декабристских традиций и мучительно размышлял о том, какими силами когда-то будет возглавлено новое восстание против деспотизма и рабства.

Название моей книги — «Декабристы и Пушкин», а не привычное «Пушкин и декабристы» — не простая перестановка слов, речь пойдет не столько о взаимоотношениях Пушкина с отдельными декабристами, а прежде всего о месте и роли Пушкина в декабристском движении, о его позициях в этом движении и его судьбах до

и после 14 декабря. Используя накопившиеся в литературе факты и наблюдения, обобщая свои многолетние разыскания, я стремился показать взаимосвязь важнейших этапов развития декабризма с этапами биографии поэта. Хронологической схемой здесь взяты пушкинские наброски истории тайных обществ, которые дошли до нас в знаменитых строфах сожженной десятой главы «Евгения Онегина». Здесь Пушкин наметил канву исторических событий, современником которых он был: царствование Александра I; война 1812 г.; победа над Наполеоном; брожение в России и Европе; создание Священного союза монархов для подавления революционного протеста («Я всех уйму с моим народом,— наш царь в конгрессе говорил»); «заговоры», которые начинались с «дружеских споров» «между Лафитом и Клико», затем постепенно привели к «сети тайной» декабристских организаций.

Сознаю, что сама задача такого целостного подхода очень сложна. Здесь нужна была бы обширная монография, да, пожалуй, и не одна. Время для этого, видимо, не наступило, а между тем о необходимости такого подхода не раз было сказано в последние годы в работах Д. Д. Благого, С. Ф. Коваля, М. В. Нечкиной, В. В. Пугачева, Н. Я. Эйдельмана и других.

Не претендуя здесь на разрешение проблемы «Декабристы и Пушкин» во всей ее многосторонности, думаю, что особенно важно выстроить известные и малоизвестные факты в определенную систему, пусть противоречивую, но систему. Причем учитывать придется как факты истории, так и историю фактов. Этому способствует усилившийся интерес к истории движения первых русских революционеров. Показательна деятельность в этой области проблемного научного совета «Декабристы и Сибирь» при Иркутском государственном университете. Издаваемая Восточно-Сибирским издательством многотом-

ная серия «Полярная звезда» — крупный вклад в историческую науку. Актуальные проблемы рассматриваются периодическими сборниками «Сибирь и декабристы», всесоюзными конференциями, созываемыми в Иркутске. Сама тема судеб декабристского движения после 14 декабря 1985 г. переросла в широкую область изучения истоков декабризма и истории движения в целом.

Хочется сказать об одной трудности, с которой сталкивается всякий, кто пишет о Пушкине в связи с деятельностью тайных обществ. Вольнолюбивые, декабристские по сути стихи Пушкина выучиваются еще в школе, дистанция времени — почти полтора века — ослабила остроту восприятия этих шедевров. Нужна немалая сила воображения, чтобы ощутить сегодня вдохновлявшую на гражданский подвиг силу стихов «Вольность», «Деревня», «Любви, надежды...», «Кинжал», «Во глубине сибирских руд...», остроту пушкинских эпиграмм. Может, только в исполнении лучших мастеров художественного чтения строки эти оживают, как будто слышимы впервые. Вспоминаешь тогда свидетельства декабристов, что призывное слово поэта, стократ усиленное могучей властью его гения, оказывалось мощным средством воспитания борцов за свободу, — словно искры пламени, его стихи разлетались по всей стране, получали широчайшее распространение, на которое не могли рассчитывать законспирированные документы тайных обществ.

Вольнолюбивые стихи Пушкина породили целую агитационную литературу, поэзию, нередко анонимную, порой неумелую, но в целом сыгравшую свою роль. Это особый предмет изучения, которым еще предстоит заняться нашей науке.

Среди вопросов, волнующих ученых и читателей, — почему Пушкин не был принят в члены тайного общества. Ведь он был убежденным сторонником идей, вдохновивших членов общества на уничтожение деспотического

правления и крепостного права! Ведь он не отделял себя от декабристского поколения — это подтверждается его словами: «И я бы мог висеть...!» Идейная и духовная общность с людьми 14 декабря выражалась и в том, как он именовал их — «друзей», «товарищей», «братьев», как называл их в письмах — «наши каторжники», «наши изгнанники»! Ведь он видел себя своим среди декабристов: «На обломках самовластья напишут наши имена!», «Нас было много на челне» — иносказательное в «Арионе». А разве самым сильным аргументом, который говорит о кровной близости Пушкина и декабристов, не являются строки из десятой главы «Евгения Онегина» о сходках декабристов, где и он присутствовал, «читал свои ноэли», когда обсуждались самые решительные «меры» вплоть до цареубийства. А признание Пушкина, что он был бы «среди мятежников» на Сенатской площади 14 декабря, если бы не находился в Михайловской ссылке, разве не говорит о его идейной, эмоциональной, психологической близости к тайному обществу? И не влияет ли на стойкость водораздела между Пушкиным и декабристами, укрепившегося в современных представлениях, тот факт, что Пушкин все-таки не был принят в тайное общество? И еще: если встречались характеристики друга Пушкина П. А. Вяземского как «декабриста без декабря», то как же определить место Пушкина в декабризме? Вопросы, вопросы, вопросы... Среди них и дискуссионные, в которых предстоит разобраться, как и в тех, что требуют анализа освободительного пафоса всей многообразной творческой деятельности Пушкина, — она выходит за пределы проблемы «Декабристы и Пушкин», но в перспективе, надо надеяться, будет подробно исследована.

Эта же книга — опыт создания общей картины связей Пушкина с освободительным движением декабристской эпохи на протяжении жизни поэта — с юных лет и до гибели.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДДЕКАБРИСТСКОЕ «ПРИУГОТОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО
МНЕНИЯ». —

ОПЫТЫ ВОСПИТАНИЯ «ИСТИННЫХ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА»

1. У истоков

*В*ехи истории декабристского движения — тайной сети — Союза спасения, или Общества истинных и верных сынов отечества (1816—1817), Союза благоденствия (1818—1821), а затем Северного и Южного обществ и Общества соединенных славян — широко известны. Но этим тайным обществам

предшествовало длительное формирование передового общественного лагеря в самых разных формах. Это были всякого рода кружки, которые имели наименования «артелий» офицеров, назывались «братствами» или вообще никак не назывались. Участники таких кружков часто давали клятву верности свободолюбивым идеям. Участились собрания на дому близких по взглядам людей, велись разговоры, споры о путях освобождения страны от рабства и деспотизма. Слушались лекции прогрессивных профессоров в университете или, более свободно, «приватно», на дому. Формирование прогрессивного лагеря происходило в пестром составе, но затем началась дифференциация. По логике истории возникла необходимость в выработке определенных принципов. Пока юноши «витийствовали» в своем кругу, но это оказалось практикой для будущих речей уже не на домашнем уровне — в армии, вообще перед теми, кого можно было бы привлечь к активной деятельности. В повседневный язык началось вторжение обновленных новой ситуацией слов: конституция, право, тиран, деспот, законность, беззаконие, гражданин, вольность и других. Создавались и «свои» условные слова-сигналы, например, реакционеры назывались «варварами», «гасителями», «хамами» (а менее рьяные защитники незыблемости «устоев» — «хаменками»), а борцы с реакцией — «братьями», «друзьями», «товарищами».

Сначала упования на обновление страны поддерживались вступлением на престол в 1801 г. Александра I. Говорили, что он должен был испытать в ранние годы влияние сторонника республиканских идей швейцарца Лагарпа и сентиментального моралиста писателя М. Н. Муравьева, они были среди его воспитателей. Новый император сначала произвел некоторые административные изменения: ликвидирована Тайная экспедиция, уничтожены пытки, поначалу облегчена участь лиц, «коих вины

были неумышленны и более относились ко мнению и образу мыслей того времени, нежели к делам бесчестным и действительный государству вред наносящим». Но, разумеется, об изменениях в коренных устоях не могло быть и речи. Прошло время — несколько лет, и от так называемой реформистской деятельности царя не осталось и следа. Впоследствии Пушкин точно охарактеризовал облик этого самодержца:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда...

Среди главнейших стимулов активизации преддекабристского движения была Отечественная война 1812 г., которая вписала в историю России героические страницы борьбы народа против иностранного вторжения и освободила Европу от деспотизма Наполеона. Появилась необходимость воспитания «истинных сынов отечества», которые могли бы бороться за политическую свободу столь же самоотверженно и героически, как и на фронтах победоносных сражений¹. Как писал впоследствии Ф. Н. Глинка:

Тогда гремел звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин.

Сердцевиной деятельности декабристов была подготовка революции, столь трагически оборванной разгромом восстания на Сенатской площади. Замысел декабристов коренным образом отличался от дворцовых переворотов: его целью была не смена одного «единодержавца» другим (о такого рода перевороте — тайном убийстве Павла I в Михайловском замке Пушкин с презрением отзывался в оде «Вольность»). Деятели тайных обществ были воодушевлены патриотической мечтой о полном обновлении отечества, всех его отраслей от системы управления, экономического уклада до культуры. При этом

стремления декабристов, подкрепленные строгим рационалистическим анализом, были окрашены возвышенными поэтическими чувствами, гуманистическим желанием избавить народ от позорного рабства, добиться процветания России, свободы личности. Не случайно литературе отводилась почетная роль в подготовке восстания, а среди декабристов и их сторонников было столько писателей, не случайно Николай I приказал уничтожить все стихи, захваченные при обысках.

В недрах тайных обществ их участниками велась напряженная работа, по своему уровню близкая к исследовательской: обобщалось современное состояние России, обсуждались различные проекты ее переустройства, осмыслялся опыт мирового революционного движения. Именно из трезвого анализа следовал непреложный вывод: без революционного разрушения феодализма нельзя раскрепостить богатейшие, неисчерпаемые возможности страны. Мышление передовых деятелей тайных обществ можно назвать, пользуясь современной терминологией, динамичным и синтетическим. Николай I в манифесте 13 июля 1826 г. заявлял, что корень действий «государственных преступников» не в просвещении, а в «праздности ума», в «полупознаниях». Это была клевета, как и все, что он говорил о героях 14 декабря. Они были людьми высокой культуры, их интересы отличались исключительной широтой, их таланты и способности обнаруживаются в самых разных областях науки, политики, художественного творчества; они были подлинными новаторами, личностями возрожденческого склада (в этом убеждают факты, приведенные в 3-й части нашей книги). Энциклопедизм, беспредельная широта взглядов на мир, страсть к познанию с необыкновенной яркостью проявились в творческой деятельности Пушкина — певца декабризма и гениального художника этой эпохи.

В те же годы выкристаллизовалась идея организован-

ного воспитания граждан отечества, способных к новаторской деятельности во славу родины. Но как? Ведь вся система официально разрешенного образования в России противостояла этой идее. Тогда возник казавшийся фантастическим план создать учебное заведение нового типа, и где — в резиденции царя, в Царском Селе! Это было совершенно уникальное для системы русского просвещения, искусно придуманное начинание. И оно в значительной степени удалось.

2. Феномен Лицея.— Замысел и его судьба.— «Красугольный камень»

Впоследствии реакционеры называли Лицей рассадником вольномыслия. После восстания 14 декабря 1825 г. Булгарин в своем доносе охарактеризовал «лицейский дух» как либерализм «в самом мерзком виде», а молодые люди, зараженные им, — порицатели правительства, преследователи конституции и атеисты. Еще раньше, в 1820 г., В. Н. Каразин доносил министру внутренних дел Кочубею: «В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Это доказывают почти все, вышедшие оттуда. ...Из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом». «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые направлены на *двуглавого орла*, на Стурдзу, в котором высочайшее лицо названо весьма непристойно, и пр. Это лицейские питомцы!»² В характеристиках Лицея пушкинского времени чуть ли не как центра противоправительственного движения, конечно, есть большая доля преувеличения. Лишь часть воспитанников во главе с Пушкиным и будущими декабристами — Пушиным и Кюхельбекером — были выразителями «лицейского духа». И все же история Царскосельского лицея 1811—1817 гг. действительно

оказалась связанной с историей крепнувшей тогда оппозиционности самодержавию и крепостничеству, это признавали впоследствии и декабристы. Сами термины «Лицей», «лицейский дух» стали символическими.

План создания Лицея с самого начала был связан с проектами реформ управления Россией, целью которых было ограничить самодержавие, ввести конституцию, установить «гражданские свободы» и т. д. Различные проекты появлялись в 1800-е гг. один за другим. Это было время, когда возникли иллюзии о возможности достигнуть радикальных государственных и общественных преобразований мирным путем.

В числе инициаторов организации Лицея и его руководителей оказались люди, которые в то время были сторонниками конституционных перемен в политическом строе — статс-секретарь М. М. Сперанский, пытавшийся влиять на Александра I в этом духе, В. Ф. Малиновский, первый директор Лицея, и профессор А. П. Куницын.

Не помогли все попытки правительства добиться, чтобы состав принимаемых в Лицей был «стерильным». Отбор кандидатов был строгим. К прошению о приеме Пушкина пришлось приложить свидетельство герольдии о том, что Александр Пушкин происходит из древнего дворянского рода, бумагу от министра юстиции И. И. Дмитриева, подтвердившего, что «недоросль» есть действительно законный сын служащего в Комиссариатском штате 7-го класса С. Л. Пушкина. «Санкт-Петербургские ведомости» известили, что министр просвещения А. К. Разумовский требует, чтобы дети были представлены ему лично вместе с документами об их возрасте, дворянском происхождении и удостоверениями об их «отличной нравственности» и что испытания будут проведены в доме министра и в его присутствии. Уже сам порядок приема говорил о том, что Лицей будет представлять собой нечто исключительное. Цель его, как было объявлено, — «об-

Сперанского Лицея кадет-
ской школы
Лицея.

1. О составе Лицея

Лицей составляется
из 1000 до 1500 дворян-
ских детей состоящих
от 10 до 12 лет от
возраста.

Во лицей принимаются
только из дворян, как по
статуту Лицея так и по
указу от 1800 года.

По плану необходимо
было поступать в лицей
с 10 лет.

1) Училище должно
быть в Российской империи
но вблизи реки Волги
или вблизи моря.

2) Училище должно
быть вблизи дворянских
и купеческих домов.

Лицей М. Сперанского 1800 г.

Страница проекта Лицея,
составленного М. М. Сперанским

разование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной». В правах новое учебное заведение приравнивалось к университету.

Неусыпный надзор начальства за комплектованием состава воспитанников, утверждение списка принятых самим императором, его присутствие со всей семьей на открытии Лицея 19 октября — все это, казалось, предвещало, что Лицей будет вполне казенным учебным заведением. На деле получилось нечто иное: Лицей оказался одним из самых парадоксальных явлений в истории александровского царствования.

Много лет спустя Пушкин, желая запомнить свою беседу со Сперанским, состоявшуюся в 1834 г., записал в своем дневнике: «Разговор со Сперанским... о первом времени царствования Александра...». Пушкин сказал тогда Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого (александровского.— Б. М.) царствования как гении зла и блага». Слова Пушкина, хотя и преувеличивающие роль Сперанского, все же не были только комплиментом. Сперанский действительно был антиподом Аракчеева (кстати говоря, декабристы намечали его в состав временного правительства, если бы удался переворот). Выходец из незнатной и нечиновной среды («бурсак», «попович» — говорили про него), он в те годы всемерно пытался использовать свое место статс-секретаря, чтобы добиться реформ, направленных против произвола и беззакония, обосновывая необходимость установления конституционной монархии, создания «представительных учреждений». Предусматривалось предоставление избирательных прав не только дворянству, но и «среднему сословию» — купцам, мещанам — на основе имущественного ценза. При всей противоречивости, непоследовательности, деоиственности такие планы были проникнуты отрицательным отношением к деспотизму, средневековым ограничениям.

Реформаторские планы Сперанского потерпели, конечно, полный провал. Под давлением реакционных дворянских кругов в 1812 г. Сперанский был уволен от всех должностей и выслан из Петербурга. Но одно время он твердо надеялся, что его проект будет проведен в жизнь. Ему казалось, что «российская конституция» уже в те годы дело реальное. В самый разгар этих конституционных упований, как раз в те дни, когда Сперанский вынашивал свой план политических преобразований России, он и написал проект организации Лицея — учебного заведения, которое должно воспитывать деятелей новой реформированной системы управления страной.

По первоначальному плану в Лицей могли поступать даже выходцы из разных сословий. Уже это было бы неслыханным новшеством. Поскольку местопребыванием Лицея было назначено Царское Село, в проекте учитывалась необходимость предупредить растлевающее влияние придворного быта, поддобрострия, лакейства и т. д. Подчеркивалась необходимость развивать инициативу учащихся, учить их самостоятельно мыслить. Большое внимание в проекте уделено «наукам нравственным» и «историческим», а также учению о законодательстве, понятию «об устройстве гражданских обществ, о правах и обязанностях, отсюда возникающих». Науки нравственные должны дать понятие «о должности человека и гражданина». Развитие национального самосознания выдвигается на первый план. История должна преподаваться в духе просветительной философии, «должна быть делом разума». Обязательно изучение правил ораторской речи, жизненно необходимой для будущих политических деятелей.

Весь проект Лицея по своему духу противостоял обычным консервативным системам воспитания и образования, поэтому вокруг него разгорелась острая политическая борьба. Атаку на этот проект предпринял не только ми-

нистр просвещения граф А. К. Разумовский, но и Жозеф де Местр, проживавший в те годы в России на положении «посланника сардинского короля» и ярый реакционер. Он забрасывал Разумовского письмами и поносил проект всей лицейской системы за «материализм» и проповедь «опасных идей». В результате почти двухлетней борьбы многое в проекте было изменено. Введены параграфы о зависимости директора от министра и о системе контроля за Лицеем и т. п. Однако основные идеи проекта о направлении, методах и содержании воспитания в постановлении остались (включая даже изучение «прав человека и гражданина»). Теперь все зависело от того, кто окажется во главе Лицея, кто будет учить и воспитывать. И здесь Пушкину и его товарищам во многом повезло.

В плане автобиографических записок Пушкина под 1811 г. значится: «Лицей. Открытие... Малиновский, Куницын...». Первый из упомянутых лиц — директор Лицея Василий Федорович Малиновский — был человеком высокой культуры, передовых политических взглядов. Литературное наследие Малиновского, во многом еще неопубликованное, рисует его как убежденного врага крепостничества и горячего сторонника «политических перемен» в государственном строе России.

Основы идейно-воспитательной работы в Лицее были заложены Малиновским, в развитии этих основ огромную роль сыграл А. П. Куницын — профессор, преподававший логику, «нравственность», «энциклопедию прав». Именно Куницын сказал о направлении лицейского воспитания в своей речи, обращенной к воспитанникам, 19 октября 1811 г. на торжественном акте открытия Лицея.

...И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей, —

вспоминал Пушкин в стихотворении, посвященном лицей-

ской годовщине 1836 г. Речь Куницына — «Наставление, читанное воспитанникам при открытии Царскосельского лицея» — проникнута прославлением гражданской доблести, призывает к служению отечеству, общественному прогрессу, обличает невежество и предрассудки. Куницын убеждал воспитанников, что единственное мерило человека — гражданская доблесть и высокая нравственность. Свою речь Куницын закончил вдохновенным обращением к юным «гражданам» России: «Вы ли захотите смеяться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? Нет! Да не развратит мысль сия вашего воображения! Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями!»³

Речь была связана с надеждами передовых людей России. Жизнь выдвигала необходимость воспитания героического характера, способного бороться в тягчайших условиях дикого и жестокого деспотизма за «великие перемены», за великое предназначение России.

В чем же конкретно выразилась система идейно-политического воспитания юношества?

В своей основе она представила практическое выражение передовой русской педагогики XVIII — начала XIX века, проникнутой свободомыслием. Программа, рассчитанная на шесть лет обучения, поражает разнообразием: грамматика русского, латинского, французского и немецкого языков, словесность, история российская и всемирная, статистика (так назывался тогда политический и экономический обзор государств мира в их современном состоянии), логика, нравственные науки, политическая экономия, науки математические, физические, военные, эстетика, изящные искусства. По мере перехода воспитанников в старшие классы программа усложнялась: такие сложные курсы, как право естественное, публичное, гражданское, политическая экономия, статистика, проходились

в четвертом, пятом и шестом классах. Следовательно, наиболее трудные предметы изучались на старшем курсе, когда лицеистам было шестнадцать-восемнадцать лет. Недостатки лицейской программы теперь назвали бы «многопредметностью», сильной перегруженностью: чтобы ее охватить, ученикам приходилось находиться в классах, хотя и с перерывами, почти весь день. При всей пестроте программа была связана общностью основных идей, обличением абсолютизма, прославлением конституционных порядков и «гражданских свобод». Эти идеи проводились в преподавании и истории, и словесности, и изящных искусств. Идея превосходства конституционного правления над монархо-деспотическим и необходимость отмены крепостного права доказывались примерами из истории, обзором положения «современных государств», состоянием финансов и экономики, логическими доводами, апелляцией к «естественным правам», рассуждениями о свободном развитии литературы в эпохи, наиболее благоприятные для расцвета искусств. Конечно, для рядовых воспитанников иные из предметов были слишком сложными (впрочем, судя по лицейским табелям, «прилежные» ученики даже с посредственными способностями все-таки успевали по всем предметам). Но лицейские архивы, письма воспитанников, рукописные литературные журналы показывают, что цель основателей и руководителей Лицея — будить самостоятельную мысль воспитанников, учить их независимости мнений, критическому отношению к действительности — была во многом достигнута (кроме, разумеется, тех случаев, когда некоторые из лицеистов с самого начала проявляли склонность к противоположным правилам жизни или попросту были тупицами)⁴.

Мировоззрение Пушкина и его близких друзей — Пушкина, Кюхельбекера, Вольховского, Дельвига — формировалось, разумеется, не только под воздействием лицейской педагогики: для них первостепенное значение имели

впечатления от самой жизни, чтение русских и зарубежных писателей. Но изучение лицейских лекций (многие из них сохранились в аккуратнейших тетрадях лицеиста А. М. Горчакова) показывает, что основные идеи шестилетнего лицейского преподавания так или иначе оказались плодотворными.

Из лицейских профессоров Пушкин с особенной любовью и уважением упоминал о Куницыне. В рукописи стихотворения «19 октября» (1825) сказано:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжжена...

От Куницына лицеисты слышали об образах правления — самодержавно-деспотических, конституционно-монархических, республиканских, о правах и обязанностях правительства и решающей роли народа в выборе правления и установления законов. Куницын говорил: «...Граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти; но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они были обращены на общую и, следовательно, также на их собственную пользу».

Главную идею лекций Куницына можно было бы выразить словами его же статьи «О конституции», которую удалось напечатать в «Сыне отечества». В ней утверждалось, что прошли те времена, «когда цари хотели царствовать для себя самих», и что настало время иметь «народных представителей». Этой же идеей пронизана «Энциклопедия прав», курс, который Куницын читал в

1814—1817 гг. Энциклопедия начиналась с важнейшего предмета — «Права естественного». Острая направленность этого предмета сказалась на судьбе изданной в 1818—1820 гг. книге Куницына «Право естественное» (в двух томах), которая была повсеместно конфискована и уничтожена как политически «вредная» и клонящая «к ниспровержению всех связей семейственных и государственных». Расправа над книгой вызвала возмущенный отклик Пушкина в «Послании цензору» (1822):

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру пасквилом, поэзию развратом.
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.

Лекции Куницына были своеобразной школой ораторского искусства. Обычно спокойный тон лекций сменялся гневными интонациями, когда он говорил: «Крепостной человек не имеет никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается». Доводы о необходимости покончить с крепостничеством Куницын приводил разнообразные — и морально-этического и экономического свойства. Удивительно совпадают с куницынской характеристикой положения крепостных слова об экономической закрепощенности крестьянства в знаменитой «Деревне» (1819):

Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Это стихотворение, в котором на редкость точно определена суть крепостнических отношений, благодаря чудодейственной силе поэзии воздействовало на чувства современников сильнее любого, самого убедительного эконо-

мического трактата. Но вместе с тем пушкинские строки о насильственном присвоении «труда, собственности, времени» крестьян — это и с точки зрения любого экономиста на редкость точное определение сути крепостнических отношений.

Отразилась в лицейских произведениях Пушкина и трактовка «законности» и «закона», которая подробнейшим образом развивалась Куницыным в лекциях по государственному праву, обличение тиранов — «самовластителей».

До уровня лекций Куницына никто из преподавателей Лицея не поднимался. Тем не менее не прошли даром для Пушкина и лекции по истории, словесности, эстетике и искусству. Значение этих курсов заключалось не только и, может быть, не столько в объеме фактических знаний, сколько в идейной их направленности, также отражавшей в той или иной степени программные установки системы лицейского воспитания. Это относится в какой-то мере к курсам русской и общей истории и статистики, которые читал И. К. Кайданов.

Отрицательное отношение к крепостничеству и критика состояния управления страной выражались в этих лекциях разными способами. Приводились, например, такие цифры: в России шестнадцатью миллионами «ревизиских душ» владеют двести двадцать пять тысяч дворян. Дворянство и купечество имеют значительные права, а поселяне бесправны и беззащитны»⁶.

Из этих же лекций Пушкин получил первоначальные сведения о борьбе Руси за независимость, об исторических деятелях и событиях, которые впоследствии глубоко интересовали его и как историка и как художника.

Живой интерес у Пушкина и его товарищей должны были вызывать и лекции Кайданова, посвященные западноевропейским государствам. Касаясь Франции, Кайданов говорил о Наполеоне как «всемирном тиране», осуж-

дая его вероломное превращение республики в монархию. В лекциях содержалась характеристика политического строя Англии, английской колониальной системы и внешней политики. Все эти вопросы тесно связывались в сознании лицеистов с современной международной обстановкой, приобретали злободневный смысл.

Риторiku, русскую и латинскую литературу преподавал профессор Н. Ф. Кошанский, критик и переводчик, человек весьма образованный. В своих лекциях и на уроках он говорил о том, что состояние литературы всегда зависит от состояния общества, от различных форм правления; о том, как поэзия влияет на нравственность граждан.

Пушкин по-видимому, не переписывал, как это требовалось, лекции Кошанского в тетради. Вряд ли можно было заставить его и зубрить и детальнейшую, казавшуюся бесконечной классификацию поэтических терминов (которая, судя по изданному Кошанским руководству, содержала тридцать шесть таблиц и триста шестьдесят положений).

Отношения Пушкина и Кошанского были сложными. Профессор признавал талант своего ученика, восхищался легкостью, с какой тот писал в классе стихи на заданную тему (так было однажды со стихотворением «Роза»), но именно эта легкость давала ему повод заключить, что Пушкин чуждается труда: «Александр Пушкин весьма понятлив, замысловат, но вовсе не прилежен». Кошанский, поклонник классицизма, руководствовался старомодными правилами, предпочитал «высокость», выпренность стиля простому разговорному языку. Все это вызывало сопротивление Пушкина, выходявшего на новую дорогу поэтического творчества.

Если о пользе, которую Пушкин вынес из лицейского курса теории словесности, можно спорить, то в одном заслуги Кошанского бесспорны. Будучи прекрасным знато-

ком античной литературы, он использовал свои познания отнюдь не в бесстрастно-академических целях, а для пропаганды свободолюбивых идей. Не случайно Кошанский состоял членом петербургской масонской ложи «Избранного Михаила», находившейся под влиянием Союза спасения, затем Союза благоденствия, числился автором («витией») ложи.

Общие установки Кошанского ясны из его статей и книг, которыми пользовались лицеисты. В особенности интересна бывшая в ходу у лицеев «Ручная книга древней классической словесности» (изданная Кошанским в двух томах в 1816—1817 гг.), пропагандировавшая республиканские и демократические идеи. Античность трактовалась Кошанским в том духе, который был присущ русской общественной мысли конца XVIII—начала XIX в. Образы, символика идеализированной античности использовались деятелями оппозиционного движения и декабристами для иносказаний.

Пушкин начиная с лицейских лет следовал в своем творчестве этой традиции, связанной с наследием Радищева, с русским просветительством. Прямой отзвук идей, воспринятых в Лицее, слышится в стихотворении «Лицинию» (1815): «Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

Для воспитания «витийства», столь важного для всех, кто посвятил себя гражданскому служению, особенное значение имели курсы «ораторской изящной прозы или красноречия», читавшиеся П. Е. Георгиевским. В качестве адъюнкта «при профессоре» он должен был согласовывать содержание лекций с Кошанским.

«Теория красноречия» была не просто обычным разделом риторики, а имела в виду практические цели. Лекции были рассчитаны на будущих политических ораторов: ведь лицеисты предназначались в будущем «для важнейших частей службы государственной», следова-

но, они должны были научиться отстаивать в своих речах те «права человека и гражданина», о которых им столько говорили.

В лекциях по красноречию расшифровывалась цель «искусства красноречия», этой «самой драгоценной способности человека», благодаря которой «человек государственный рассуждает в советах о участи народов; гражданин защищает пред лицом законов вольность и свободу». О возможности в будущем такого рода публичных, парламентских «рассуждений» мечтали основатели Лицея.

Очень высоко оценивался в лекциях Перикл, страстный приверженец афинской демократии, разогнавший аристократический ареопаг и передавший власть народному собранию. Образ Перикла («Периклеса») был окружен ореолом и в сознании Пушкина; вспомним его надпись «К портрету Чаадаева», сочиненную в Лицее:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской,
Он в Риме был Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

Вопросы «ораторства», истории витийства глубоко интересовали деятелей освободительного движения, а само «витийство» считалось неотъемлемым качеством всякого истинного «друга свободы и просвещения».

В десятой главе «Евгения Онегина» сказано о декабристах: «витийством резким знамениты». В «Деревне» Пушкин, говоря об «измученных рабах», прославляет «витийства грозный дар», цель которого — способствовать падению рабства и воцарению «свободы просвещенной».

Среди лицейских преподавателей выделялась еще одна колоритная фигура — француза Будри, родного брата Марата. Будри вел занятия по французской словесности. Позже, в 30-е гг., Пушкин вспоминал, что Будри «очень

уважал память своего брата», не боялся вести о нем разговоры в классе, рассказывал о своем общении с ним, «о его добродушии, любви к родственникам», о Робеспьере.

Уроки Кошанского и Георгиевского немало способствовали общей литературной атмосфере, господствовавшей в Лицее. Стихи писали не только Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский, пробовали сочинять и другие лицеисты. Издавались рукописные журналы: «Царско-сельские лицейские газеты», «Для удовольствия и пользы», «Лицейский мудрец». Составлялись «Лицейские антологии» — сборники стихотворений.

Главой литературного движения в Лицее был, конечно, Пушкин. Его авторитет особенно возрос после триумфального успеха на экзамене 8 января 1815 г., когда он читал «Воспоминания в Царском Селе» в присутствии Державина. Славою Пушкина гордились его товарищи, его стихи усердно переписывались, рассылались родственникам и знакомым. Так началась его известность.

3. За фасадом.— «Святое братство». — «Готов для дела»

Все попытки властей сделать Лицей заведением, полностью подчиненным административному порядку, провалились. За «мирным» фасадом Лицея образовались свои «кружки», «партии», шла острая борьба с попытками подавления личности. Есть свидетельства ряда воспитанников, называвших Лицей «республикой».

В стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1825 г., Пушкин вспоминал:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честно, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Были, следовательно, наставники, которые приносили и «зло», и Пушкин-лицеист открыто выражал свое отношение к ним, а порой и возглавлял борьбу с ними.

К таким наставникам принадлежал «надзиратель по нравственной части» инспектор Мартын Пилецкий-Урбанович, приверженец иезуитских методов «наставления на путь истинный». Этот человек вызывал единодушную ненависть лицеистов. Даже степенный Модест Корф отзывался о нем как о настоящем страшилище «с жестоко-хладнокровною и ироническою, прикрытой видом отцовской нежности строгостью». Из секретных архивов выяснилось, что он, помимо всего прочего, был полицейским шпиком в Лицее. В инструкции гувернерам Пилецкий обязывал усиленно «надзирать» за учениками. Он требовал «наблюдения их лица», «примечать тайные их разговоры», «читать в каждого глазах и чертах лица...»: Цель воспитания, по его убеждению, «обрабатывать их волю через послушание, укрощать и направлять ее». Эти методы вызывали со стороны Пушкина и его друзей яростное сопротивление. В «Журнале о поведении воспитанников» за ноябрь 1812 г. гувернер Илья Пилецкий (брат Мартына) описал «бунт», поднятый лицеистами, когда он в классе Гауэншильда отнимал «бранное на г. инспектора сочинение». По его словам, Пушкин «с непристойной вспыльчивостью» говорил громко: «Как вы смеете брать наши бумаги,— стало быть, и письма наши из ящика будете брать...». «Присутствие г. профессора,— продолжает гувернер,— вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его». В другом «Журнале» сам Мартын Пилецкий, описывая это же происшествие, подчеркивал, что Пушкин «упорнее всех». Этот инцидент был начальством замят, но через несколько месяцев «заговор» вспыхнул с новой силой. В пушкинской программе «Записок» под 1811 г. отмечено: «Мы прогоняем Пилецкого» (здесь Пушкин, писавший эту программу много лет спустя, ошибся в дате: Пилецкий был изгнан из Лицея не в 1811, а в 1813 г.). Лицеисты собрались в конференц-зале, вызвали инспектора и выдвигали

нули ультиматум: или он, или они должны будут покинуть Лицей. В тот же день иезуит вынужден был выехать из Царского Села и вскоре поступил на службу по прямому назначению — следственным приставом петербургской полиции. Таким образом, благодаря смелости и настойчивости Пушкина и его друзей Лицей освободился от своего злейшего внутреннего врага⁷.

Удалось выдворить из Лицея и Фридриха Леопольда фон Гауэншильда, «ужасного педанта» (слова Пушкина в стихотворении 1815 г. «Воспоминание»), который в «Национальных лицейских песнях» назван «сатаной».

Свой предмет — немецкий язык — сей «пастырь душ с крестом» преподавал на французском языке. Так как русского языка он не знал, то приходилось в помощь ему держать служителя-переводчика. Лицейсты подозревали, что Гауэншильд был австрийским агентом, и это полностью подтверждается депешей Меттерниха австрийскому послу в Петербурге, из которой ясно, что Гауэншильда назначили в Россию специально для получения политической информации. (Служба в Лицее, находившемся рядом с резиденцией царя, была для этого весьма подходящей.) Заодно Гауэншильд всячески старался подавить свободолюбивые тенденции лицейского воспитания и без конца доносил министру просвещения о «непорядках».

Еще одной ненавистной фигурой был для лицейстов С. С. Фролов, которого Пушкин также упоминает в плане «Записок». Тупица и невежда, он пролез в Лицей сначала надзирателем, затем инспектором, а после смерти Малиновского некоторое время даже замещал директора. Фролову лицейсты пели прямо в лицо длинную песню, где, в частности, утверждалось:

Твой друг и барин Аракчеев...

Далеко не монолитным был и коллектив воспитанников. И здесь рано проявилась наблюдательность Пушкина

на, его дар угадывать характеры. Почти сразу же после поступления он сблизился с Иваном Пушциным, которому свойственны были благородство чувств, чистота помыслов и который еще в Лицее проявил свободолюбие, а сразу после Лицея вступил в тайное общество и стал одним из видных деятелей декабристского движения. Пушкин прожил с ним бок о бок шесть лет, их комнаты находились рядом, и они постоянно делились своими мыслями и переживаниями. «Товарищ милый, друг прямой», «Мой первый друг, мой друг бесценный»,— обращался к нему Пушкин, когда тот после разгрома восстания декабристов был на каторге. Близкая дружба навсегда связала его и с Дельвигом и с Кюхельбекером. В этом «братстве» бывали и столкновения, обижался Кюхельбекер на вышучивания его странностей, но дружба оставалась нерушимой.

Помимо Пушина, Дельвига и Кюхельбекера наиболее близкими товарищами Пушкина в Лицее были Владимир Вольховский, Спартанец, снискавший среди лицейстов авторитет справедливого судьи во всех конфликтах, Иван Малиновский, прозванный Казаком, «удалый хват, голова рез, приятель задушевный», Федор Матюшкин, с детства страстно мечтавший стать мореходом, Михаил Яковлев, весельчак, одаренный незаурядными актерскими и музыкальными способностями, отличный товарищ, впоследствии организатор памятных «лицейских годовщин».

Но были среди лицейстов и такие, чьи взгляды резко противоречили настроениям кружка, объединенного вокруг Пушкина, или попросту убогие по своему развитию и интересам. К первым принадлежал Дьячок Мордан— так называли барона Модеста Корфа, впоследствии ставшего крупным деятелем правительственной бюрократии, написавшего реакционные и клеветнические заметки о Лицее и Пушкине.

В далекой от пушкинского круга группе лицейстов вы-

дсялся одаренностью князь Александр Михайлович Горчаков. Это был юноша безусловно выдающийся, но весьма далекий от прогрессивных веяний времени. Будущий министр иностранных дел и канцлер, одержавший значительные победы в области внешней политики, один из крупнейших дипломатических деятелей XIX века, он неизменно твердо придерживался консервативных взглядов. Еще в лицейские годы в его идеологии проявлялись черты, предвещавшие непримиримого противника всякого освободительного движения.

* * *

Лицей жил общей со страной жизнью.

«Мы были дети 1812 года» — эти слова декабриста М. И. Муравьева-Апостола выражали мысли и чувства всего передового поколения юной России. Те из поколения, которые находились в эпоху героической Отечественной войны в стенах Лицея, переживали ее не только понаслышке. В стихотворении «Была пора...» (1836) Пушкин вспоминал, обращаясь к товарищам лицейских лет:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Картину дополняет И. Пущин: «Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!»

Увиденное тогда Пушкиным и его сверстниками встает перед нами из описаний будущего декабриста В. Штейн-

гейля, наблюдавшего прохождение через Царское Село десяти тысячного отряда ополченцев, к которому присоединились и регулярные войска. Здесь же о настроении воинов: «Когда ополчение взойшло на Пулкову гору, с которой златыми шприцами, огромными зданиями и величественною Невою красящийся Петрополь, сквозь тонкий мрак, представился взору в низменной дали, как бы разостланный, подобно самому приятнейшему сонному призраку, тогда взоры всех обратились на сей вечный памятник преуспевания россиян, великими гениями управляемых... «Может быть, в последний раз мы любимся им,— говорили они.— Бог знает, кому определено возвратиться из нас на родину — прости! — прости!» — и выступившие невольно на геройские ланиты слезы были последней данью слабости сердца человеческого. Град Петров скрылся из глаз — и уже в сердцах кипело одно мщение, одно желание скорее сразиться с врагом и победить его»⁸.

Таково было «остервенение народа», о котором Пушкин вспоминал в десятой главе «Евгения Онегина». Этой же терминологией пользовался Штейнгейль, говоря о гневной реакции народа против иноземных захватчиков в своих «Записках касательно составления и самого похода Санктпетербургского ополчения» (1814). Когда ополченцы узнали о занятии неприятелем Москвы, «всякий ощутил какое-то непонятное, мрачное остервенение, громко вопиющее сердцам: падите или отомстите!..». В пушкинских «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814) говорится об этих настроениях ратников: «...Их цель иль победить иль пасть в пылу сраженья...»⁹.

Осведомленность лицейстов о ходе военных событий была весьма широкой и достигалась разными путями, официальными и неофициальными. Каждое воскресенье родственники привозили реляции — сообщения о ходе военных действий. «Газетная комната никогда не бывала

пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас, «опасения сменялись восторгами при малейших проблесках к лучшему», — свидетельствует Пушкин. — Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное». Но часто о военных новостях лиценсты узнавали раньше, чем другие читатели реляций. Через Царское Село проезжали курьеры с донесениями из армии, свежие известия рассказывали приезжавшие из Петербурга. Понять происходившее помогали и письма родственников. Внимательно прочитывались кроме газеты «Северная почта» журналы «Сын отечества» и «Русский вестник»¹⁰.

Стихи Пушкина, в которых отражены настроения, переживания, размышления, вызванные событиями Отечественной войны, написаны в разные годы и образуют особый лирический цикл. В стихах лицейских лет запечатлены разные этапы войны. В «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814) сплавлены воедино одическое восхваление военной истории России — «смелых подвигов» Орлова, Румянцева, Суворова, которым «дивился мир», лирическое повествование о народном подъеме на отпор врагу, о победе, свидетелями которой были «бородинские кровавые поля», о вхождении «врагов отчизны» в Москву, изгнании их, победном марше русских в Париж, крушении Наполеона, исчезнувшего, «как утром страшный сон». Другое стихотворение, «Наполеон на Эльбе» (1815), написанное в форме элегического монолога от имени Наполеона, также связано с конкретными событиями — периодом так называемых «ста дней», когда Наполеон бежал из ссылки с острова Эльбы, высадился во Франции и пытался произвести новый государственный переворот. В том же 1815 г. Пушкин написал и стихотворение «Александр» — на возвращение императора из Парижа. Здесь

та же событийная канва, что и в «Воспоминаниях в Царском Селе», но значительное место занимает новый мотив — роль России в освобождении Европы:

...Народы, падшие под бременем оков,
Тяжелой цепью с восторгом потрясали
И с робкой радостью друг друга вопрошали:
«Ужель свободы мы? Ужели грозный пал?»

О роли России писали не только русские газеты, ее признавали и в других государствах, на эту тему печатались сообщения из Франции, Англии, Америки. Пушкин мог присутствовать и при живом изъявлении благодарности русским на состоявшемся в апреле 1813 г. в Царском Селе своеобразном торжестве испанцев и португальцев, изъявлявших России благодарность за разгром Наполеона.

В стихах Пушкина как в зеркале отразились сначала иллюзии, захватившие даже передовые круги общества, о роли царя в спасении России, и надежды на политические перемены после победы, и крушение надежд, и сознание необходимости реальной борьбы с самодержавием. Не только в стихотворении «Александр», но и в других, о которых шла речь, вкраплены хвалы русскому царю как освободителю России и Европы в войне с Францией. Надо учитывать, что стихотворение «Александр» было «заказным», написанным по заданию директора департамента министерства народного просвещения И. И. Мартынова. Одические тирады о роли Александра I в войне в стихах подобного рода были обязательными. По ним нельзя заключить, что отношение Пушкина к царю в лицейские годы было апологетическим. В злой эпиграмме «Двум Александрам Павловичам» (приписывается Пушкину; вошла в рукописное «Собрание лицейских стихотворений») царь сопоставляется с идиотом и подлецом А. П. Зерновым — лицейским помощником гувернера: он

хромал «ногой», «Романов — головою». Здесь же упоминается об «Австерлице», сражении, в проигрыше которого был повинен Александр I. Пушкину принадлежат полные иронии стихи «На Баболовский дворец» — о любовных шашнях императора, российского «полубога». И все же в годы войны известное влияние на Пушкина и других его современников оказала патетика царских манифестов, демагогически спекулировавших на чувствах народа. Впоследствии представление о заслугах царя в победе над Наполеоном было решительно пересмотрено поэтом.

Военные стихи Пушкина лицейских лет неравноценны. Лучшим из них, исполненным искреннего пафоса, является, конечно, «Воспоминания в Царском Селе». Совсем слабое — «Наполеон на Эльбе», его Пушкин ни разу не перепечатывал в своих сборниках. Но в стихотворении «Александр» есть строфы, трогающие юношеским воодушевлением, готовностью погибнуть за отчизну:

...вдали громов, в сени твоей надежной..
Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!
Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом наутре не почил?
Почто великих дел свидетелем не был?

Здесь не было никакой наигранности, — зная атмосферу военных лет в кругу сверстников Пушкина в Лицее и за его пределами, можно понять этот взрыв патриотических чувств. Так, в армию рвался тринадцатилетний Вильгельм Кюхельбекер, мать с трудом уговорила мальчика остаться на лицейской скамье.

После войны поколение молодых людей — участников

и современников героических сражений — ожидало, что наступит новая фаза в жизни страны, что Россия, освободившая Европу от владычества Наполеона, не сможет оставаться при прежних, давивших мысль и душу порядках. Многие письма, мемуары говорят о напряженных ожиданиях решительных перемен во внутренней жизни — ликвидации крепостного права, введения конституции. «Все это время говорили чрезвычайно свободно... о необходимости резких внутренних преобразований... Никто не предвидел крутого поворота во внешней и внутренней политике; ничто подобное не считалось тогда возможным!» — вспоминал декабрист Д. И. Завалишин.

С советами и проектами «улучшить» положение России обращались к царю поэты и даже некоторые сановники и генералы. Слово «улучшить» понимали по-разному, но для всех, кроме крепостников и придворных льстецов, было ясно, что речь прежде всего идет об освобождении народа¹¹.

Вскоре жизнь показала всю иллюзорность подобных ожиданий. Наступила реакция. Народу вместо уничтожения крепостничества готовились военные поселения. Суровую правду о войне и крушении надежд, вызванных победой над Наполеоном, Пушкин мог теперь узнавать от офицеров, вернувшихся с лейб-гусарским полком в Царское Село из заграничных походов. Среди офицеров, с которыми Пушкин был близок, находились и бывшие ополченцы (например, П. П. Каверин, начинавший свой военный путь в смоленском ополчении) и такие великолепно осведомленные о всем ходе и всех перипетиях войны люди, как Н. Н. Раевский (сын прославленного генерала Н. Н. Раевского), В. Л. Давыдов, впоследствии один из активнейших декабристов Юга, П. Я. Чадаев, участник боев при Бородине, Тарутине, Мало-Ярославце. Беседы с ними были для Пушкина и его друзей настоящей школой политического воспитания.

Если иронические, а иногда и издевательские эпиграммы Пушкина-лицеиста на царя можно рассматривать как своего рода юношеское фрондерство, то вскоре оно сменилось резким политическим обличением. Сатирическое стихотворение «Сказки. Noël» (1818) имело такой огромный успех, распространилось в таком колоссальном количестве копий именно потому, что явилось ярким обобщением настроений лучшей части общества. «Кочующий деспот», как назван здесь император, шивший себе «пруссский и австрийский мундир», действительно был «делом не измучен». Если в 1812 г. царь объявлял себя в манифестах пламенным патриотом, который и часа не может жить без России, то после войны его циническое равнодушие к своей стране, ее нуждам, чаяниям народа и вообще ко всему русскому проявилось в полной мере.

«Император не посетил ни одного классического места войны 1812 г. — Бородина, Тарутина, Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил на ваграмские и аспернские поля, а из Брюсселя в Ватерлоо», — свидетельствует современник. Оскорбление царем национального достоинства России усматривалось и в том, что, заключив в 1815 г. Священный союз с европейской реакцией, он тем самым ронял в глазах всего мира мнение о стране, только что прославленной как освободительница народов.

Рухнули ожидания не только реформ, но хотя бы частичных гражданских свобод. Слова, которые Пушкин иронически вложил в уста Александра:

И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли, —

оказались «сказками». Но «сказкой», мифом оказался и облик русского императора как военного вождя. В начале 20-х гг., по-видимому, после Веронского конгресса, Пуш-

кин разоблачил в едкой эпиграмме легенду об Александре как герое Отечественной войны:

Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал...

В доносах на Лицей указывалось, что там образовалось целое собрание «вольной» рукописной литературы. Если бы оно сохранилось в полном составе, оно составило бы ценнейший вклад в историю оппозиционного движения. Были среди них и сочинения лицейстов такого рода. Об одном из них, характерном для приемов полулегальной пропаганды, стоит рассказать.

«...И наш словарь и плески мирной славы...» — эти слова Пушкина о лицейском времени долго не были раскрыты. Они стали ясны, когда в руки известного советского писателя и ученого Ю. Н. Тынянова попала часть личного архива В. К. Кюхельбекера. Среди его рукописей оказался и упомянутый Пушкиным заветный «словарь». Важен он и при характеристике приемов агитации и фразеологии, которыми пользовались Пушкин и декабристы. Датируется 1815—1817 гг. В замечательной статье Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер», напечатанной в 1934 г., о «Словаре» говорится лишь попутно. После того рукопись «Словаря» поступила в Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, он стал доступным для подробного изучения¹².

Перед нами нечто совсем иное, чем словарь в обычном понимании. В труде Кюхельбекера нет ни объяснений слов, ни систематичности, ни фактических справок о событиях и людях. В большинстве это заметки, выписанные из сочинений разных авторов, особо препарированные и снабженные придуманными Кюхельбекером заголовками. Направление замысла становится ясным при первом же ознакомлении со «Словарем». Главная цель его — обличение деспотизма, самодержавия, связанных с ними сторон

общественной жизни и вместе с тем формулирование своеобразного кодекса поведения передового человека эпохи.

Одним из приемов составителя был «подбор» примеров, служивших общей цели гражданского воспитания. Приведены примеры самоотверженной верности долгу, преданности высокому идеалу свободы и одновременно другие примеры — деспотизма, жестокости, эгоизма царей и правителей, помещены рассуждения о политике и морали, философии и истории, литературе и эстетике. Основная терминология «Словаря» — условные слова-сигналы, слова-пароли, с которыми мы встречаемся и в вольнолюбивой поэзии Пушкина, Рылеева и самого Кюхельбекера. Эти слова были окружены в сознании передового поколения ореолом революционной романтики, они вызывали чувства, понятные (как свидетельствовал позже Кюхельбекер) «в родном кругу друзей и братьев» (в 1824 г. в журнале «Мнемозина»). Таковы слова-сигналы: *свобода, вольность, гражданин, общественное благо, высокое, истина, независимость, благородство, гордость* и т. д. Другой ряд слов-сигналов вызывал иные чувства — чувства гневного протеста, осуждения, презрения: *тиран, рабство, угнетение, жестокость, злодеяние, унижение, лесть, ложь* и т. п. Эти слова неоднократно обыгрываются в «Словаре» в определенном, большей частью политическом смысле. Как правило, Кюхельбекер указывал источник цитат, пользуясь которыми он раскрывал тему «Словаря». Круг философов, писателей, политических деятелей, перечисленных здесь, очень широк: Сенека, Эпиктет, Эпикур, Саади, Зороастр, Плутарх, Демосфен, Вольтер, Боссюэ, Пирон, Руссо, Лабрюйер, Вейсс, Фонтенель, Лессинг, Ричардсон, Шиллер, де Сталь и многие другие. Особенно часто цитируется Франсуа Рудольф Вейсс (1751—1818), получивший в то время мировую известность швейцарский политический деятель и писатель, ученик Руссо, примкнувший с 1789 г. к французской рево-

люции. Его сочинение «Принципы философии, политики и нравственности» в двух томах было переведено на многие языки. В архиве Следственной комиссии по делу декабристов сохранился ряд свидетельств о влиянии сочинений Вейсса на их мировоззрение.

Фигурируют в «Словаре» и высказывания русских писателей — К. Батюшкова, Ф. Глинки, В. Пушкина, а также писателей, ныне забытых, как, например, В. С. Филимонов, выписки из русских журналов; встречаются имена первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского, преподавателя французской риторики Будри (родного брата Марата). Есть и суждения без указания источника, сочиненные, возможно, самим Кюхельбекером. Но кому принадлежит та или иная запись, особого значения не имеет. Придумывая для нее свой заголовок, Кюхельбекер сплошь и рядом не считался с авторским контекстом. На первой странице «Словаря» есть эпиграф из Мольера — «Je prends ma bien, où je le trouve» («Я беру свое добро, где нахожу»). Все в «Словаре» подчинено главной цели — путем специально подобранных, соответственно препарированных текстов воссоздать высокие идеалы человека-гражданина, противника любых форм угнетения, человека чистых помыслов, преданного свободе, смелого, непреклонного в испытаниях.

Система такого рода использования суждений, афоризмов, заимствованных из разных авторов, своеобразного разговора «цитатами» на самые разнообразные темы была в то время распространенной и в повседневном обиходе, и в печати как до декабрьского восстания, так и после него. Подобные подборки выписок сохранились в различных архивах. Таковы сохранившиеся выписки Рыльева из Плутарха, Цицерона, Тацита, Дидро и др. Накопленный опыт политической пропаганды путем цитирования соответствующих авторов применялся также в ланкастерских школах. Позже Александр Бестужев использовал монтаж

цитат в качестве своеобразного лирического дневника осужденного. В его архиве, хранящемся в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в Рукописном отделе, сохранились листы с поговорками и цитатами из разных авторов. Среди записей есть, например, такие: «Облегчение цепей не мирит нас с рабством, но усиливает желание прервать оное» (Карамзин); «Я злобу твердостью сотру» (Державин); «Близ царя — близ смерти» (пословица, которую хотела уничтожить Екатерина II) и др.

Для раскрытия общего замысла «Словаря» нужно учитывать и ситуацию в годы работы над ним Кюхельбекера, и факты его биографии.

Для истории замысла очень важно учитывать и атмосферу Царскосельского лицея. Влияние Куницына в словаре несомненно; несомненно также и то, что самый замысел «Словаря» возник в связи с теми приемами, которые внедрял в воспитание лицеистов первый директор Лицея В. Ф. Малиновский, и теми методами чтения, которые он рекомендовал.

Для атмосферы, в которой создавался «Словарь», характерны также связи лицеистов с деятелями формировавшегося освободительного движения, в частности, с Федором Глинкой, членом Общества спасения и Союза благоденствия. Кюхельбекер получал от него книги, в руках у Глинки побывал и «Словарь».

В «Словаре» рядом со смелыми обличениями самодержавной власти, рабства, разложения придворной клики есть и заметки, в которых разными способами маскируется истинное политическое содержание. Например, под заголовком «Петр Великий» приведены лишь слова республиканца Вейсса. «Петр было дним из величайших государей, но его наследники могут его превзойти — их подданные еще рабы», — тезис явно антикрепостнический.

У Кюхельбекера были уникальные знания в самых разных областях. В характеристике Кюхельбекера, которая была составлена вторым директором Лицея Е. А. Энгельгардтом, сказано: «Читал все на свете книги, обо всех на свете вещах; имеет много таланта, много прилежания, много доброй воли, много сердца и много чувства». При этом отмечена склонность Кюхельбекера к какому-либо гигантскому проекту. Пушкин же называл Кюхельбекера «живым лексиконом и вдохновенным комментарием».

Приведу из «Словаря» лишь примеры, связанные, с одной стороны, с обличением деспотизма, тирании, рабства, а с другой — с вопросом о необходимости изменения существующего строя, о мужестве борьбы и сопротивления, о качествах гражданина (повторяю — все заголовки принадлежат Кюхельбекеру).

ИСТОРИЯ. История всей Вселенной — не что иное, как вечно повторяемая борьба властолюбия со свободой, подобно тому как история природы — не что иное, как борьба стихий и тел о расширении удельного пространства каждой стихией, каждым телом в особенности (Шиллер).

ЛОЖЬ И ЛОЖЬ. Если зарезать человека, ты сделаешь низкое убийство; но вели перерезать сто тысяч, все почтут тебя за героя. Покусись на поместья твоего соседа, и тебя назовут разбойником. Употребляй силу и коварство, чтобы овладеть целым государством, — вот слава завоевателя. Если будешь лгать в ежедневном общении с людьми, ты навлечешь на себя самую унижительную укоризну, но если будешь лгать в самых важных делах, если обманешь целое иностранное государство или большую часть своих сограждан, ты прослывешь прекрасным политиком. Пусть кто напишет сказки вместо истин, пусть выдумает ничего не значащие происшествия, все закричат в один голос: «Он бесстыдный обманщик!». Славнейшие законодатели и полководцы выдавали свои

бредни за внушение свыше, говорили, что имеют сношение с богами (де С. Обиньи).

СВОБОДА ГРАЖДАНСКАЯ. Государь (самодержец) всегда будет почитать гражданскую свободу за отчужденный удел своего владения, который он обязан обратно приобрести. Для гражданина самодержавная верховная власть — дикий поток, опустошающий права его (Шиллер).

ПЫТКИ. Вы можете удержать свое право, отвечал один великий государь своему вассалу, который не хотел отказаться от привилегии подвергаться пытке своих подданных; но я объявляю вам, что если один из сих мучеников вас заколет, я его прощаю.

ЗЛОДЕЙ (величайший). Вор обыкновенно лишает меня одного только излишка, без коего могу обойтись, или вещи, необходимой только на минуту. По большей части собственная нужда заставляет его красть. Опасность сопутствует ему, он сверх того не имеет тех благородных чувствований, которые бы должно вселять хорошее воспитание. Убийца отнимает у меня одну только жизнь, к коей во многих случаях должно бы быть равнодушным по причине равновесия зла и добра, встречающихся в ней. Он причиняет боль мгновенно и лишает общество одного только члена.

Но преступный правитель, который принимает за правило жестокость и угнетение, который похищает у сограждан спокойствие, свободу, продовольствие, просвещение и самую добродетель, который всему жертвует своекорыстием, который, имея изобилие во всех потребностях, допускает подкупать себя, чтобы удовлетворить своему тщеславию, который продает свои дарования, свое влияние, свой голос несправедливости или даже врагу отечества, старается отнять у целого народа первые права человечества, первые наслаждения жизни и, недовольный поражением настоящего поколения, кует цепи для племени

еще не рожденных, отцеубийца — святой, в сравнении с этим человеком. Однако подобные чувствования не так редки, и их многие почитают за самые естественные (Вейсс).

ПОСЛЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УНИЖЕНИЯ есть степень гораздо низшей степени глупого злодея, степень, на которой стоит просвещенный злодей (Вейсс).

РАБСТВО. Нет другого рабства, как то, которое наложил на нас сама природа. Люди — только ее орудие. В глазах моих все равно, убивает ли меня ударами мой господин или подавляет ли меня утес: в рабстве со мной не может случиться худшее, как невозможность умиловать тирана более камня (Руссо).

НИЗШИЕ (справедливость их суждений). Перед начальниками человек только то, чем он хочет казаться: между равными зависть и соперничество по большей части имеет важное влияние на их мнение; одни только подчиненные точно знают, чего кто стоит (Вейсс).

РАВНОДУШИЕ ФИЛОСОФСКОЕ. Фил <ософское> равнодушие сходно со спокойствием государства под деспотическим правлением: оно не что иное, как спокойствие смерти, оно гибельнее самой войны (Руссо).

РЕВОЛЮЦИЯ. Слова, которых нельзя определить и которые не имеют точного значения, легко возжигают народный дух и способствуют успехам революции (Сын отечества, 1815, № 36).

ОБРАЗ ПРАВЛЕНИЯ. Пусть народ выбирает своих представителей, а сии последние — правителей государства; пусть сии два сословия будут иметь всякую другую власть, кроме дающей право переменить способ выбора предстателей; пусть общее мнение решает гражданские несогласия (Вейсс).

ВОЙНА ПРЕКРАСНАЯ. Как благородною была бы война, предпринятая противу деспотических правительств

единственно для того, чтобы освободить их рабов (Вейсс).

ХОРОШЕЕ И ЛУЧШЕЕ. Предрассудок, заставляющий нас почитать хорошее правление правлением превосходным, нередко бывает одним из величайших препятствий к его улучшению.

ПРИМЕР ГОСУДАРЕЙ. Чтобы остановить общественное развращение, должно бы начать исправлением кабинета и двора государей. Царя можно почтить так и сердцем, как и главою всего народа (Вейсс).

ТЕРПИМОСТЬ. Гнать человека потому, что он не так думает, как мы, есть, конечно, самое ужасное тиранство, потому что рабство души есть самое тягостное; но каковы бы ни были правила члена общества, у него самого должна быть терпимость (Вейсс).

РАБСТВО. Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на ярмо, которое суживается сопротивлением. Нет середины: или терпи, как держат тебя на веревке, или борись, но с твердым намерением разорвать петлю или удавиться. Редко, чтобы умеренные усилия не были пагубны (Вейсс).

Есть в «Словаре» и рассуждения и афоризмы, которые связаны не только с обличением деспотического строя и его порождениями, но и с тактикой поведения, защищавшейся наиболее решительными сторонниками освободительного движения. Сюда относится характеристика в «Словаре» «излишней» осторожности, «благоразумия», на которое ссылались противники решительных действий, и линии поведения, изложенной под рубрикой «Молчаливость».

Другая серия заметок, включенных в «Словарь», посвящена вопросам этики, критериям жизни передового человека. Сюда относятся суждения о гуманности, справедливости, чести и о других нормах нравственности. Эти заметки составляют в совокупности своеобразный кодекс

поведения «младого племени», во многом соответствующий декабристской этике, сформулированной в знаменитой «Зеленой книге» — уставе Союза благоденствия,

В «Словаре» встречаются и записи о роли писателя-гражданина, о призвании гения. Эта тема была излюбленной в поэзии Кюхельбекера, а также Пушкина и литераторов-декабристов — А. Бестужева, Рыльева и других.

Можно заключить, что замысел и содержание «Словаря» Кюхельбекера соответствует по своим идеям, целям и задачам политической пропаганде преддекабристских и ранних декабристских организаций. Приемы, воплощенные в самом построении «Словаря», близки приемам этой пропаганды.

Особое значение имели связь Кюхельбекера с некоторыми деятелями Союза спасения и его членство в конспиративной «Священной артели».

В стихотворении Пушкина «19 октября» (где о Кюхельбекере сказано «Мой брат родной по музам, по судьбам») есть такие обращенные к нему строки:

Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

«Наш словарь», как называл эту рукопись Кюхельбекера Пушкин, прославляет «истинную славу» — славу не государей и не завоевателей, а высокую славу героев и поэтов, мужественных борцов за народное благо.

* * *

В 1818 г., заканчивая Лицей, Пушкин написал обращенное к Кюхельбекеру стихотворение «Разлука». Содержание этого стихотворения, его фразеология необычны, весьма примечательны:

...Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.

Эта клятва верности дружескому союзу в предчувствии грозных испытаний варьируется и в других стихах, например, адресованных в том же 1817 г. Пушкину:

...с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

«Святое братство», «союз» — поэтический пароль Пушкина, Кюхельбекера, Дельвига. Эти же слова встречаются в многолетней переписке бывших лицейстов, и не только Пушкина, но и такого не склонного к романтическим преувеличениям человека, как Вольховский. В одном из писем 1833 г. Вольховский, говоря И. В. Малиновскому о томившемся в Сибири Иване Пушкине, вспоминал (через 14 лет после окончания Лицея!) пушкинские строки:

«Не резвою мечтой союз наш заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

Так писал мне однажды дорогой и несчастный наш Иван...»

В стихотворении Кюхельбекера «Моим царскосельским друзьям», напечатанном в 1817 г., такое же клятвенное заверение о незыблемости дружеского союза и призыв к «твердости»: «Мы никому, друзья, не подвластны душою...». Клятвы Пушкина в верности «святому братству» и сам термин «святое братство» — все это настолько близко ритуалу и терминологии нелегального кружка «Священная артель», одного из первых преддекабрьских кружков, что заставляет по-новому отнестись к значению этого кружка для Пушкина, тем более что пушкинские послания адресованы двум членам «артели», близким друзьям поэта — Пушкину и Кюхельбекеру (в нее входили из лицейстов также Дельвиг и Вольховский). Из этого кружка во-

шли затем в тайное декабристское общество Пушкин, Кюхельбекер, Вольховский, а из внелицейских членов — И. Бурцов, А. и М. Муравьевы, П. Колошин и С. Семенов. Пушкин вспоминал впоследствии, что он часто присутствовал на собраниях «артели»: «Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем». Вероятно, и Пушкин бывал там со своими ближайшими друзьями, во всяком случае, он знал о направлении этого кружка и о беседах, которые там велись. В документе, посланном «Священной артели» одному из своих членов — Николаю Муравьеву, уехавшему на Кавказ, есть обращение, сходное по содержанию со стихами Пушкина, адресованными Пушкину и Кюхельбекеру:

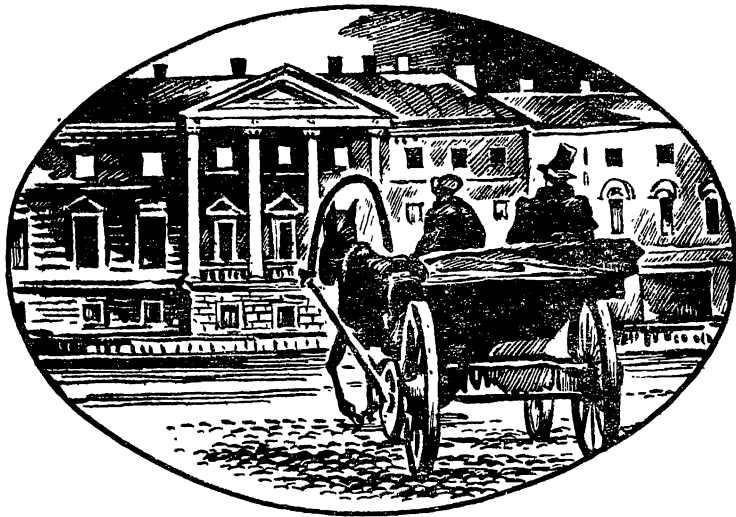
«Почтенный друг и товарищ! Дружба, постоянство и правота, сущность и основание артели, коея еси член, принудили нас, твоих братьев, лист сей к тебе послать... Да будет он тебе воспоминанием *святого братства* и верным залогом дружбы нашей!.. Бог да благословит тебя, честная душа, и любовь к отечеству да руководствует тобою, а воспоминание о неразрывной артели да усладит тебя во всех твоих трудах и начинаниях!»¹³

Мотивы посланий Пушкина Кюхельбекеру и Пушкину совершенно в духе этого письма: здесь, как у Пушкина, — клятвы в верности, дружбе и неизменности высоким идеям, призывы к постоянству заключенного «союза», «святого братства», которое остается неразрывным и при разлуке его членов.

Но так или иначе в то время, время организации первого тайного общества, его будущие деятели стали проявлять к воспитанникам Лицея особое внимание; среди них могли оказаться молодые люди, нужные для этой цели, и, действительно, такие нашлись.

«Священная артель» была далеко не единственным каналом, по которому в Лицей проникали свободолюбивые идеи. Сюда наведывались люди, которые впоследствии стали выдающимися деятелями революционного движения. Здесь бывали Павел Пестель и Федор Глинка. Другие имена остались неизвестными, но в полицейском доносе на Лицей, сочиненном после разгрома восстания декабристов, о такого рода общении лицейстов с представителями передовых кругов говорилось: «В Царском Селе стоял гусарский полк, там жила летом множество семейств, приезжало множество гостей из столицы,— и молодые люди постепенно начали получать идеи либеральные, которые кружили в свете. Должно заметить, что тогда было в моде посещать молодых людей в Лицее; они даже потихоньку (то есть без позволения, но явно) ходили на вечеринки в дома, уезжали в Петербург, куражились с офицерами и посещали многих людей в Петербурге, игравших значительные роли... В Лицее начали читать все запрещенные книги, там находился архив всех рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в Лицей». «Запрещенные книги и рукописи» действительно поступали в Лицей, в том числе и от офицеров стоявшего в Царском Селе гусарского полка. Недаром, когда в 1828 г. Пушкин пытался отречься от написания «Гавриилиады», он показал на допросе: «...В первый раз видел я «Гавриилиаду» в Лицее... рукопись ходила между офицерами гусарского полку, от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну». Еще будучи лицейстом, Пушкин сдружился с офицерами этого полка, посещал их собрания и вечеринки, где царствовал дух вольнодумства, гусарского удализма, презрения к светской черни. Из друзей-офицеров для Пушкина самым близким был П. Я. Чаадаев¹⁴.

Славу одного из центров вольномыслия Лицей получил прежде всего благодаря Пушкину. И. Пущин заметил в мемуарах: Пушкин стоял «во главе литературного движения сначала в стенах Лицея, потом и вне его...». «Литературное движение» Пущин понимал широко. В мемуарах он писал, что, окончивая Лицей, он был «готов для дела». Пушкин тоже был «готов для дела». «Первая моя мысль,— продолжал Пущин,— была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой». Слова «в нашем смысле» многозначительны. Пущин был уже членом тайного общества. Но он не «открылся». Почему? К этому вопросу вернемся позже¹⁵.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ МЯТЕЖНАЯ НАУКА И МЯТЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

1. Пора надежд и призывов к действию

*П*ри изучении биографии Пушкина развитие его мировоззрения и творчества обычно связывается с «переменной мест». Так возникла и стала привычной «географическая схема»: Царское Село, Петербург, Кишинев, Одесса, Михайловское и т. д. Эта схема постоянно ломается, но она все еще мешает проникнуть в сложные ситуации жизни поэта,

понять противоречия в его взглядах и их преодоление, разглядеть «сквозные проблемы», волновавшие Пушкина на протяжении многих лет. Так и годы 1811—1817-й обычно рассматриваются как единый этап биографии поэта, а окончание Лицея и переезд в Петербург в 1817 г.— как начало решительного перелома и совершенно новой фазы в его духовном развитии. Как будто Царское Село, где он жил до этого, было захолустьем, как будто до переезда в Петербург не сложились его связи с виднейшими писателями и с людьми, из среды которых вышли будущие декабристы!

Царское Село отстояло от Петербурга всего на два десятка верст. Здесь была одна из резиденций царя, но это место считалось и своеобразным культурным центром. Здесь же, а не только в столице, и в «святом братстве» внутри Лицея, и в среде офицеров стоявшего гвардейского полка формировалась антиправительственная оппозиция. После переезда в Петербург в 1817 г. новое в идейных позициях Пушкина заключалось не в их «переломе», а в его поведении и его «подпольных» стихах, в которых появились более энергичные революционные мотивы. Это объясняется новой политической ситуацией. «Приурочивание общественного мнения», которое составляло раньше одну из главных целей тайного общества, теперь дополнилось важной задачей — не только сеять недовольство существующими порядками, но убеждать, что невозможно терпеть дальше эти порядки, что необходим переход к активной борьбе за свободу. «Надо действовать!» — вот что стало нервом освободительного движения на новом этапе. Союз благоденствия с этой точки зрения перестраивал свою работу, однако многих новая установка не устраивала: они стали охладевать к тайному обществу — один из-за несовместимости взглядов с идеей подготовки революционного переворота, другие из осторожности. К тому же донос на Союз благоденствия М. Гри-

бовского заставил руководителей Союза прекратить его существование и создать новое общество, строго законспирированное и составленное уже из убежденных и верных людей. В 1821 г. возникло Северное общество в Петербурге и Южное на Украине.

Застольные «разговоры», «дружеские споры» сменились серьезными дискуссиями, перебором возможных вариантов революционного переворота. Пушкин, по сути, прошел эти стадии: он преодолел и былые иллюзии о том, что падение рабства возможно по манию царя, их сменило убеждение, что деспотический режим может быть свергнут лишь путем восстания и не исключена необходимость уничтожить царя во имя освобождения страны.

На новом этапе «мятежная наука», которую Пушкин позже упоминал в «декабристской» десятой главе «Евгения Онегина», сливалась с мятежной поэзией. Сама борьба за свободу была окружена идеалом поэтичности, а революционная поэзия была пронизана идеями, в которых отражался опыт истории русской и западной. Осмысливались идеи Радищева и его сторонников, русских бунтов, европейских революций, просветительство XVIII в., подготовившее французскую революцию. Эти этапы русской и мировой истории постоянно находились в круге интересов декабристов и Пушкина и соизмерялись с современными задачами. Отражались эти идеи и в творчестве Пушкина.

Стихи Пушкина читались в литературных кружках и обществах. Славу о нем разносили и военные, гвардейские офицеры, передававшие из уст в уста его смелые остроты, экспромты, озорные, «презревшие печать» стихотворения, вызывавшие восторг в узком кругу «поклонников Киприды». Да и сама репутация выходца из Лицея — дурная в официальном мире и вызывавшая симпатии у оппозиционного настроенных людей — предопределяла отношение к поэту. А когда стали передаваться из рук

в руки, разлетаться в бесчисленных списках его обличительные стихи, слава его стала расти с невероятной быстротой и все, что писалось «противу правительства» какими-то умелыми или даже неумелыми стихотворцами, приписывалось ему.

Молодой человек, намного опередивший духовным развитием свой возраст, не задумывался об опасности своих поступков и смелых разговоров. Он демонстративно появлялся в «боливаре» — широкополой шляпе, названной так по имени Симона Боливара, предводителя революционного движения в испанских колониях Южной Америки. В этой шляпе, испанском плаще и широком черном фраке с нескошенными фалдами он имел вид весьма независимый и обращал на себя внимание. Он любил споры и охотно вступал в них. Характерно, что в стихах Пушкин часто и с удовольствием упоминает о «спорах» — это воспоминание о поре всеобщего брожения, возбужденного обсуждения острых вопросов. Прошло немного времени, и популярность юного поэта возросла так, что не он уже искал общества, а искали его, чтобы наслаждаться его остроумием, его смелыми речами. Он предпочитал не общаться знакомым своего адреса, чтобы не видели его скромную комнатку с убогой обстановкой в квартире родителей на далекой окраине, в старой Коломне на Фонтанке, близ Калинкина моста (ныне № 185), там его навещали лишь близкие друзья.

Познакомился он в Петербурге и с будущими декабристами Н. Тургеневым, М. Орловым, М. Луниным, М. Бестужевым-Рюминым, П. Каховским, К. Рылевым, И. Якушкиным, Д. Завалишиным, А. Бестужевым... Повидимому, Пушкин стал догадываться о существовании тайного общества, но не знал, что находился среди его членов, когда бывал на сходках и читал свои нозли (об этих сходках он вспоминал впоследствии в десятой главе «Евгения Онегина»).

Пушкин активно участвует в борьбе театральных группировок. Его часто видят среди передовой молодежи, демонстративно занимавшей левую сторону кресел в театральном зале.

Не стесняясь, Пушкин подавал в театральном зале громкие критические реплики, вел себя вызывающе. В одном случае ему, по донесению полицмейстера, было сделано «строгое замечание» по службе, в другом — чуть было не произошла дуэль с каким-то служакой-майором Денисевичем (кстати говоря, на вызовы Пушкин в это время не скупился, защищая при этом не только свою честь. В 1818 г. он бросил вызов М. Корфу, заступаясь за дядьку Никиту, побитого этим бывшим лицеистом). Не задумываясь о последствиях, он читал свои стихи всюду, где бывал, передавал их и тем знакомым, взгляды которых никак не совпадали с его собственными. Так, он послал «Вольность» Е. И. Голицыной, обворожительной «ночной княгине», сопроводив оду галантным стихотворением, а уж Голицына, конечно, охотно показывала своим гостям и комплиментарное послание поэта и его потаенное произведение, хотя ненависти к «самовластительному злодею» и не испытывала.

Демонстративное поведение Пушкина, открытое и резкое проявление своих взглядов, разящие остроты, которые передавались из уст в уста, действительно послужили причиной отклонения его кандидатуры в члены тайного общества, когда такой вопрос возникал. Не раз колебался, но все же не решился на это Пушкин, по его собственному признанию. Не помог натиск Пушкина и во время совещания «Журнального общества» Н. Тургенева в 1819 г. (в общество были приглашены Куницын, Пушкин, Чаадаев и другие, но идея издания не осуществилась). Пушкину так и не «открыли» существование общества (о котором он, впрочем, догадывался). Принятие в общество требовало совершения определенного ритуала: декабрист,

которому поручалась вербовка в члены общества, должен был взять у принимаемого расписку — клятву в верности общему делу, неразглашении тайны и тут же для конспирации эту расписку уничтожить. Совершения этого ритуала Пушкин так и не дождался. (К этому вопросу мы еще вернемся.)

Во многих исследованиях на тему «Пушкин и декабристы» справедливо отмечается большое влияние членов тайных обществ на поэта, однако это лишь половина истины: влияние было взаимное и общение происходило на равных. Неверно изображать связи между декабристами и Пушкиным во всех случаях как отношение наставников к ученику. К тому же политические взгляды декабристов не были однородными. Среди деятелей тайных обществ находились и умеренные либералы (позже они отошли от движения вообще) и убежденные революционеры. Корни мировоззрения Пушкина и декабристов были общими — они питались самой действительностью, общими размышлениями о происходящих событиях. Одним из таких событий была в 1819 г. потрясшая всю Россию «чугуевская история». Жители Чугуева (близ Харькова) восстали против введения строжайшего аракчеевского режима военных поселений. Среди восставших было арестовано более тысячи человек. Волнения перекинулись в соседние села. По приказу Аракчеева были избиты — прогнаны сквозь строй пятисот солдат — пятьдесят два поселенца. Почти половина наказанных вскоре умерли. Даже женщин не щадили — двадцать девять из них подверглись экзекуции розгами. В письме царю Аракчеев оправдывал свои действия тем, что хотел «дать пример нижнему классу людей».

«Чугуевская история», взбудоражившая передовые круги русского общества, вызвала среди декабристов оживленные споры о способах уничтожения порядков, при которых были возможны подобные расправы. Благодаря

Пушкину весть о «чугуевской истории» распространилась по всей стране. Из рук в руки переходила эпиграмма, обличающая палача Аракчеева, которого поэт уподоблял одному из самых жестоких тиранов в истории — Нерону:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон.
Кинжала Зандова везде достоин он.

В последней строке — прямой призыв к убийству Аракчеева: напоминание о недавнем убийстве (в марте 1819 года) царского агента Коцебу немецким студентом Карлом Зандом.

Этот призыв перекликался, кстати говоря, с угрозами восставших чугуевцев: как рассказано в официальном доносении, они в ответ на уговоры смириться заявили, что приняли решительные меры «истребить» Аракчеева. На Пушкина, как и на его близких знакомых, произвели огромное впечатление не только история «усмирения» людей, ни в чем не повинных, кроме желания сохранить личную свободу, но и мужество многих из них. О непокорных, решивших «выдержать мучительные наказания» и проклинавших тех, кто «выказывал слабость при виде пыток», с благоговением вспоминал декабрист А. М. Муравьев. Пушкин, восхищавшийся стойкостью солдат во время Отечественной войны, мог теперь убедиться в героическом сопротивлении народа аракчеевщине.

Широкое распространение в рукописных списках получила и другая эпиграмма. В ней Аракчеев заклеен как «всей России притеснитель», надсмотрщик над «Советом» (то есть Государственным советом), он «полон злобы», «полон мести»; здесь же косвенно обличается тот, кому он «предан без лести»: «царю он — друг и брат».

Вопрос о военных поселениях глубоко волновал Пушкина, он хотел знать о них подробнее, и не только о том, что делалось в Чугуеве. Когда его приятель П. Мансуров

выехал в Новгород, он писал ему 27 октября 1819 г.: «Поговори мне о себе — о военных поселеньях. Это все мне нужно — потому что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм»¹.

Стихи Пушкина внушали веру в успех борьбы и участникам тайного общества. Его призывы «Товарищ, верь...» были нужны не только тем из них, кто сомневался в успехе начатого дела, но даже и такому убежденному революционеру, как Рылеев. Готовый пожертвовать жизнью, чтобы и в случае неудачи восстания показать пример борьбы будущим поколениям (его «Исповедь Наливайки» оказалась пророческой), он в своих «Стансах» (1824), написанных, казалось бы, в пору высшего подъема декабристского движения, раскрывает во всей глубине драматизм переживаний революционера, одинокого среди массы равнодушных.

Таким образом, не будучи членом тайного общества, Пушкин фактически жил в среде его вождей и деятелей, участвовал в пропаганде его идей. Лаконичные портретные зарисовки членов декабристской «семьи» в десятой главе «Евгения Онегина» — это вместе с тем и эскизы разных характеров. Здесь дана и картина споров о путях борьбы. Картина эта точна, слова Пушкина о себе, о его участии в «сходках» — не поэтическая условность. Показания члена Союза благоденствия И. Н. Горсткина, привлеченного к следствию, подтверждают, что на совещаниях общества «Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой». Напомним, как Пушкин описывал эти совещания:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунии дерзко предлагал

Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Нозели Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

«Беспокойный», пылкий Никита Муравьев был действительно полной противоположностью «осторожному» Илье Долгорукову, который, как известно, возражал против цареубийства, вступая в резкий спор с Муравьевым (вскоре он вообще отошел от тайного общества и порвал с ним всякие связи). Сторонниками самых «решительных мер» были в самом деле М. С. Лунин и И. Д. Якушкин — оба стояли за уничтожение императора. В пушкинской картине «сходок» не просто летопись событий, эпитеты здесь эмоционально-оценочные, выражающие его симпатии и антипатии. «Осторожность» в смысле трусости Пушкин презирал. «Вдохновенно», по определению Пушкина, произносил свои «решительные» речи Лунин. В 1817 г. он предлагал отправить на царскосельскую дорогу несколько человек в масках навстречу Александру I и покончить с ним. Пушкина не посвящали в эти конкретные планы (это значило бы открыть существование тайного общества). Однако странно было бы предполагать, что в его присутствии «члены сей семьи» не говорили откровенно, так сказать, «вообще», о разных способах и путях ликвидации деспотизма, о тех же путях, которые обсуждались декабристами, вплоть до применения «меча» или «кинжала» (о такой расправе в надписи к портрету Дельвига, в эпиграмме на Аракчеева шла речь и в пушкинских стихах). Гибель царям, нарушающим «закон», предвещала «Вольность», еще более открыто демонстрировал Пушкин «урок царям», показывая весной 1820 г. в театре портрет Лувеля — убийцы герцога Беррийского, наследника французского престола. Воспоминание Пушкина о том, как он

читал на «сходках» членам тайного общества ноэли, подразумевает, конечно, не только стихи этого жанра (такой подзаголовок дал Пушкин своему стихотворению «Сказки» — «Ура! в Россию скачет кочующий деспот...»); но и другие, в том числе самые острые.

Близость некоторых идей Пушкина и замыслов, возникших в среде тайного общества, настолько велика, что предполагать простое совпадение невозможно. Вот один из примеров. На собрании Союза благоденствия Федор Глинка, выступая в пользу установления конституционной монархии (что в условиях российского абсолютизма и беззакония явилось бы прогрессивным шагом), предлагал после свержения Александра I водворить на престол императрицу Елизавету Алексеевну (ее считали опальной царицей). Такие виды на Елизавету Алексеевну в случае переворота и породили замысел Пушкина в стихотворении, адресованном фрейлине императрицы Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной...»). Написано оно весьма замысловато. Заголовок, под которым стихотворение было напечатано: «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны», как бы указывает, что написано оно не по инициативе самого поэта. В стихотворении заранее отводятся возможные упреки в лести, столь обычной в стихах, обращенных к особам царствующего дома:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадиллом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою мой.

Стихотворение было напечатано в 1819 г. в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Журнал

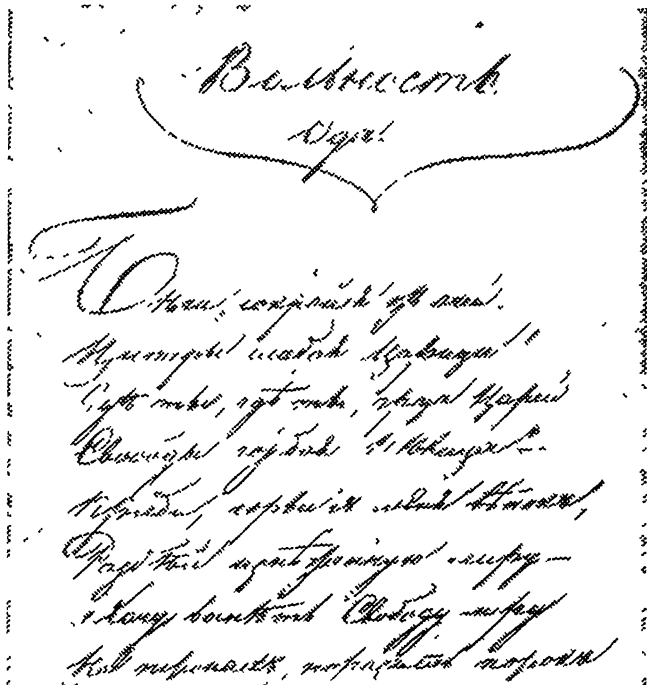
издавался Вольным обществом любителей российской словесности, находившимся под прямым влиянием декабристов, где Глинка играл руководящую роль. Цензура заставила в пятой строке вместо «свободу лишь учася славить» (скрытый намек на оду «Вольность») напечатать «природу». В черновике порицаются примеры славословия царям: «Я говорил — пускай Державин», «Пускай Жуковский», есть и другие резкие выражения («Я не игрушка»), но и в окончательном тексте независимость поэта утверждается энергично, а само приветствие императрице мотивируется так:

...Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой,
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Эпитет «тайная» к слову «свобода» здесь многозначителен: не было до того случая в истории русской поэзии, чтобы восхваление какой-либо царствующей особы нуждалось в «тайне».

Стихотворение сразу стали повсюду распространять — оно читалось на собраниях литературных обществ, расходилось в списках. Дело было сделано, и если проект водворения на престол Елизаветы был затем отброшен, то все же он сыграл свою роль, подогревая настроения враждебных Александру I кругов. Сам Пушкин готов был приветствовать любой из вариантов свержения императора и ликвидации деспотизма, если этот вариант хоть в какой-то мере приближал осуществление его мечты о свободе.

И противоречия в мировоззрении Пушкина, и самый процесс развития его политических взглядов отражали противоречия и различные фазы освободительной борьбы этого времени. Однако политическая лирика Пушкина



«Вольность». Автограф А. С. Пушкина

1817—1820 гг. с такой художественной силой запечатлела крепнувшие в обществе настроения протеста против рабства и беззакония, что открыла новую страницу в истории вольной русской поэзии. Своими вольнолюбивыми стихотворениями, созданными в эти годы, Пушкин стал не только зачинателем поэзии, по существу, декабристской,— ему принадлежат ее непревзойденные образцы.

Особенное распространение получили тогда стихотворения «Вольность» и «Деревня».

Извлекать «тезисы», «формулировки» из пушкинской оды «Вольность», приравнивая ее к трактатам, нельзя — стирается многозначность образов, а ведь именно благодаря этой многозначности смысл стихотворения глубже, богаче, чем казалось критиковавшим Пушкина за умеренный либерализм. Примитивному восприятию «Вольности» способствовало и доверие к рассказу Ф. Ф. Вигеля об истории создания оды. На самом деле, каковы бы ни были внешние обстоятельства написания «Вольности», она явилась не случайно. Сочувствие «падшим» (то есть отчаявшимся, падшим духом) рабам и гневное обличение тиранов («самовластительный злодей», «злодейская порфира», «увенчанный злодей») определяют главную тему оды. «Максималисты» критиковали автора за осуждение казни Людовика XVI, но это осуждение отнюдь не говорит о роялистских пристрастиях Пушкина; к казни монарха он относится отрицательно не только как к нарушению «вечного закона», но и потому, что она принесла народу вместо свободы новое порабощение — диктатуру Наполеона, провозгласившего себя императором («злодейская порфира на галлах скованных лежит»).

«Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок» — эти слова, звучавшие словно клятва, не остались лишь декларацией поэта. Перелом в мировоззрении Пушкина выразился не только в полемическом отрицании еще недавно казавшихся привлекательными поэтических тем, но и в новом взгляде на окружающее. В послании «К Чаадаеву» (1818) поэт говорит об исчезнувших «как сон» «юных забавах», называет «обманом» прежние мимолетные мечты о «тихой славе» и воспекает иную славу — славу героических подвигов во имя «вольности святой», освобождения страждущей отчизны.

Стихотворение «Деревня» (1819) тоже внутренне по-

лемично. Полемичность видна в самом его построении. Сначала рисуется обычная для сентименталистской поэзии идеализированная картина сельского бытия, Здесь все его традиционные приметы: «ряд холмов и нивы полосаты», «на влажных берегах бродящие стада», крылатые мельницы — всюду царят счастье, «следы довольства». Затем, обрывая спокойный, неторопливый рассказ о сельской идиллии, начинается развитие основной темы: «Мысль ужасная здесь душу омрачает...». Деревня, которая казалась «приютом спокойствия», предстает как обитель «измученных рабов», для которых нет защиты от «неумолимого владельца». Это стихотворение выделяется в лирике Пушкина нарочито архаизированной формой: оно стилизовано в духе поэзии Радищева, напоминая о традициях этого мужественного борца с рабством. Даже самый принцип обрисовки истинного положения крестьян, скрытого за внешне ласкающей глаз картиной деревни, восходит к Радищеву. Контрастность прекрасной самой по себе природы, «цветущих нив и гор» и страшной, уродливой жизни рабов, управляемой «барством диким» «без чувства, без закона», рождает мечту о «прекрасной заре» свободы.

Чем, однако, объяснить совмещение призывов к расправе над царем, которые звучали в других стихотворениях Пушкина, написанных до и после «Деревни», с упованием здесь на падение рабства «по манию царя»? По-видимому, влиянием деятелей умеренного фланга Союза благоденствия — Ф. Глинки и Н. Тургенева, с которыми Пушкин был в это время близок и которые, ратуя за освобождение крестьян, не отказывались от воздействия на политику императора и правительственных кругов. Впрочем, в некоторых списках стихотворения, ходившего по рукам, встречается и такой вариант:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство падшее, и павшего царя...

Этот вариант вполне согласуется с настроениями Пушкина тех лет и его отношением к Александру I.

Таковы были в своей основе идеи политических стихов Пушкина этого периода, служившие революционной агитации. Вместе с тем тактика декабристов требовала продолжения работы и в легальных условиях.

2. Легальные и нелегальные литературные объединения. — Новаторы и «гасители»

Изучение истории литературных объединений, существовавших до декабристской катастрофы, в той или иной степени связанных с тайными обществами 10—20-х гг., свидетельствует о том, с какой настойчивостью декабристы стремились проводить в жизнь принципы своей литературной политики. Используя всевозможные легальные и нелегальные формы воздействия на литературное движение, они добились значительного расширения пропаганды освободительных идей в литературе и сплоченного отпора различного рода реакционным выступлениям против передового литературного лагеря.

В то время литературные кружки и объединения служили серьезным средством организации общественного мнения. По существу, только здесь могли публично обсуждаться вопросы общественно-политической жизни.

Член тайного Северного общества А. Бестужев писал, что «чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, развивают и в публике вкус к родной словесности. Нередко те, которые приезжают туда, чтобы других посмотреть и показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшею охотою»².

Эти многозначительные слова А. Бестужева в статье из «Полярной звезды» (1824) расшифровываются следующим его показанием Следственной комиссии по делу де-

кабристов: «В 1822 г... свел знакомство с г. Рылеевым, и как мы иногда возвращались вместе с Общества соревнователей просвещения и благотворения, то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более. Так грезы оставались грезами до 1824 г., в который он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня»³.

Конечно, далеко не все члены прогрессивных литературных объединений этого времени (в частности, того же литературного Общества соревнователей просвещения и благотворения) проделали подобную эволюцию: для большинства «грезы» так и остались грезами. Но все же агитационная роль этих объединений несомненна. Именно потому их организация и деятельность привлекли усиленное внимание тайных декабристских обществ.

В уставе («Законоположении») Союза благоденствия один из параграфов гласит: «*Вольными обществами называются все общества, к цели его стремящиеся, но вне его находящиеся*». В числе таких кружков и обществ были также легальные и нелегальные. К легальным относился прежде всего Вольное общество любителей российской словесности. Нелегальной была «Зеленая лампа». Но и в тех кружках и объединениях, которые возникали вне непосредственной инициативы декабристов, они стремились влиять или завоевать руководящее положение. В разной степени это удавалось, как случилось с Обществом соревнователей просвещения и благотворения. Сложнее обстояло дело с литературным обществом «Арзамас». Сначала оно не имело непосредственно политических целей, но в дальнейшем его пытались круто повернуть именно к этой цели. История «Арзамаса» представляет интерес не только с этой точки зрения, но и потому, что она весьма характерна для понимания обстановки, сложившейся в широком общественном движении 1810—1820-х гг. и роли в нем декабристов и Пушкина⁴.

В эти же годы все больше обострялась дифференциация двух лагерей общественной мысли — новаторов и реакционеров, декабристов и примыкавших к ним людей — с одной стороны, а с другой — защитников «незыблемых» крепостнических устоев. В то время не было организации махровых защитников старого, которая с такой отчетливостью формулировала бы свою платформу как «Беседа любителей русского слова», возглавленная деятелем правительственной бюрократии, сановником, адмиралом А. С. Шишковым.

Деятельность этой организации рассматривалась чаще всего в связи с дискуссией о языке. Эта сторона вопроса обстоятельно освещена в истории литературы и истории русского литературного языка. Между тем «Беседа любителей русского слова» была не только и даже не столько литературной организацией: фактически она представляла собою политический блок правых элементов дворянства из непосредственного окружения царя. Именно потому (а не в силу лишь споров о стилистических тонкостях) борьба литературно-общественного объединения «Арзамас» с «Беседой» обозначила целую полосу в истории русской общественной мысли и литературы. Любопытно, что Пушкин стал понимать ретроградность «Беседы» еще в Лицее, а позже осознал ее махровую реакционность с большей остротой, чем арзамасцы. Но прежде чем говорить об этом, остановимся на платформе «Беседы» — прародительницы реакционно-охранительного течения в дальнейшем развитии русской общественной жизни и культуры.

27 марта 1816 г. Пушкин писал П. А. Вяземскому из Царского Села: «...Время нашего выпуска приближается; остался год еще... Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей Российского слова». Так Пушкин с прису-

щим ему остроумием именовал «Беседу любителей русского слова».

В письме Пушкина отразилось его нетерпение живее, активнее включиться в литературную борьбу, участником которой он уже был. Борьба с беседчиками проходит через творчество Пушкина 1810-х гг. и позже.

«Беседа» была создана в 1811 г. для пропаганды реакционно-охранительных идей. Программная речь ее организатора и руководителя Шишкова была построена явно с учетом этой основной задачи. О литературе он говорил с точки зрения политической: «Подвигнутые монаршими деяниями, мы стремились вслед воле его и не способностями нашими, но духом его оживотворяемые течем по глазу его трудиться, сколько можем, над тем первоначальным учением, на котором всякое другое учение основывается и созидается, то есть над языком и словесностью». Восхваление монархической власти проходит через все книжки «Чтений Беседы». В первом же номере были помещены дифирамбические стихи царю, из которых следовало, что без него и жизни нет на земле:

Но где же солнце теплотою,
Где, на каких брегах Скамандр
Пред нашей хвалится Невою,
Коль наше солнце Александр?

Взгляды Шишкова простирались до такой беспредельной реакционности, что в начале века он возглавлял оппозицию Александру I справа. Либеральные обещания, которые Александр давал на первых порах своего царствования, и особенно его обещания реформ — все это Шишков расценил как отступление от коренных основ «российских установлений».

Характерно следующее высказывание Шишкова по поводу либеральных фраз Александра I: «Несчастное в государе предубеждение против крепостного в России права... внушено в него было находившимся при нем француз-

зом (швейцарцем.—Б. М.) Лагарпом и другими воспитанниками французов». «Молодые наперсники Александровы,—вспоминал Шишков об этом времени,—напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называя устарелыми, невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердить пред младым царем... С того времени отстал я от двора, уклонился от всех его козней». Но как только Шишков убедился, что «либерализм» царя—пустая болтовня, он вновь возвратился к активной политической деятельности, для того чтобы официальную политику направить «к надлежащей цели», о которой Шишков заявил еще в 1807 г., до организации «Беседы». Это, разумеется, столь любезная Шишкову верность «прежним в России постановлениям, законам и обрядам»⁵.

Задачи, которые ставил себе Шишков при организации публичных литературных «чтений», были, следовательно, куда шире, чем казалось современникам. Именно поэтому выступления Шишкова против карамзинской реформы языка подчинялись прежде всего требованиям общей политической тактики, выработке которой были посвящены узкие совещания, предшествовавшие организации «Беседы». Об этом с полной определенностью свидетельствуют дневники Жихарева. Об одном из них он однажды записал: «Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязьмитинов». Литературная часть вечера была скучной и неинтересной. «Читали стихи какого-то Кукулина... на случай избрания адмирала Мордвинова... в губернские начальники московской милиции. Стихи очень плохи. Много разговаривали прежде о политике, об отъезде государя, о Сперанском...»

Из литературных собраний Шишковым, наконец, образуется «высочайше утвержденная» «Беседа любителей русского слова».

По справедливому замечанию Вигеля, «Беседа» была организована таким образом, что «имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах»⁶. Члены «Беседы» по своим литературным интересам представляли различные направления. Если не считать группы творчески бесплодных и бездарных литераторов, придерживавшихся канонов классицизма, можно с уверенностью утверждать, что единой собственно литературной платформы у членов «Беседы» не было.

Глава Беседы Шишков, стремясь направить всю деятельность объединения против передовой национальной культуры, в то же время хитроумно маскировал свои действительные убеждения. Враждебно встречая каждое проявление творческой, новаторской мысли, каждое стремление порвать путы феодализма и крепостничества, он заполнял все свои писания внешне патриотической фразеологией. Главная идея программного «Рассуждения о любви к отечеству» Шишкова — необходимость сохранения «устоев». Любовь к отечеству Шишков определял не как сознательное, а как врожденное, физиологическое чувство, по аналогии с любовью зверей и птиц к месту своего рождения или с любовью, «какую природа вложила в один пол к другому». Без каких-либо колебаний он утверждал, что любовь к отечеству должна быть «слепой». Слепота необходима для того, чтобы не видеть в существующем порядке никаких недостатков и не подвергать его никакому анализу. Анализ может якобы охладить любовь к отечеству, точно так же как он охлаждает любовь между женщиной и мужчиной: «Ум начинает рассуждать, сердце холодеть, и вскоре человек сей, ни с кем прежде не сравненный, делается для вас не один на свете, но ра-

вен со всеми, а потом и хуже других. Так точно отечество». «Слепота», которую проповедовал Шишков, была на деле проповедью полного запрета критики существующего строя, апологией феодальной неподвижности и застоя. Всякое сравнение государственной системы стран Запада и самодержавно-крепостнической системы России Шишков рассматривал как измену православному царю и вере. Вскоре после этой речи он был назначен государственным секретарем, а с началом войны Александр поручил ему составление манифестов. Шишков явился творцом того «слога» манифестов», которым царизм пользовался для маскировки своих действительных намерений и для обмана народа. В своих манифестах он демагогически использовал понятие национальной гордости⁷.

Национальными чертами русского характера Шишков считал приверженность царю и любовь к помещикам. Свободолюбие же народа, его ненависть к поработителям обличал как выражение якобы чужеземных влияний. Отвергая иноземную культуру, Шишков в то же время охотно использовал в ней то, что могло послужить на пользу реакции. Не случайно со взглядами Шишкова на национальный характер совпадали взгляды реакционера Жозефа де Местра и душителя русской культуры Бенкендорфа.

В свете всего этого становится ясно, почему Пушкин с такой яростью обличал Шишкова и его сподвижников как реакционеров, врагов русского просвещения, противников «ума»:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

В программном стихотворении «К Жуковскому» 1816 г.

(оно должно было открывать намечавшийся сборник стихотворений Пушкина) поэт противопоставляет два лагеря. В одном лагере враги «возвышенных творцов», «варягов строй», «враги наук»:

Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят...

В другом лагере истинные патриоты, проповедники просвещения, те,

Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком...

Далее следует призыв восстать на «дерзостных друзей «непросвещенья», разить варваров «кровавыми стихами».

В других стихах Пушкина высмеиваются Рифматов (Шихматов), Графов (граф Хвостов), Бибрус (Бобров), дается собирательный образ беседчиков с их «напевом бессмысленных стихов», «трехстопным вздором». О беседчиках иронически говорится в стихотворении «К другу стихотворцу» (1814), в послании «К Галичу» (1815) обличается

...угрюмый рифмотвор,
Повитый мраком и крапивой,
Холодных од творец ретивый...

Этот поэт,

На скучный лад сплетая вздор,
Зовет обедать генерала...

Верноподданнический характер, официозность поэтов-беседчиков осознавались Пушкиным. В стихотворении «Князю А. М. Горчакову» (1814) вновь сатирически изображен поэт «придворный философ», который

Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф...

Как бы в противовес облику такого поэта-беседчика, «угрюмого рифмотвора», человека холодного и напыщенного, требующего соблюдения «светского кодекса», Пушкин выдвигал в эти годы другой облик поэта, свободного, независимого, равнодушного к «почестям» и чинам. Только «чернь» (чернь светская) не ведаёт,

Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Уже в эти годы Пушкин в своих произведениях высмеивает лжепатриотизм — на самом деле шовинизм — Шишкова и его приверженцев. Он чутко уловил суть псевдопатриотической трескотни беседчиков, за которой скрывалось полное равнодушие и неприязнь ко всему действительно национальному, мнимую народность «славяно-россов». В рукописи стихотворения «К Батюшкову» Пушкин с презрением и насмешкой говорит о том, как

...неуклюжий славянин,
Изменник ревностных дружин,
В а р я ж с к и п е с н и з а т е в а е т
Т е п е р ь н а д у д о ч к е п р о с т о й
И сл о г о м д р е в н о с т и с е д о й
В д е р е в н ю б р а т ь в е в п р и г л а ш а е т...

Именно такая «народность», сочетаемая с призывом к нравам «древности седой», и воспевалась в стихах «губителей русского слова» — от самого Шишкова до его сподвижников вроде Буниной или Львова.

Понятно, почему в главном из своих произведений, направленном против беседчиков, — сатирической поэме «Тень Фонвизина» (1815) — Пушкин делает именно Фонвизина, виднейшего деятеля передовой русской литературы XVIII века, судьей реакционных «славянороссов». Здесь Пушкин говорит, что и после Фонвизина порядки в России не изменились:

Всё так же люди лицемерят,
Всё те же песенки поют.

Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут

Спокойно спят архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно...

Еще будучи в Лицее, Пушкин с большой пронизательностью определил, что «славянорусский» язык, который защищал Шишков, и русский язык в его современном понятии — вещи принципиально различные. Эта точка зрения Пушкина отразилась и в строках одного из его стихотворений 1816 г.:

Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над славянскими глупцами
Смеется русскими стихами...

Критика Шишковым галломании и слезливого сентиментализма в литературе не достигала цели вследствие ее консервативной направленности. Он отрывал книжный язык от разговорного, деля при этом книжный язык на «простой», «средний» и «высокий» слог и прикрепляя к каждому из этих слогов определенный литературный жанр. Все это тянуло литературу назад, противоречило исторически назревшей задаче создания единого национального литературного языка, являлось выражением наиболее реакционной идеологии. Отсюда и выпады Шишкова против введения в русский язык каких бы то ни было новых слов (как, например, *эпоха*, *энтузиазм*, *катастрофа*, *развитие* и т. д.).

Сущность обвинений Шишкова по адресу привержен-

цев «нового слога» была достаточно прозрачной. «Научные» доводы были тесно связаны с основной мыслью «Рассуждения» о необходимости сохранить в неприкосновенности весь строй старых идеологических понятий. Против новых слов Шишков возражал потому, что они выражали новое, враждебное феодально-крепостническому режиму содержание. «По мнению нынешних писателей,— утверждал он,— великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово «переворот», не догадаться, что оно значит révolution». В другом месте Шишков прямо раскрывает свои позиции. К слову «революция» он сделал следующее примечание: «Слава тебе, русский язык, что не имеешь ты равнозначащего сему слова. Да не будет оно никогда в тебе известно, и даже на чужом языке не иначе как омерзительно и гнусно»⁸.

Отвергая националистическую нетерпимость Шишкова к каким бы то ни было словам иностранного происхождения, Пушкин вместе с тем требовал там, где это возможно, перевода иностранных слов. Возражал он и против механического перенесения в русский язык форм другого языка. Именно эту точку зрения поэта выразили его слова в адрес цензуры, вычеркнувшей слово «вольнолюбивый»: «Уж эта мне цензура! Жаль мне, что слово вольнолюбивый ей не нравится: оно так хорошо выражает нынешнее libéral, оно прямо русское» (письмо Гречу 21 сентября 1821 г.).

Политическая реакционность взглядов Шишкова, получившая частное выражение в его взглядах на язык, вызвала всемерное одобрение царя и правительственных кругов. Успех его определился уже «Рассуждением о старом и новом слоге». «Книга сия,— писал Шишков,— чрез министра просвещения поднесена была его императорскому величеству, и я осчастливлен был за оную знаком монаршего благоволения. Российская академия удостоила меня почестною медали. Многие духовные и светские осо-

бы, службою, летами и нравами почтенные, похвалили мое усердие»⁹.

Выступления в печати критиков П. И. Макарова, Д. В. Дашкова против языковой платформы Шишкова в какой-то мере сыграли полезную роль. Но этих выступлений было недостаточно, ведь на стороне Шишкова были, по его самодовольному признанию, «многие духовные и светские особы, службою, летами и нравами почтенные». Понадобилась длительная и упорная атака на позиции «Беседы», на идеологию «варварства». И здесь Пушкин оказался в союзе с арзамасцами, членами литературного объединения, среди которых нашлись люди и далекие и близкие ему.

Отрывок из стихотворной речи Пушкина, прочитанной на одном из заседаний «Арзамаса», начинается восторженными строками:

Вснец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

Эти строки относятся к сентябрю или октябрю 1817 г., когда Пушкин, окончив Лицей, переехал в Петербург и стал участником арзамасских собраний. До нас дошли только отрывки пушкинской речи, где упоминаются «беспечный колпак» (символическая красная шапочка французских революционеров), «лавры» (символ славы) и «розги» (символ наказания и обличения враждебных «Арзамасу» людей).

«Арзамас» возник в октябре 1815 г., а уже в ноябре в лицейском дневнике Пушкина появляется запись текста шуточной кантаты «Венчание Шутовского», свидетельствующая о его интересе к этому обществу. В ней арзамасцы высмеяли увенчание лавровым венком Шаховского, члена «Беседы», его единомышленниками — Шишковым и Бунинной (факт, действительно имевший место). В декабре того же года Пушкин записал в дневнике свою эпиг-

рамму на Шишкова, Шихматова, Шаховского («Угрюмых тройка есть певцов»). Его участие в борьбе против «Беседы» на стороне «Арзамаса» выразилось, как мы видели, в ряде произведений. Связь с «Арзамасом» до окончания Лицея Пушкин поддерживал через Вяземского, Жуковского, Карамзина, через своего дядю Василия Львовича, Александра Тургенева, а также через одного из лицеистов, С. Г. Ломоносова, который находился в переписке с Вяземским. Если формальное «посвящение» Пушкина в арзамасцы состоялось после выхода из Лицея, то фактически он был деятельным членом общества сразу же после его организации. В 1816 г. имя Пушкина (с указанием его арзамасского прозвища Сверчок) мы находим в перечне авторов задуманного «Арзамасом» литературного сборника. После переезда в Петербург он читал в «Арзамасе» свои произведения. Псевдонимами Арзамасец, Старый арзамасец, Сверчок он позднее, в 1818—1830 гг., подписал пять своих произведений. Со своей стороны, арзамасцы прекрасно понимали все значение участия в их обществе Пушкина. По воспоминаниям арзамасца Вигеля, «на выпуск молодого Пушкина (из Лицея.—Б. М.) смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них событие, как на торжество».

Все это само по себе возбуждает вопрос о позициях Пушкина среди арзамасцев. Но изучение вопроса важно и в другом плане. В этом литературном объединении состояли члены тайного общества. Там же Пушкин ближе сошелся с людьми, с которыми был связан на протяжении всей своей жизни: Жуковским, А. Тургеневым, П. Вяземским и др. Отношения Пушкина с ними и различия во взглядах, которые обнаруживались в дальнейшем все отчетливее, придают теме «Пушкин и Арзамас» принципиальное значение.

В истории русской литературы и общественной мысли пушкинской поры «Арзамас» занимает особое место. Этот



Н. И. Тургенев

литературный кружок, в составе которого находились такие виднейшие писатели, как Батюшков, Жуковский, Пушкин, получил в историографии и критике самые различные оценки. Если П. В. Анненков считал, что «Арзамас» сыграл значительную роль в формировании мировоззрения Пушкина, то Д. И. Писарев видел в деятельности «Арзамаса» лишь «игрушечные интересы». Противоречивыми оставались мнения и позднейших исследователей. А. Н. Пыпин назвал «Арзамас» знаменитым «не совсем по заслугам», в то время как В. Е. Якушкин рассматривал это общество как «важное по своему могучему влиянию на литературу»¹⁰.

Были и попытки рассматривать «Арзамас» как политическую организацию. В этом плане комментировались факты активного участия в ней декабристов Николая Тургенева, Михаила Орлова, Никиты Муравьева. Для такой трактовки использовалось также полицейское донесение, где с присущим документам этого рода преувеличением о некоторых арзамасцах говорилось, что, с их точки зрения, «каждая мера правительства, в которой они не принимают участия,— мерзкая... Этот несносный тон, это фрондерство всего святого, доброго и злого в смеси, без различия, по одним страстям, заразило юношество». Отсюда некоторыми литературоведами делался вывод, что «Арзамас» был чуть ли не тайным агитационным центром, имевшим большое влияние на молодое поколение¹¹.

Столь противоречивые оценки объясняются главным образом скудостью материалов, находившихся в распоряжении исследователей.

Дополнениями к воспоминаниям современников служили протоколы «Арзамаса», которые до недавней поры были опубликованы лишь частично. Поэтому как самые предметы занятий «Арзамаса», так и роль в нем отдельных участников (в частности, впоследствии вошедших в него будущих декабристов — Н. Тургенева, М. Орлова, Н. Муравьева) устанавливались в значительной степени предположительно.

Когда впервые стал известен ряд протоколов «Арзамаса», и суждения о его деятельности благодаря этому получили более прочную фактическую основу. Состав членов «Арзамаса» и круг их деятельности — все это может быть теперь охарактеризовано точнее и полнее. Многие проясняет и дошедшая до нас переписка членов «Арзамаса». В результате лицо «Арзамаса» вырисовывается сейчас определеннее.

В отличие от таких литературных организаций, как Вольное общество любителей российской словесности,

«Арзамас» объединил людей, связанных между собой не только литературными вкусами, но прежде всего дружескими отношениями. Основную группу членов составили сторонники Карамзина, активно выступавшие в литературной борьбе против А. С. Шишкова и «Беседы любителей русского слова»,—В. Пушкин, Дашков, Вяземский, Батюшков, Жуковский; к ним примкнули несколько любителей, интересовавшихся литературой (Д. Н. Блудов, А. И. Тургенев, Ф. Ф. Вигель, А. А. Плещеев и др.).

Наконец в этом обществе встречались и люди, совершенно чуждые литературе. Так, П. И. Полетика, Д. П. Северин стали членами «Арзамаса» потому, что были сослуживцами Блудова и Дашкова по Министерству иностранных дел; близким к этой группе чиновников-сослуживцев был и Уваров — деятельный сотрудник руководившей этим же министерством газеты; Д. А. Кавелин, приятель Тургеневых и Жуковского, был введен в «Арзамас» Жуковским. Товарищескими отношениями были связаны между собой также А. И. Тургенев, С. П. Жихарев, А. Ф. Воейков. Таким образом, полностью подтверждается воспоминание П. А. Вяземского об «Арзамасе»: «Это было новое скрепление дружеских и литературных связей, уже существовавших прежде между приятелями». Но такой принцип организации литературных объединений, весьма характерный для той поры, быстро обнаружил свою слабость. Объединение в одну группу таких различных по своим идейным воззрениям людей, как Северин, Кавелин, Блудов, настроенных консервативно, и левого (в эти годы) «либералиста» Вяземского не могло принести положительных результатов. Приход в «Арзамас» будущих дскабристов М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева, Н. М. Муравьева, предъявлявших к деятельности арзамасцев совершенно новые требования, окончательно показал, насколько идейно разнородным было это объединение.

Шутливое пародирование обычаев чиновно-бюрократи-

ческих учреждений типа «Беседы» или Российской академии характерно для всей деятельности «Арзамаса». В отличие от сановных беседчиков, установивших целую серию подразделений в «Беседе» (попечители, почетные члены, сотрудники), арзамасцы установили только один титул: «его превосходительство гений «Арзамаса», друг друга именовали «гражданин» и «согражданин», а свой кружок называли «обществом безвестных людей». Местом собраний «Арзамаса» «положено признавать всякое место, на коем будет находиться несколько членов налицо». Торжественности заседаний «Беседы» противопоставлялся домашний характер собраний. Идеологическое размежевание с «халдеями» было также отмечено введением в церемонию «Арзамаса» красного колпака, который надевался на голову очередного председателя собрания (на арзамасца, совершившего какой-либо проступок, надевался белый колпак). И если бы мы не знали, что все эти забавы имели под собой более серьезное основание — действительную ненависть к литературным реакционерам, защите просвещения, обличение идеологии шишковистов, то вся деятельность «Арзамаса» в самом деле казалась бы игрой. Такому впечатлению от арзамасских заседаний (до прихода в «Арзамас» декабристов) способствует также стиль некоторых протоколов, написанных секретарем «Арзамаса» Жуковским, в которых даже серьезным вопросам придана шуточная окраска. Эти протоколы не дают представления о существе, а только о предметах занятий.

Есть указание, что читались главы из «Истории государства Российского» Карамзина. В письме П. А. Вяземскому (от 17 апреля 1818 г.) В. Л. Пушкин сообщает: «...Мой племянник пишет прекрасную поэму и читал из нее отрывки в последнем Арзамасе...». Из этого можно заключить, что А. С. Пушкин читал в «Арзамасе» отрывки из «Руслана и Людмилы»¹².

Насколько деловой была в «Арзамасе» критика про-

читанных произведений, по протоколам судить трудно.

Все это вызвало вскоре неудовлетворенность ряда арзамасцев направлением кружка.

Насколько назрела необходимость изменения характера деятельности «Арзамаса», свидетельствует уже тот факт, что выйти на арену общественной борьбы («явной войной искореним врагов») призывал даже такой политически умеренный арзамасец, как В. Л. Пушкин. Такие же требования появляются и в речах других членов кружка. Раздаются голоса о необходимости издавать журнал (письмо Батюшкова Вяземскому 4 марта 1817 г. и письмо Вяземского А. Тургеневу 27 сентября 1816 г.). Однако нужны были новые люди для того, чтобы с достаточной резкостью поставить вопрос о реорганизации «Арзамаса», о повороте к активной общественной деятельности. Такие люди нашлись. Именами Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова, Никиты Муравьева, вступивших в «Арзамас» в 1817 г., история этого кружка оказалась связанной с историей полулегальной агитационной работы деятелей ранних революционных организаций декабристов.

Н. Тургенев (член Ордена русских рыцарей, затем один из активнейших членов Союза благоденствия), вернувшись в Петербург из-за границы в октябре 1816 г., естественно, заинтересовался «Арзамасом», членом которого состоял его брат и в составе которого находились видные писатели. С первого дня появления в «Арзамасе» (11 ноября 1816 г.) он начинает подготавливать почву для того, чтобы использовать «Арзамас» в пропагандистских целях. Из разговоров с арзамасцами он убеждается, что «все согласны в необходимости уничтожить рабство». Но Тургенев хорошо понимал разницу между словом и делом. В дневнике он писал об арзамасцах: «Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь, того и желать надобно. Они же желают цели, но не желают средств. Все отлагают на время...

Вопрос в том: должно ли то быть, что желательно?— Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-либо в действо?— Есть... Итак, из сего следует, что надобно делать,— «дерзайте убо, дерзайте, людие божни». Не следует думать, что Тургенев призывал арзамасцев к революционной борьбе: речь могла идти об использовании легальных форм для широкой политической пропаганды. Направление, избранное «Арзамасом», решительно не удовлетворяло Тургенева¹³.

24 февраля 1817 г. Н. Тургенев выступил в «Арзамасе» с речью, в которой пытался подражать традиционному шуточному стилю кружка, но в то же время провести ряд серьезных политических идей. Первое плохо удалось, остроты его явно вынужденны. Содержанием же речи является критика отчетного заседания Публичной библиотеки. Наиболее острое место речи — осмеяние утверждений Греча, что цензура является следствием существования благоразумной свободы. По этому поводу Тургенев замечает: «Я невольно вспомнил о том, как, не только у нас, но и во всей Европе, приятными наименованиями стараются покрыть наготу деспотизма и порока». Эта речь своей политической свободнейностью резко нарушила обычный тон арзамасских речей. В протоколе (как обычно, шуточном) выступление Тургенева было отмечено особым образом: «Лицо его пылало огнем геройства, и голова, казалось нам, дымилась, как Везувий. Извержение черепа воспоследовало, пролилась река лавы».

Еще более энергично пытался перестроить деятельность «Арзамаса» М. Ф. Орлов, также член Ордена русских рыцарей, впоследствии крупный деятель Союза благоденствия. Орлов требовал не только расширить круг действия «Арзамаса», но также увеличить число членов и даже учредить небольшие отделения общества в местах, где окажется тот или иной арзамасец.

Большим событием явилась речь М. Ф. Орлова на за-

седании «Арзамаса» 22 апреля (арзамасское прозвище Орлова — Рейн). Отметив, что его руке, «обыкшей носить тяжкий булатный меч брани», трудно «владеть легким оружием Аполлона», Орлов направил острие своей речи против журналов и в особенности против правительственной «Северной почты», способной «отвратить и от самого свободомыслия, ежели что-нибудь могло бы уклонить честного человека от полезных занятий». Заканчивается речь призывом к арзамасцам определить «цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране Русской. Тогда-то Рейн, прямо обновленный, потечет в свободных берегах «Арзамаса», гордясь нести из края в край, из рода в род не легкие увеселительные лодки, но суда, наполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности». Только после изменения направления «Арзамаса» для этого кружка начнется, по мнению М. Ф. Орлова, «тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрассудков за пределы Европы»¹⁴.

Следствием усилий Орлова явилось решение арзамасцев об издании своего журнала. Журнал, по мнению Орлова, должен был играть роль пропагандиста свободолюбивых идей в декабристском духе. Об этом свидетельствует запись Жуковского речи Орлова на двадцатом заседании «Арзамаса» в июне 1817 г. Направление журнала символизируется здесь в образе некоего божества:

С яркой звездой на главе Гением тихим носилось
В свежем гражданском венке божество: Просвещение,
дав руку
Грозной и мирной богине Свободе¹⁵.

В наброске программы журнала фигурирует имя одного из самых замечательных деятелей тайного общества — Никиты Муравьева (Адельстана) как участника политического отдела журнала. Направление журнала, по спра-

ведливому замечанию М. В. Нечкиной, как бы предвещает направление будущего Союза благоденствия (членами которого М. Орлов и Н. Тургенев стали в 1817 г., то есть в последний период существования «Арзамаса»). Однако новаторские идеи Орлова далеко не у всех арзамасцев вызывали сочувствие. Если Н. Тургенев с восторгом отзывался о них в своем дневнике, то Северин в ответе Орлову ограничился обычной арзамасской болтовней, в которой содержалось недвусмысленное предостережение: «Умерьте пространство вашего плавания; постарайтесь в месте сидения вашего не разливаться и не топить нас». Из сохранившегося в бумагах «Арзамаса» «Мнения» (письма) А. Тургенева о журнале (под этим «мнением» имеются подписи других арзамасцев) видно, что он явно старается направить политические установки Орлова в сторону более умеренную. Журнал, согласно этой декларации, должен быть «посредником между Европою и Россией... повествуя о новых успехах гражданственности». Но здесь же провозглашается необходимость доказывать, «что в руках благоразумия никогда факел света не превратится в факел зажигателя. Мы будем помнить, что наша святая обязанность не волновать умы, а возвышать их: действие «Арзамаса» да будет медленно, но мирно и благотворно». Таким образом, перед нами программа умеренного, осторожного либерализма. Еще менее одобрял намеченный политический поворот «Арзамаса» Жуковский. Жуковский был наиболее последовательным сторонником принятого в «Арзамасе» шуточного направления, утверждая, что «арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье». Ему внутренне было свойственно стремление отстраниться от общественно-литературной борьбы. Еще в 1815 г., в разгар полемики, он писал в письме А. П. Елагиной-Киреевской: «Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и все молчали»¹⁶.

Все же руководство «Арзамасом» в 1817 г. фактически

переходит к М. Орлову и Н. Тургеневу. В «законах», то есть в уставе «Арзамаса», целью общества определяется «польза отечества, состоящая в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности и вообще мнений ясных и правильных». На заседаниях «Арзамаса» на квартире у Орлова, где обсуждались «законы» «Арзамаса» и программы журнала, бывал и Пушкин. Развивая свои идеи, М. Орлов предложил показать в журнале выгоды «представительной системы» правления, то есть конституционных порядков. Внимание членов кружка все более и более сосредоточивается на вопросах политических. Издание журнала казалось вначале делом вполне реальным. В архиве братьев Тургеневых сохранилось письмо И. И. Дмитриева, из которого следует, что на журнал уже началась было предварительная подписка.

Однако поворот, который пытались придать «Арзамасу» будущие декабристы, оказался слишком крутым. В 1818 г. «Арзамас» распался. Внешней причиной распада явился отъезд из Петербурга Дашкова, Полетики, Орлова, Вяземского и др. Внутренняя же причина была значительно более серьезной. «Арзамас», не представлявший собой, с точки зрения политической, прочного объединения, не мог существовать как общество со сложными общественно-литературными задачами. Именно потому и не состоялось издание арзамасского литературного журнала, хотя для этого вполне достаточно было и оставшихся в Петербурге арзамасцев.

Не осуществилась и идея Орлова об учреждении в месте пребывания каждого члена, живущего вне Петербурга, как бы филиалов «Арзамаса», руководимых центральным петербургским кружком (эта идея явилась прямым отражением организационно-пропагандистских установок Союза благоденствия). Н. Тургенев с присущей ему пронизательностью писал брату (С. И. Тургеневу)

по поводу одного из арзамасцев — «дипломатического щенка» — Северина: «Но чего ожидать от таких и вообще почти от всех людей? Наш образ мыслей, основанный на любви к отечеству, на любви к справедливости и чистоте совести, не может, конечно, нравиться хамам и хаменкам... Все эти хамы, пресмыкаясь в подлости и пестворстве, переменяв тысячу раз свой образ мыслей, погрязнут, наконец, в пыли» (письмо от 25 апреля 1818 г.). Время подтвердило и скептицизм С. И. Тургенева, который, зная о настроениях Северина и ему подобных, писал Жуковскому в декабре 1817 г. в связи с проектом арзамасского журнала: «...брат Николай будет едва ли не в пустыне проповедовать, или, по крайней мере, можно опасаться, как бы такие проповеди тем не кончились»¹⁷.

Действительно, вскоре большая группа арзамасцев перешла в другой лагерь. Северин, после попыток Н. Тургенева и Орлова перестроить «Арзамас», явно охладел к этому кружку. Об этом говорит следующая ханжеская записочка Северина с отказом участвовать в заседании «Арзамаса» (обнаружена в архиве Вяземского): «На этих днях я говел, любезный друг, и не могу себе позволить смеяться много накануне большого праздника. Каково признание? Не тебе бы, Асмодею, слышать... Жалей об этом, сколько хочешь, но не сердись на меня». В 1818 г. Северин женился на сестре ярого монархиста Стурдзы и, гордясь новым родственником, стал демонстрировать свое сочувствие реакционной политике. Д. А. Кавелин, будучи директором Петербургского университета, в 1821 г. сыграл активную роль в позорной истории изгнания профессоров, обвиненных в «вольномудстве». Уваров в царствование Николая I стал одним из наиболее крайних выразителей и проповедников реакционной политики, заклятым врагом Пушкина.

К числу наиболее левых по своим убеждениям арзамасцев принадлежал Вяземский. Он, находившийся в Вар-

шаве, горячо откликнулся на предложение издавать журнал в польской столице и даже написал программу его. Вероятно, именно поэтому М. Орлов обратился к нему из Киева 22 марта 1820 г. с проектом возрождения «арзамасского братства» опять-таки на базе организации журнала для пропаганды необходимости конституции (характерно, что руководителем журнала предлагался Никита Муравьев). Письмо М. Орлова, последняя попытка возродить «Арзамас» наподобие и по собразу «вольных обществ» Союза благоденствия, представляет большой интерес. Но и она не осуществилась.

Не суждено было осуществиться и проекту Орлова. Знал ли Пушкин о нем? Как он вообще относился к проектам перестройки объединения? Хотя документальных материалов на эту тему и нет, на оба вопроса можно ответить утвердительно. Сохранился черновой набросок начала совместного письма Пушкина и Орлова арзамасцам, написанного в Кишиневе в 1820 г. Не может быть сомнений в том, что Орлов осведомил Пушкина о своих планах. Пушкин же, еще будучи лиценстом, больше всего ценил боевые выступления арзамасцев. Об этом свидетельствует и письмо В. А. Пушкину в декабре 1816 г., где он отмечает умение арзамасцев не только обличать Шишкова и Шаховского, но

...с гневной музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять...¹⁸

Вся поэтическая деятельность Пушкина в годы основания «Арзамаса» и до этого свидетельствует о том, что он мог только поддерживать самые радикальные проекты реорганизации кружка.

Распад «Арзамаса» совершился бесповоротно. Роль руководителей литературного движения переходила к людям иного типа, связавшим свою судьбу с революционным движением, с деятельностью декабристских организаций.

К этим людям и примкнул Пушкин. Сближение Пушкина с деятелями тайного общества шло параллельно его идейному размежеванию с теми арзамасцами, которые обнаружили крайнюю идейную шаткость своих позиций.

Отзывы Пушкина об арзамасцах отличаются обычной для него пронизательностью. К Николаю Тургеневу и М. Орлову он, как известно, относился с большим уважением и был с ними близок. Когда после разгрома декабрьского восстания разнеслись слухи о том, что Англия выдаст Николая Тургенева для расправы Николаю I, Пушкин написал скорбное стихотворение «Так море, древний душегубец». Образ Тургенева как человека, целиком захваченного уничтожением рабства, преданного родине, намечен в десятой главе «Евгения Онегина».

Быстро разгадал Пушкин тех арзамасцев, которых Н. Тургенев называл «хамами и хаменками».

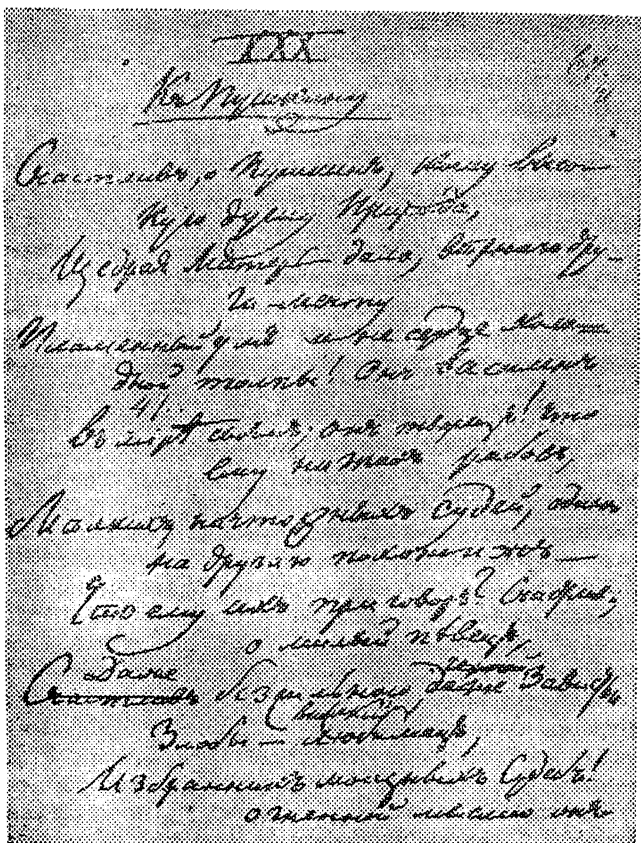
Итак, Арзамасское общество развалилось из-за внутренних разногласий между правым и левым флангами его членов. Более жизнеспособным оказалось Вольное общество соревнователей просвещения и благотворения (1816—1825). Оно, по мере своего развития, стало одним из заметных явлений оппозиционного правительству движения, легальным «периферийным» ответвлением Союза благоденствия. Руководство этим объединением было завоевано декабристами, когда Пушкин находился уже в ссылке. Поэтому мы здесь остановимся лишь на эпизодах, непосредственно связанных с именем Пушкина. Но сначала коротко о самом Обществе¹⁹.

Вольное общество было задумано инициаторами как либерально-оппозиционная организация. Под давлением А. С. Шишкова и Комитета министров оно сначала вообще не было утверждено. Тогда инициаторы вынуждены были переработать свой устав, отказаться от претензий

на бесцензурность своих изданий и на право иметь свою типографию, а также открыть доступ в Общество и для правой части литераторов.

Добившись наименования «Высочайше утвержденного», Общество включило в свой состав литераторов реакционного лагеря (Б. М. Федоров, кн. Н. А. Цертелев, Д. А. Воронов, гр. Д. И. Хвостов и др.), затем дифференцировалось, впоследствии выделив на левом фланге группу будущих декабристов — Рылеева, А. Бестужева, Н. Бестужева, А. Корниловича, Ф. Глинку, К. Торсона, В. Кюхельбекера, П. Колошина и др. Эта группа вскоре составила в Вольном обществе основное ядро. Насколько оно было сильным, показывает исход инцидента с речью Каразина.

В. Н. Каразин выступил на собрании Общества 1 марта 1820 г. с речью «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России», направленной против прогрессивных тенденций в литературе и журналистике. В противовес левому флангу Общества, культивировавшему эти тенденции, Каразин призывал писателей — членов Общества — отбросить «мнимые права человечества» и «свободу совести», «столько прославленные и столько во злобу употребленные в XVIII веке» (т. е. в эпоху французской революции), и предлагал Обществу в качестве «политических предметов» — «порядок: естественную зависимость одного состояния от другого, добрые нравы для всех, постепенное просвещение по приличию каждого состояния». В речи этой разоблачались и методы легальной пропаганды освободительных идей прогрессивными романтиками, объединившимися в Вольном обществе: «Я иногда дивлюсь статьям иных наших журналов. Хотя побойться готов, что это делается без всякого намерения, а так, просто по нашей русской привычке копировать иностранны. Сюда принадлежит прославление инсургентов, вольных областей, их конституций и т. п. Подумали



Страница рукописи стихотворения
В. К. Кюхельбекера «К Пушкину»

бы хоть раз эти господа, кому у нас адресуют они свои восклицания... Наши санкюлоты читать не умеют»²⁰.

Из протокола заседания нельзя сделать заключения, что речь Каразина вызвала протест: она была набрана «по литературному достоинству» «большинством голосов», но при этом следовала оговорка: «статью сно рассмотреть в чрезвычайном заседании». На чрезвычайном заседании, состоявшемся 15 марта, левый фланг одержал полную победу. После бурных прений большинством голосов «Рассуждение» Каразина было отвергнуто.

Из других бумаг, касающихся этого инцидента, можно сделать заключение, что отпор Каразину был дан самый суровый.

В списках членов Вольного общества Пушкин не числится, не зарегистрировано и его присутствие на заседании. Это тем более странно, что председателем Общества был близкий знакомый Пушкина — Ф. Н. Глинка, а в состав Общества избирались не только известные, но даже и начинающие литераторы. Произведения Пушкина представлялись в Общество несколько раз Ф. Н. Глинкой и Н. И. Гречем, читались там, но избрание поэта в члены, которое обычно следовало за представлением произведений в Общество, в делах Общества не зафиксировано. Это можно объяснить тем, что до ссылки Пушкина (1820) его приему как «политически неблагонадежного» противился правый фланг Общества и министерство народного просвещения, контролировавшее деятельность Общества (министр народного просвещения князь А. Н. Голицын, заклятый враг Пушкина, служивший объектом его эпиграмм, лично визировал дипломы вновь избранных членов). Когда же в руководстве Вольного общества оказывались друзья Пушкина и сторонники прогрессивного романтизма, о приеме поэта, находившегося в ссылке, конечно, не могло быть и речи по причинам вполне понят-

ным, хотя отсутствие Пушкина в Петербурге само по себе не могло служить препятствием к избранию его, так как по уставу членами Общества могли быть и иногородние лица.

Когда близкий Пушкину П. А. Плетнев однажды сказал Ф. Н. Глинке, что Пушкина следует принять в Общество, тот отделался шуткой: «Овцы стадаются, а лев ходит один»²¹.

Однако трудно предположить, что творчество Пушкина не использовалось левым крылом Вольного общества в своей деятельности и на страницах своего органа «Соревнователь просвещения и благотворения», выступавшего против консервативных литературных течений. Сдержанный канцелярский тон протоколов Общества, сухо фиксировавших читанные произведения и результаты баллотировки, навсегда зашифровал бурные эксцессы, связанные с именем Пушкина. О том, какую роль играла его личность и творчество в Обществе, мы можем судить по иным материалам.

Одним из самых ярких событий в жизни Общества было заседание, состоявшееся несколько ранее в связи с высылкой Пушкина, оно приняло характер своеобразной прямой политической демонстрации протеста. Об этом говорит донос В. Н. Каразина, представленный им 4 июня 1820 г. графу В. П. Кочубею, в котором перечисляются стихотворения, «имеющие отношение к высылке Пушкина». Доказывая, что ими «безумная наша молодежь хочет блеснуть своим неуважением правительства», Каразин особо останавливается на стихотворении Кюхельбекера «Поэты», посвященном высылке Пушкина и читанном на заседании Вольного общества. Расшифровку стихотворения Каразиным стоит процитировать целиком:

«В № IV «Соревнователя» на стр. 70 Кюхельбекер взял эпиграфом из Жуковского:



В. К. Кюхельбекер

И им не разорвать венка,
Который взяло дарованье...

(«им» — т. е. государю, министру и т. д.— указывает Каразин). Поэт обращается к своему лицейскому сверстнику:

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту что и где ограда
Среди злодеев и глупцов?

Хотя надпись сей пьесы просто: «Поэты», но цель ее
очень видна из многих мест, например:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит

И краску гонит с их ланит
И власть тиранов задрожала!
* * *

О Дельвиг, Дельвиг! Что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел,
И сластоного песнопенья!
Так! Не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый,
Союз любимцев вечных муз!

О вы, мой Дельвиг, мой Евгений, (*Баратын-
ский* — пометка Каразина)

С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты, наш юный Корифей,

Певец любви, певец Руслана, (*Пушкин* — помет-
ка Каразина)

Что для тебя шипенье змей,
Что крик и филина и врана?»

«Кюхельбекер, изливая приватно свое неудовольствие, называл государя *Тиберием*... В черте наимилосерднейшей нашел *Тиберию* — безумец!»²²

Некоторые дополнительные факты от Каразина все же ускользнули. Стихотворение по поводу высылки Пушкина написал и Ф. Глинка и осмелился опубликовать его тогда же в «Сыне отечества». В отличие от стихотворения Кюхельбекера оно более «прозрачно», хотя и менее темпераментно:

Судьбы и времени сегого
Не бойся, молодой певец,
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!

В цитированном доносе Каразина обращают внимание слова о том, что это его письмо является подтверждением «бумаги», посланной им же 23 марта. Это навело на мысль, что в «бумаге» от 23 марта, очевидно, должна бы-



Кондратий Еспартеро
Рыловъ

К. Ф. Рылев

ла содержаться более развернутая характеристика прогрессивной группы литераторов. Просмотр всех опубликованных и ряда архивных материалов, связанных с именем Каразина, существенных результатов не дал. Однако сравнение опубликованного в «Русской старине» письма Каразина к Николаю I (написанного в 1826 г., непосредственно после поражения декабрьского восстания) с оригиналом позволило установить ряд интересных данных. Весьма ценные для истории литературно-политической борьбы этой эпохи признания Каразина впоследствии при печатании в «Русской старине» (1870, т. II) были выпущены. Пушкин был объединен в одну группу с Рылевым, А. и Н. Бестужевыми, Кюхельбекером и др.

Роль личности и творчества Пушкина в борьбе прогрессивных литераторов, объединившихся в Вольном обществе, таким образом, очевидна. В сознании современников Пушкин был настолько близок к левому флангу Вольного общества, что Ф. Глинка в своих воспоминаниях о Рылееве допустил даже фактическую ошибку, причислив Пушкина к членам Вольного общества: «С Рылеевым я был знаком. Он был членом Вольного общества (соревнователи просвещения и благотворительности тож), где я был президентом и где *Пушкин*, вся лицейская дружина и всего человек до 40 заседали каждую неделю в доме Войвоцы». Впрочем, возможно, что Ф. Глинка, писавший эти воспоминания через 40 лет после того, как Вольное общество в результате разгрома декабрьского восстания скончалось, спутал заседание его с частными собраниями, происходившими в его квартире. Об этих собраниях, на которых присутствие Пушкина вполне вероятно, В. Кюхельбекер писал в 1820 г. в письме из Лиона: «Я вспомнил наши добрые вечерние беседы у Ф. Н. <Глинки>, где в разговорах тихих, полных чувства и мечтания, вылетали за рейнским вином сердца наши и сливались в выражениях, понятных только в кругу нашем, в милом семействе друзей и братьев»²³.

Наиболее близким Пушкину из кружков и содружеств 10-х — начала 20-х гг. оказалась «Зеленая лампа». Это объединение находилось в самой непосредственной связи с Союзом благоденствия, считалось его «побочной управой» (так назывались ответвления Союза, которые должны были содействовать его цели). В отличие от других «вольных обществ» (например, возникшего позже Вольного общества любителей словесности) «Зеленая лампа» была законспирирована. Каждый участник мог «в заседаниях объясняться и писать свободно» и давал клятву



А. А. Бестужев

хранить тайну. Конспирация была необходима — это ясно из пушкинского послания В. В. Энгельгардту (1819).
Здесь собирались единомышленники,

Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

Атмосферу, царившую на этих собраниях, Пушкин воссоздает в форме воспоминаний в стихотворении, обращен-

ном к председателю «Зеленой лампы» Я. Н. Толстому (1822). Это была типичная для дружеских встреч вольнолюбивой молодежи того времени атмосфера горячих споров, стихов:

...Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство...

Девизом общества было: «Свет и надежда». Вторым из символов этого девиза был весьма многозначителен и не раз встречается в вольнолюбивой лирике Пушкина. В послании 1819 г. члену «Зеленой лампы» Юрьеву он восклицал:

Для нас, союзники молодые,
Надежды лампа зажжена.

Эта же символика в одном из наиболее революционных стихотворений Пушкина — «В. Л. Давыдову» (1821):

Ужель надежды луч исчез?

И позже в послании, адресованном томившимся на каторге декабристам:

...Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора...

«Зеленая лампа» начала свою деятельность, по-видимому, не позже 1818 г. и просуществовала несколько лет (точная дата ее распада неизвестна). Из членов Союза благоденствия в нее входили С. П. Трубецкой, Я. Н. Толстой, Ф. Н. Глинка, А. А. Токарев, а из писателей кроме Пушкина А. А. Дельвиг, Н. И. Гнедич, А. Г. Родзянко и другие. Среди остальных участников особенно активными были Д. Н. Барков, поставлявший обзоры театральных постановок («Гражданин кулис» — называл его Пуш-

кин), и А. Д. Улыбышев, автор интереснейших статей на политические темы. Была привлечена и военная молодежь — Ф. Ф. Юрьев, П. Б. Мансуров и другие.

По уставу Союза благоденствия, в каждой «побочной управе» должен был состоять свой негласный «блюститель», влиявший на ее деятельность. Таким «блюстителем» был в «Зеленой лампе» Сергей Трубецкой, один из организаторов Союза спасения и Союза благоденствия (после его отъезда из Петербурга его должен был заменить И. А. Долгоруков).

По материалам архива «Зеленой лампы» (они сохранились не полностью) можно заключить, что ее платформа и круг занятий совпадали со взглядами и интересами Пушкина, поэтому он был так увлечен ее деятельностью и озабочен ее судьбой. Здесь кроме чтения стихов «против государства и правительства» велось обсуждение острых вопросов национальной культуры и литературы. Им посвящен один из замечательнейших документов «Зеленой лампы», написанный на французском языке и, по-видимому, из осторожности — в форме «Письма к другу в Германию о петербургском обществе». Автор (Улыбышев) выступает под личиной некоего человека, принадлежащего к низшему классу — «мелюзге».

В «Письме» рассказано, что в общественном мнении России происходит «большой раскол», существуют «две партии», которые «находятся в своего рода войне». «Первые, которых можно назвать правоверными... — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые — еретики, защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей». Единственная цель «правоверных» — «чины, кресты и ленты». Степень достоинства человека определяется у них табелью о четырнадцати классах. В статье отмечается также крепостническая сущность нравов «правоверных» — «скифороссов». Но и «европейская часть» высшего класса — пустота, холодность

разговора, интересы ограничены карточной игрой и гастрономическими увеселениями. Лживости патриотизма «правоверных», их националистическому презрению к чужеземцам и иностранной культуре, а также поверхностному космополитизму защитников иноземных нравов в статье противопоставлено принципиально иное отношение как к национальным традициям, так и к иноземной культуре. Автор призывает к уважению других народов, к заимствованию всего, что нужно и полезно для России, но здесь же протест против слепого подражания иноземному и призыв бережно хранить лучшие черты национального своеобразия. Национальную самобытность автор видит и в костюме, и в русских песнях, и в русской истории. Принцип национальной самобытности он считает главенствующим для литературы и театра. Климат и образ правления указываются в числе источников национального своеобразия: именно они «могут наложить на характер народа печать национальности»²⁴.

Такой подход к национальной культуре совпадает с мыслями Пушкина, которые он не раз высказывал, с его критикой националистов «славянороссов» и одновременно «галломанов» — французофилов.

Остается в архиве «Зеленой лампы» и другой документ, не менее интересный, — изложение политической платформы этого кружка (написан также Улыбышевым, на французском языке). И здесь форма изложения условна. Автор рассказывает о своем сне: он видел «воображаемое счастье, какое в тысячу раз предпочтительнее всему, что дает... грустная действительность». Самодержавие уничтожено, в гербе обрублены обе головы орла, на Михайловском замке в Петербурге надпись: «Дворец собрания представителей». Все преобразилось: подмостки деспотизма рухнули, власть государя охраняется законами (следовательно, установлена конституционная монархия), поэтому не нужны шестьдесят тысяч штыков, охраняю-

щих его. Аничков дворец превращен в пантеон, где собраны статуи людей, «прославившихся талантами или заслугами перед отечеством». Но среди них нет «теперешнего владельца этого дворца». Литература и искусство возрождены на основе национальной самобытности, более нет нужды заниматься «размножением бесполезной массы переводов французских пьес, устаревших даже у того народа, для которого они писаны»²⁵.

За этой утопией стояла реальная программа декабристского Союза благоденствия. Разумеется, и этот документ принадлежал к подпольной литературе, он читался на заседании «Зеленой лампы» и, возможно, распространялся и за ее пределами. Во всяком случае, Пушкин, как член «Зеленой лампы», был, несомненно, осведомлен об этой программе, совпадавшей с теми идеями, которые были воплощены в его «Вольности», «К Чаадаеву» и других стихотворениях этих лет.

Какие именно стихи читал Пушкин на заседаниях «Зеленой лампы», неизвестно, в бумагах осталось послание к Н. Всеволожскому, был там и автограф стихотворения «Мне бой знаком — люблю я звук мечей...» (1820, написано, по-видимому, под впечатлением революционного восстания в Испании):

...Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

С театральными позициями «Зеленой лампы» связаны «Мои замечания об русском театре» Пушкина (1820). Статья эта полемически заострена против одного из критиков журнала «Сын отечества», называвшего русскую комедию «нескладным, юродливым зрелищем» и противопоставившего ей комедию французскую. Пушкин с негодованием пишет о чуждости светской знати подлинному искусству. Эта публика, которая является «из казарм и со-

вета занять первые ряды абонированных кресел», совершенно равнодушна к театру. Она «слишком важна... дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же русского)», и служит только «почтенным украшением Большого каменного театра...»; «Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости», должны охлаждать игру «самых ревностных наших артистов».

«Зеленая лампа» сыграла немалую роль и в росте интереса Пушкина к русской истории. В архиве этого объединения сохранился написанный рукой декабриста Сергея Трубецкого список сочинений, которые рекомендовались членам «Зеленой лампы» для изучения, преимущественно книги по национальной истории и литературе: «Пантеон российских писателей», «История Суворова» Фукса, «Деяния Петра Великого» Голикова, «Жизнь Петра Великого» Феофана Прокоповича и т. п., а также «иностранные лексиконы и истории». Рекомендуются также «летописи и истории российские», «записки знаменитых путешественников по России», «периодические издания, где помещены жизнеописания славных мужей российских». Исторические занятия в «Зеленой лампе» были не только средством самообразования: по-видимому, результатом их должно было явиться составление исторического словаря русских деятелей — некоторые материалы для него были уже заготовлены. О значении такого рода работ Пушкин писал позже, в 1825 г.: «...Мы в биографии славных писателей наших довольствуемся обозначением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается».

Было время, когда в биографиях Пушкина значение «Зеленой лампы» недооценивалось, отмечалось, что времяпрепровождение носило там оргиастический характер.

Позднейшими исследованиями, в особенности подробной характеристикой этого объединения Б. В. Томашевским, показано, что прежние биографы Пушкина, которые говорили так о «Зеленой лампе», спутали ее заседания с субботными вечеринками в доме Н. Всеволожского, где бывали разные званые гости (преимущественно из актерской среды,— по субботам в театрах тогда не было спектаклей), но, вообще говоря, вольнолюбивая молодежь жила не по старому этикету. Она противопоставляла веселую раскованность своего поведения чинным ханжам-«староверам». Ю. М. Лотман об этом убедительно пишет в статье «Декабристы в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)»²⁸. По словам Пушкина,

Ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Эту психологию нужно иметь в виду при чтении некоторых стихов Пушкина, Языкова, Дениса Давыдова и других поэтов времени их молодости.

«Зеленая лампа» способствовала расширению контакта Пушкина с декабристской и околodeкабристской средой и развитию его интересов. Вместе с тем она явилась своего рода школой конспирации, это было все-таки тайное общество (так его называли и некоторые из лиц во время допросов «Следственной комиссии о злоумышленных обществах» — С. Трубецкой; Я. Толстой и др.). Однако Комиссию удалось убедить, что хотя в «Зеленой лампе» и велись политические разговоры, она не носила политического характера.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИДЕИ ДЕКАБРИСТОВ И ПУШКИНА О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ И ПУТЯХ КУЛЬТУРЫ

1. «Просвещенная свобода»

Декабристы, посвятив свою жизнь борьбе за новую Россию, вместе с тем вписали славные страницы в историю русской культуры. М. Лунин писал впоследствии: «Дело тайного общества бросило яркий свет на истинные нужды страны и на прогрессивное развитие культуры». Не было ни одной области

духовной жизни, в которую поколение декабристов не внесло бы свой вклад, где они не проявили бы свое революционное новаторство, свою неумную страсть к познанию, где не сказывалась бы их борьба против консервативных норм, удушающих живую мысль и творческую инициативу. И в этом движении величайшую, определяющую роль играла творческая, универсальная по своему содержанию деятельность Пушкина¹.

Большинство деятелей декабризма отличает энциклопедический интерес к науке, литературе, искусствам. Это было само по себе знамение эпохи, обозначившей новые страницы в истории русской культуры. О широте кругозора декабристов, масштабах их мышления свидетельствует все их наследие — книги, статьи, письма, мемуары и большой массив еще не опубликованных архивных материалов. Среди деятелей тайных обществ были люди, горизонты которых поистине беспредельны. Так, член Северного общества Г. Батеньков, по образованию инженер, известен как автор первой русской книги о дешифровке египетских иероглифов (О египетских письменах, СПб., 1824). Он сочинял стихи, оставил статьи и заметки по вопросам философии, эстетики, истории, математики, этнографии. Н. Бестужев, литератор и живописец, увлекавшийся многими отраслями знаний, считал стремление к универсализму одной из примет своего поколения: он утверждал, что и художник должен выходить за пределы своей профессии, он «должен быть и историком, и поэтом, и наблюдателем (т. е. исследователем)». Интерес к музыке, живописи был всеобщим. Вообще мало кто из декабристов замыкался в кругу своих непосредственных занятий, диктуемых специальным образованием или служебными обязанностями².

В вопроснике, который арестованным декабристам предъявил Следственный комитет, был пункт: «В каких предметах вы наиболее усовершенствовались?». На это

А. Бестужев ответил: «Смело сказать могу, что я не оставил ни одной ветви наук без теоретического или практического изучения и ни одно новое мнение в науках умозрительных, ни одно открытие в химии или механике от меня не уходило». Такого рода признания мы встречаем и в других следственных делах. Но особенно интересовали декабристов общественные науки — всемирная и русская история, философия, политические учения, политическая экономия, право. Многие их работы не уцелели, но и то, что дошло до нас, свидетельствует о самостоятельности и оригинальности мысли: таковы исторические труды Н. Муравьева (о биографиях Суворова, об «Истории» Карамзина и др.), А. Корниловича (по истории России XVII и XVIII вв.), Н. Бестужева (по истории русского флота). Н. Тургеневым написан выдающийся для своего времени труд по политической экономии «Опыт теории налогов», М. Орлову принадлежит работа «О государственном кредите» (о ней есть заметки Пушкина). Интересные идеи высказывались декабристами также в области психологии, биологических и математических наук, техники, а некоторые их соображения не потеряли своей ценности и сегодня (например, книга В. Штейнгейля о времянисчислении). Общеизвестна роль декабристов-литераторов в развитии русской литературы. Произведения К. Рыльева, В. Кюхельбекера, А. Одоевского, В. Раевского представляют собой оригинальный вклад в поэзию 10—20-х годов, А. Грибоедова — в драматургию, А. Бестужева и В. Кюхельбекера — в эстетику и литературную критику. Литературным творчеством занимались и декабристы, не являвшиеся писателями в прямом смысле этого слова, — А. Бярятинский, М. Бестужев, Г. Батеньков, Н. Тургенев, Д. Завалишин, В. Давыдов, С. Муравьев-Апостол, Ф. Вадковский, П. Муханов, Ф. Шаховской и другие. У одних занятия литературой не были преобладающими и остались фактом их личной биографии (или служили агни-

тационным целям), у других — носили устойчивый характер, хотя их сочинения и не предназначались для публикации. Но дело не только в том, что отдельным декабристам принадлежат те или иные произведения в области культуры, науки, искусства, и не только в их любознательности. Они считали, что само по себе обладание знаниями еще не является решающим критерием общественной ценности личности. Николай Бестужев писал: «Какая разность между ученым и просвещенным человеком? Та, что науки ученому делают честь, а просвещенный делает честь наукам». В этом смысле истинно просвещенным человеком считался тот, кто, достигнув высокой степени образованности, служит высоким идеалам, народному благу. М. П. Бестужев-Рюмин — один из вождей декабризма — с гордостью говорил о составе тайного общества: «Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или оно одобряют»³.

Программные документы тайных обществ, публицистические и литературно-критические выступления декабристов, их показания Следственному комитету — все это свидетельствует о том, что основы развития прогрессивной культуры, ее источники и ресурсы представлялись первому поколению русских революционеров с достаточной определенностью. Они мечтали о культуре, рождаемой новой эпохой, которая ознаменовалась, по словам Пестеля, «революционными мыслями»: «Дух преобразования составляет, так сказать, везде умы клокотать». Этот «дух преобразования», «переворот в умах» сказывался во всех областях передовой культуры, возникали непосредственные многообразные генетические связи между борьбой против старого феодального мира и новым, нарождающимся миром, который, по выражению Рылеева, открывал «и в политике и в поэзии поприще более обширное»⁴.

Вопросы культуры должны были занимать немалое

место в самом значительном программном документе декабризма — «Русской правде» Пестеля. Работая над этим своим произведением, Пестель внимательнейшим образом учитывал особенности русской истории, русского быта. Одновременно он изучал опыт мировой истории, сочинения мыслителей, которым принадлежали различные проекты «государственных установлений», конституции революционной Франции и других стран. Та часть труда Пестеля, которая посвящена просвещению, наукам, искусству, осталась незавершенной (или до нас не дошла), но и в известных нам текстах, подготовительных материалах, набросках общее направление задуманных в этой области реформ носит ярко выраженный новаторский и демократический характер. По мысли Пестеля, предпосылкой грядущего расцвета духовной жизни должна стать возможность образования для всех сословий, а не только для дворянской верхушки общества, как это было в императорской России: «Все классы людей чувствуют теперь в России потребность учиться и просвещаться». Предусматривалось, что получит развитие вся система просвещения — лицеи, университеты, «академии и разные общества для наук и художеств», музеи, галереи и, конечно, свободное книгопечатание. Размышляя о будущем, Пестель задумывался и о классификации наук: перечислены многие ее разделы — гуманитарные, естественные, математические⁵.

Когда речь идет о декабристских трактовках задач культурного развития, необходимо принимать во внимание особую лексику того времени. Тогда эквивалентом понятия культура служила совокупность нескольких терминов, таких, как «просвещение», «науки», «художества» (или искусство), «словесность». В «правилах» Общества соединенных славян читаем: «Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим ... почитай науки, художества и ремесла». Но часто все эти понятия заменялись одним лишь

словом «просвещение». Так же использовал этот термин и Пушкин⁶.

Правые арзамасцы считали, что прогресс заключается в «постепенном ходе просвещения». Николай Тургенев придерживался противоположного убеждения: «Одно просвещение никогда не доведет до свободы... Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению». И здесь же утверждалось, что истинный патриотизм несовместим с признанием рабства. Эти его излюбленные мысли, беспрестанно повторявшиеся в других письмах, в дневниках, были близки и Пушкину: в оде «Вольность» выражением подобных же идей явились строки о том, что рабство укрепилось «в сгущенной мгле предрассуждений». Не менее характерно и то, что в пушкинской же «Деревне» падение «рабства» рассматривается как условие «свободы просвещенной»⁷.

Как и декабристы, развитие культуры Пушкин всегда ставил в зависимость от политического устройства общества. Так, говоря о средневековой реакции в Европе, Пушкин писал: «Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и художества. Наконец она пала; просвещение погасло. Невежество омрачило окрвавленную Европу». В заметках по русской истории XVIII в. (1822) о «народной свободе» говорится как о неминуемом следствии просвещения. Успехи культуры в России Пушкин связывал лишь с деятельностью ее лучших, прогрессивных представителей. Так, он считал, что ученые и писатели должны быть передовыми борцами за прогресс. С гордостью писал он в этом смысле не только о Радищеве, но и о великой роли Ломоносова в истории русской культуры: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».¹

Приведенные выше мысли Пушкина о просвещении находят полную аналогию в документах тайных обществ и высказываниях декабристов на эту тему. В уставе Союза благоденствия указывалось: «Союз всеми силами попирает невежество и, обращая умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворить истинное просвещение». На необходимость борьбы за истинное просвещение обращалось внимание и в Обществе соединенных славян, в «правилах» которого мы читаем: «Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим... почитай науки, художества и ремесла. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих». Эта пылкая, возвышенная любовь к русской культуре, стремление слить ее с борьбой за политическую свободу, поднять ее на новую, высшую ступень были характерны для всех передовых людей эпохи.

Как уже отмечалось, и Пушкин и декабристы ставили вопрос о развитии культуры в зависимость от политического строя и от борьбы за свободу. Написанный Рылеевым и оставшийся в его бумагах план сочинения «Дух времени или судьба рода человеческого» содержит раздел: «Человек от деспотизма стремится к свободе; причиною тому просвещение». Здесь отразилось свойственное декабристам просветительское понимание закономерностей исторического процесса; но крупным завоеванием декабристской общественной мысли был *политический* подход к проблемам просвещения⁸.

В определении задач борьбы за передовую культуру, как и в трактовке самого понятия «просвещение», Пушкин находился на уровне, которого достигла идеология декабризма. Он придерживался характерной для нее политической трактовки понятия и вместе с тем разделял слабость этой трактовки, которая заключалась в определенном преувеличении силы идей, могущества «общего мнения».

О единстве взглядов Пушкина и декабристов на воп-

росы просвещения свидетельствует, между прочим, письмо Николая Тургенева брату Сергею, где он рассказывает об одном своем разговоре с Пушкиным: «Мы на первой станции образованности», — сказал я недавно молодому Пушкину. «Да, — отвечал он, — мы в Черной грязи»⁹. Черная грязь — это, как известно, одна из станций, о которой Радищев говорит в своем «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Здесь я видел так же изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами».

Особое содержание вкладывалось и в воодушевлявшую декабристов и Пушкина идею национального возрождения. О национальном возрождении как идее, вызывавшей сопротивление консерваторов, говорил в 1819 г. в речи, имевшей программный характер, М. Орлов; о животворящем духе возрождения писал Лунин в своем «Взгляде на тайное общество с 1816 до 1826 г.»; с этой идеей связана и столь дорогая декабристам идея новаторства, переворотов во всей политической и духовной жизни¹⁰.

Какое же конкретное содержание вкладывалось декабристами в понятие национального возрождения и в чем они видели его источники?

В истории культуры, как известно, понятие возрождения употреблялось в разных значениях. В одном из них подразумевалось создание новой антифеодальной идеологии и культуры под девизом возрождения культуры античности (на самом деле этот девиз прикрывал целый комплекс вполне современных идей). Другое значение этого понятия — более широкое: разрыв со всеми устоями старого общества, с его взглядами и канонами, национальное возрождение — переворот в политических, этических, художественных взглядах, новые критерии цели и смысла жизни, стремление к трезвому познанию реального мира. Декабристы высоко ценили эти черты в европейском Возрождении. Рылеев воодушевленно писал об этой эпохе: «...Тысячи сил, до сего времени дремавших,

пробудились и сделались чрезвычайно деятельными»; а Н. Муравьев проводил прямую параллель между борьбой реакции против прогресса в современной России и в эпоху европейского Возрождения, когда утверждал, что Коперник, как и «все великие мужи... сидели бы в остроге и должныствовали бы отвечать Гладкову (петербургскому полицмейстеру.— Б. М.)»¹¹.

Характеризуя развитие русской культуры первых десятилетий XIX в., историки и критики не раз проводили параллели с теми или иными сторонами западноевропейского Возрождения, которое рассматривали как эпоху штурма твердынь феодализма, выдвинувшую титанов мысли и творчества. Луначарский сопоставлял с возрожденческим мироощущением взгляды и мысли Пушкина. Основание для этого он видел в жизнеутверждающей тональности пушкинской поэзии, в преодолении трагических диссонансов верой в будущее, в символике пушкинских крылатых слов о победе разума — солнца над силами тьмы. К этому можно прибавить, что основа всего творчества Пушкина — ярчайшего выразителя новой культуры — гуманистическая, что он утверждал побеждающую силу мысли, смелого анализа, разрушающего привычные авторитарные догмы. Типичным для деятелей ренессансных эпох является и универсализм Пушкина, необъятная широта его интересов. Такие ренессансные черты в той или иной степени проявлялись и в деятельности наиболее выдающихся декабристов.

Подобные сопоставления закономерны с точки зрения типологического познания мировой культуры, но при одном очень важном условии: необходимо учитывать неповторимое национальное своеобразие России, своеобразие ее духовной жизни, народа, истории. Попытки строить модель культурного развития в России первой четверти XIX в. непосредственно по типу культур ренессансных эпох в странах Запада нельзя признать серьезными. Глу-

боко ошибочным было бы толковать декабристскую идею борьбы за национальное возрождение и в другом смысле — будто бы русская национальная культура к тому времени еще не сложилась. Все ее достижения — духовное наследие русского средневековья, русского XVIII в., великие традиции русского просвещения, новые завоевания в науке, литературе, искусстве начала XIX в. — свидетельствуют о том, что отечественная культура достигла высокой зрелости, а вершины ее были залогом дальнейшего расцвета и обновления.

Этой мыслью, в частности, пронизаны знаменитые обзоры состояния русской культуры, сделанные А. Бестужевым. Первый же его обзор начинается словами: «Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран, ровесник всех возрастов народов не был чужд и предкам нашим». Восторженно вспоминал он «Слово о полку Игореве», высоко оценивал заслуги писателей XVIII в., а также своих современников — Пушкина, Крылова, Жуковского, Батюшкова и других. Пушкин высоко ценил не только «Слово о полку Игореве», но и устное художественное творчество народа — песни, сказки, изречения¹².

Как раз в эпоху Пушкина и декабристов появились новые тенденции в изобразительном искусстве, музыке, происходило преобразование русского театра.

Причиной же неудовлетворенности декабристов современным состоянием просвещения, литературы, науки было сознание противоречий между богатейшими возможностями деятелей отечественной культуры и условиями, в которые они были поставлены деспотическим режимом. В. Кюхельбекер в показаниях Следственному комитету говорил: «...Взирая на блистательные качества, которыми бог одарил народ русский, народ, первый в свете по славе и могуществу своему, по звучному, богатому, мощному языку (и это для писателя не последнее), коему в Европе нет подобного, наконец, по радушию, мягкосердию, остро-

умию и непамятозлобию, ему пред всеми свойственному, я душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, опадет, не принеся никакого плода в нравственном мире!» Великие завоевания передовой русской литературы и искусства в эту эпоху были достигнуты вопреки политике российского самодержавия, в борьбе с реакцией. Поэтому декабристская идея национального возрождения была одновременно и идеей борьбы за ниспровержение абсолютизма, за коренное преобразование государственного строя. «Страна та будет счастлива, где просвещение будет следствием свободы законной», — утверждал П. Каховский. При всем различии декабристских проектов переустройства России они были воодушевлены патриотической мечтой о свободном развитии духовных сил нации. Этой идеей проникнуто и все творчество Пушкина¹³.

Отстаивание декабристами основ передовой национальной культуры происходило в атмосфере острой войны «двух партий», о которой говорилось в одном из замечательнейших нелегальных документов тайных обществ, в «Письме другу в Германию о петербургском обществе» (о котором шла речь выше). «Две партии» — это, с одной стороны, «правоверные», защитники деспотического правления и фанатизма, с другой — «пионеры либеральных идей». В этом документе с поразительной для своего времени отчетливостью ставится вопрос не только о национальных традициях, но и о взаимоотношении, взаимодействии национальных культур.

Отстаивая необходимость «разрабатывать собственные богатства», автор призывал к уважению других народов, к использованию всего, что может быть полезно для отечества, для развития собственной, основанной на родных источниках культуры. Эта линия соответствует программным установкам тайных обществ и выступлениям А. Бестужева, К. Рылеева, Н. Муравьева и других. В. Кю-

хельбекер, утверждая, что для славы России необходима «поэзия истинно русская», одновременно указывает, что не только «все сокровища» Европы, но и Востока — «Фирдоуси, Саади, Джами» — ждут русских читателей. Таким образом, и в вопросе о связи национальных культур сказалась зрелость мысли декабристов.

Эта зрелость проявилась и в позиции, занятой ими в борьбе вокруг проблем развития русского литературного языка — основы национальной культуры. Нужен был гений Пушкина, чтобы осуществить великий исторический синтез устной народной речи и книжного языка, образовать литературный язык, понятный всем слоям общества. Но в процессе создания такого языка, особенно в борьбе с противниками его демократизации, заметная роль принадлежит и декабристам. Наиболее активно участвовали в полемике Ф. Глинка, А. Бестужев, В. Кюхельбекер. Первым выступил Глинка. В «Письмах к другу» он заострил вопрос о национальной самобытности русского языка, о необходимости избавляться от галломанов в разговорном обиходе и вместе с тем обновлять словарный состав, «изобретать выражения». Он утверждал, что в описаниях войны 1812 г. слог «должен быть ясен и чист... для людей всякого сословия, ибо все состояния участвовали в славе войны и в свободе отечества¹⁴. А. Бестужев в ряде своих статей защищал ту же линию, он прославлял значение «свежего языка как стихии поэта», указывал в качестве образцов на «слог» Пушкина, на невиданную ранее «природу разговорного русского языка» в «Горе от ума» Грибоедова. Четко определил он и свое отношение к теориям Шишкова, суть которых — в защите старинного уклада и в борьбе против обновления языка. В 1821 г., когда битвы между защитниками «старого» и сторонниками «нового слога», казалось, отгремели, Бестужев выступил с осторожной, но совершенно ясной критикой речи Шишкова, произнесенной в этом же году на торжествен-

ном заседании Российской Академии. Оспаривая мнение Шишкова о старославянском наречии как основном источнике русского языка, Бестужев писал, что «новые идеи» требуют «новых знаков для выражения» и что нужно создавать и язык философский, и «ученую номенклатуру». Бестужев, как и все литераторы-декабристы, высоко ценил богатство языка летописей и вообще старославянский язык, но считал, что его нужно использовать в определенных пределах. Полемизируя с Катениным, который переоценивал современное значение этого языка, он остроумно заметил: «...Язык славянский служит для нас арсеналом: берем оттуда меч и шлем, но уж под кольчугую не одеваем героев своих бычачьей кожей, а в охабни рядимся только в маскарад. Употребляем звучные слова *вертоград*, *ланиты*, *десница*, но оставляем червям старинные *семя* и *овамо*, *говяда* и тому подобное». Но только Пушкин сумел обосновать и претворил в жизнь эпохальный синтез народного и литературного языка¹⁵.

В поддержку пушкинской реформы языка критикой сглаженности, манерности, бедности языка в современной литературе, ее засоренности иностранными словами и оборотами для немногих были проникнуты выступления В. Кюхельбекера. Подлинным новаторством и концепционностью отличались его взгляды, изложенные в лекции о русском языке в Париже в 1821 г. Значительно опередив уровень филологии своего времени, он обосновал трактовку языка как источника понимания национального характера, зависимости языка от истории народа, обусловленности развития языка прогрессом в общественной жизни. Впервые в русской литературе и критике он открыто заявил, обращаясь к слушателям: «История русского языка, быть может, раскроет перед вами характер народа, говорящего на нем. Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство и деспотизм, и впоследствии представлял собою пос-

тоянное противоядие пагубному действию угнетения и феодализма... никогда этот язык не терял и не потеряет память о свободе, о верховной власти народа, говорящего на нем. Доныне слово вольность действует с особой силой на каждое подлинно русское сердце»¹⁶.

Позиция декабристов в современной полемике о развитии русского языка отразилась и в некоторых программных документах. Устав Союза благоденствия указывал, что при сочинении и переводе книг по словесности надо обращать «особое внимание на обогащение и очищение языка». В «Русской правде» Пестеля отмечалось, что законы должны быть написаны так, «чтобы каждый гражданин мог их понимать»¹⁷. Эти требования относятся непосредственно к языку государственных актов, но значение их более широкое. В бумагах Пестеля сохранился словарь терминов, имевших корни в иностранных языках и соответственно русских эквивалентов. Например, здесь предложена замена таких слов: «конституция — государственный устав», «аристократия — вельможедержавие», «тирания — зловластие», «генерал — воевода», «теория — умозрение», «республика — общедержавие», «демократия — народодержавие», «кабинет министров — правительствующая дума» и т. п. Следом предлагается замена многих военных терминов. Сочинение новых слов, конечно, не всегда оправданных, иногда в чем-то напоминало попытки шишковистов, осмеянные Пушкиным, хотя и вызывалось иными установками. В попытке заменить ряд прочно вошедших в русский язык понятий был элемент искусственности. Сама же тенденция приближения политической и иной терминологии к русской лексике и освобождения от ненужных заимствований была прогрессивной и отвечала требованиям времени.

Были у литераторов-декабристов и попытки сблизить литературный язык с языком «простого народа», но они не сложились в ту концепцию, которая свойственна рас-

суждениям Пушкина о путях развития русского языка и тем более его творческой практике. Но значительный интерес представляют агитационные песни Рылеева и А. Бестужева («Близ Фонтанки-реки...», «Царь наш немец русский...»), стилизованные в духе песенного фольклора и предназначенные для распространения в народе. Позже А. Бестужев так определил общее значение разговорного языка народа для литературы: «Чтобы узнать добрый, смысленный народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить разговориться, быть с ним в рощах на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе». Сам Бестужев не смог воплотить в своей художественной прозе стихию разговорного языка, но его мысли отражали и новые веяния в литературе 30-х гг., и те сдвиги, которые происходили в сознании декабристов периода каторги и ссылки¹⁸.

Важным вопросом, связанным с развитием русской культуры, волновавшим декабристов, был вопрос о народности. В их рассуждениях на эту тему нет последовательности, тем не менее и здесь проявлялись весьма плодотворные тенденции.

В работах по истории русской критики начала XIX в. возникновение проблемы народности, как правило, замыкается рамками литературы. На самом деле эта идея пришла в литературу из жизни, из новой эпохи русской истории, ознаменованной первым по широте своих масштабов соприкосновением передовой русской интеллигенции с народными массами в едином патриотическом порыве защиты родины от иноземного врага. В эту эпоху и окрепла у декабристов вера в богатые потенциальные духовные силы народа. Прославленный участник Отечественной войны 1812 г., один из вождей Союза благоденствия М. Ф. Орлов сказал: «Войди в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки от-

туда, если можешь, предвозвещение нашего будущего величия»¹⁹.

Опыт организованных декабристами народных школ по системе взаимного обучения (в особенности школ М. Ф. Орлова и В. Ф. Раевского, где занимались солдаты) показал, как велика охота учиться у простых людей и с какой смывшенностью усваивали «нижние чины» новые для них понятия. Во «всеподданнейшем докладе» по делу Раевского сообщалось, что для обучения солдат и юнкеров он приготавил собственные рукописные прописи, где были отмечены слова «свобода», «равенство», «конституция», имена революционероB Киpоги, Миpабо. Как заметила М. В. Нечкина, метод взаимного обучения в декабристской интерпретации «должен быть высоко оценен как один из способов, объективно развязывающих народную борьбу»²⁰.

Непосредственное общение с народом во время Отечественной войны 1812 г. и укрепившийся в дальнейшем взгляд на своеобразие его характера и образа мышления послужили основой нового, несравненно более глубокого понимания богатых ресурсов развития русской культуры, таившихся в народе. Отсюда и новое понимание этической высоты и эстетической ценности устного творчества народа, его песен, сказаний, мудрых пословиц и поговорок, понимание фольклора как выражения национального своеобразия и практической жизненной мудрости крестьянства.

Идея национального возрождения в творчестве декабристов означала стремление не только обновить великие отечественные традиции, но и воскресить тот национальный подъем, свидетелем которого совсем недавно, в героический период войны русского народа с полчищами Наполеона, был весь мир.

История возникновения тайных декабристских обществ отделена от Отечественной войны 1812 г. проме-

жутком всего в несколько лет, но послевоенную общественную атмосферу декабристы ощущали как полную противоположность энтузиазму национального подъема, вызванного защитой родины. Они мечтали о возрождении этого подъема во внутренней жизни и на ее волне ожидали политического обновления страны, всех сторон общественной жизни и культуры.

В недрах тайных обществ шла деятельная жизнь: зрели планы переустройства социальных основ, обсуждались пути этого переустройства. Поведение же основной массы образованного дворянства внушало мало надежд. Горстка самоотверженных борцов часто сталкивалась с апатией, скептицизмом даже со стороны тех, от кого можно было ожидать поддержки и сочувствия. «Староверы» оставались, разумеется, при своем, от них и не ожидали ничего, кроме отстаивания всего ретроградного. Декабристы ощущали, что разрыв с ними достиг небывалой ранее остроты. «Мы ушли от них на 100 лет вперед», — вспоминал И. Якушкин²¹.

Рассуждения декабристов о просвещении отнюдь не были умозрительными, они требовали приложения выдвинутых идей к практике, воплощения их в деятельности, жизненном поведении. Устав Союза благоденствия призывал «распространять знания» не в порядке лишь удовлетворения любознательности, но «прилагать их к отечеству», а «изящным искусствам» давать «надлежащее направление, состоящее... в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего». По сути, речь здесь шла о воспитательной роли литературы и искусства. В представлении декабристов истинному гражданину не страшны никакие преграды в борьбе за достижение великих целей:

Юноша с свежей душой выступает на поприще жизни,
Полный пылающих дум, дерзостный в гордых мечтах,
С миром бороться готов и сразить и судьбу и печали!

Таков идеал молодого человека, воплощенный в стихотворении В. Кюхельбекера «Жизнь». В другом его стихотворении «К брату» (1819) в строках о русском Севере звучит апология могущества человека:

...дивный, дерзкий человек
(Он обымает круги звездны,
Он мерит небо, сходит в бездны,
Ему доступны все места)...²²

Идеал декабристского поколения — человек, обуреваемый страстью познания, стремящийся проникнуть в «тайны бытия», ищущий ответы в смелом анализе и в творениях «гениев человечества» — философов, историков, ученых и писателей. Выделяется еще одна из характерных особенностей положительного героя декабристской эпохи — своеобразная напряженность мироощущения, яркий эмоционально-психологический контекст, в котором воспринималась жизнь, освещенная великой целью. Эта особенность мироощущения была свойственна всем декабристам, даже людям рационалистического склада. О Пестеле, например, сохранились свидетельства как о человеке холодного рассудка, но вот как он говорил о себе и своих товарищах, когда они рисовали «живую картину всего счастья, коим бы Россия», по их понятиям, тогда пользовалась: «...Входили мы в такое восхищение и, сказать можно, восторг». По словам Н. Бестужева, в самом понятии свободы, в стремлении к ней «заключается поэзия». Декабристские критерии, политические, эстетические, этические, оказывались взаимосвязанными, когда речь заходила о том, каким должен быть человек. Увлеченность поэзией, «изящным» признавалась декабристами как необходимое свойство характера передового поколения. «Правила соединенных славян» призывали членов этого общества возвысить любовь к «художествам до энтузиазма». М. Лунин, убежденнейший революционер, считал, что «без искусства жизнь превращается в механизм»²³.

Борьба декабристов была оборвана трагическим разгромом восстания на Сенатской площади. Им не суждено было реализовать гигантские планы переустройства России, воплотить свои замыслы в жизнь. Но сама эта борьба дала замечательные итоги. В орбиту движения было вовлечено все живое в России, все ее лучшие интеллектуальные силы. Были заложены новые основы духовной жизни, народности, высокого гражданского гуманизма. Воздействие освободительного движения на культуру эпохи было громадным, оно привело вопреки препятствиям, которые воздвигал деспотический режим, к небывалому ранее расцвету во всех областях науки, литературы, искусства.

Исторический переворот в художественном развитии, в эстетических представлениях времени возглавил Пушкин: он не только испытывал влияние деятельности тайного общества, но и сам влиял на него эмоциональным, освободительным, воодушевляющим пафосом своего творчества. Тогда же, испытывая в той или иной степени воздействие освободительного движения, развивалась деятельность целой плеяды поэтов, различных по дарованиям, манере, стилю,— от таких, как Баратынский, Языков, Дельвиг, Вяземский, до второстепенных, таких, как В. Туманский или В. Григорьев. Не все они сохранили вольнолюбивые убеждения после 14 декабря. Об их творчестве первой половины 20-х гг. можно сказать словами Огарева из его предисловия к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия»: «Именно эта целостность направления, так изящно проявлявшегося у Пушкина, и имела то громадное влияние на современные умы и современную литературу, которое разом вызвало в людях, и, как всегда, особенно в юношах, потребность гражданской свободы в жизни и изящности формы в слове»²⁴.

Эта цельность направления выразилась и в декабристской журналистике, и, как уже говорилось, в деятельности

Вольного общества любителей российской словесности после того, как руководство в нем завоевали Рылеев, А. Бестужев и другие литераторы этого круга. Благодаря энергии декабристов, в России впервые возникло организованное литературное движение с определенной программой, с собственной влиятельной прессой, в сферу которой входил широкий круг проблем культуры — от художественных до естественнонаучных.

Коренные изменения происходили и в искусстве.

В героическую эпоху Отечественной войны 1812 г. и декабристов формировался гений М. Глинки, чье творчество открыло новые пути музыкальной культуры. Нарушая привычные каноны, на полотнах живописцев стали появляться не только императоры, полководцы и вельможи, но и крестьяне; эти образы начали проникать даже на балетную сцену (так, в скорбные дни, когда Наполеон занял Москву, в Петербурге шло балетное представление «Любовь к отечеству» — о крестьянах в народном ополчении). Но как ни знаменательны сами по себе эти эпизодические вторжения образов людей из народа в спектакли и даже крестьянская тема на полотнах Венецианова и Тропинина, они не были решающими в эстетическом перевороте. Важнее всего было новое понимание задач и целей творчества, твердо укрепившееся в борьбе с салонной литературой и с приглаженным, предназначенным «для немногих» искусством, с отжившими классицизмом и сентиментализмом. В эти же годы укрепилось ставшее девизом для всей передовой русской литературы сознание ее огромной роли для общественного прогресса, ее многообразных функций — гражданской, эстетической, воспитательной, преобразующей. Тогда же в журналах и альманахах, непосредственно декабристских или находившихся под их влиянием, стала самостоятельной отраслью литературная критика, выработывались ее жанры и принципы, которые определили ее своеобразие, — соединения эс-

тетических оценок с публицистичностью, боевая направленность против всего консервативного и обветшалого.

В художественной литературе сложилось новое художественное направление — романтизм в различных его видах. В романтизме, возглавленном Пушкиным и декабристами, определяющими признаками были гражданственность, воплощение дум и чувств, переживаний передового поколения, его свободолюбивых чаяний.

Другой тип романтизма полнее всего выражен в поэзии Жуковского с ее идеалом прекрасного как отблеском «потустороннего» мира, идеалом мистического совершенства, противопоставленности «низости настоящего». Хотя в поэзию Жуковского вторгалась и живая жизнь, сторонники прогрессивного романтизма, особенно Рылеев, А. Бестужев, Кюхельбекер, П. Вяземский, подвергали критике эти стороны его творчества. Как ни велико значение Жуковского в развитии русской поэзии (его открытия в области психологической лирики, замечательные переводы образцов мировой поэзии), критика его была обусловлена временем, она диктовалась борьбой за литературу, освященной великой целью революционного переворота.

В историко-литературных исследованиях романтизм, как правило, противопоставляется реализму. Между тем к середине 20-х гг. в декабристском романтизме появляются новые тенденции сближения с конкретной исторической действительностью. Эти элементы не могли сложиться в систему — она была создана Пушкиным, родоначальником новой реалистической литературы. Но симптоматично, что в статье «Несколько мыслей о поэзии», напечатанной в 1825 г., Рылеев уже не отстаивает романтизм как таковой, даже скептически говорит о самом этом термине, полемически утверждая: «...На самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная, самобытная поэзия», — и в этом

сказались художественные открытия Пушкина, обогатившие всю русскую культуру²⁵.

2. «Дух преобразования» и роль литературы

«Дух преобразования» как всеобщее явление в мире сказался и на переменах, которые происходили в литературе. Причина этих перемен и их политическая сущность были ясны передовым людям эпохи. Из документов на эту тему, сохранившихся от пушкинского времени, быть может, наиболее интересным является письмо одного из пяти впоследствии казненных вождей декабрьского движения — С. И. Муравьева-Апостола, написанное за месяц до восстания на Сенатской площади. Противопоставляя поэтов французской революции М. Ж. Шенье и Лебрена поэтам эпохи абсолютизма, Муравьев-Апостол говорил: «Оба автора (т. е. Шенье и Лебрен.— Б. М.) писали в лирическом и элегическом жанре. Но были ли они талантливее своих предшественников — Малерба, Шолье и Жана-Батиста Руссо? Я не думаю. Однако у обоих этих поэтов вы встретите идеи более высокие, чувства более возвышенные и именно поэтому более истинные и какой-то — сказал бы я — порыв, который пробуждает вас от апатии и увлекает к деятельности». Далее Муравьев-Апостол раскрывал силу и новое содержание поэзии М. Ж. Шенье и Лебрена как результат влияния революционной действительности: «Такое направление их поэзии следует, думается мне, отнести за счет эпохи, полной событиями, в которую они жили. В самом деле, было невозможно, чтобы в эпоху, когда рушилось столько ложных идей и старых предрассудков, умы, освободившиеся от оков, не устремились к мыслям, открывающим горизонты более широкие, и сердца к чувствам, более благородным и деятельным. Среди стольких событий, которые каждого ставили на его место, люди узнали, счастье, более достойное, высо-

кого назначения человека, и поэзия заговорила языком более мужественным. И движение это, раз возбужденное, не могло замереть вопреки всем препятствиям и должно было в наши дни породить Байронов и Муров»²⁶.

«Движение», о котором говорил Муравьев-Апостол, — движение против средневековья и абсолютизма — вызвало к жизни в разных странах критику аристократического искусства и свойственной ему нивелировки талантов. На литературу стали смотреть как на отражение общественной жизни и неповторимого своеобразия нации. По-новому рассматривается роль поэта, долг которого правдиво изображать современность и участвовать в ниспровержении старых кумиров.

В России пушкинская ода «Вольность» была первой, притом широко распространившейся поэтической декларацией о новой роли искусства. Она была рождена в атмосфере усиления оппозиционных настроений. Только Пушкин сумел выразить эти настроения и связанное с ними понимание задач поэтического творчества с такой художественной силой, что произведение это действительно обозначало рубеж и в литературном развитии и в общественно-политическом движении.

Сама идея необходимости связать литературу с политикой именно в этот период все с большей настойчивостью выдвигается и в переписке представителей передового поколения и в документах тайных обществ, причем зачастую в формулировках, характерных своей общностью.

В 1816 г. один из будущих вождей декабристского восстания С. И. Муравьев-Апостол порицает К. Батюшкова за «меланхолический и скучающий тон», которым проникнуто его творчество, осуждает поэзию, где царствует существо «всегда одинокое, всегда преданное самому себе». Муравьев-Апостол в завершение своей характеристики такого рода поэзии призывает Батюшкова бояться

«сих зачумленных пределов, проклятых богами», и обратить внимание на призрачные бедствия, «которые неотъемлемы от человечества».

Новые требования к искусству сформулированы в программе Союза благоденствия, предлагавшего «искать средства изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в *изнеживании чувств*, но в укреплении, благородствовании и *возвышении нравственного существа нашего*». Членам тайного общества предлагалось «убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мысли, ни в непонятности изложения, но в живости писаний... а более всего в непритворном изложении *чувств высоких*...». Здесь мы видим терминологию такую же, как в оде «Вольность». Там поэт призывает разбить «*изнеженную лиру*», здесь отвергается искусство, состоящее в «*изнеживании чувств*». Там говорится о «*возвышенном галле*» как *пеще* свободы—здесь задачей искусства провозглашается «*возвышение нравственного существа нашего*», изложение «*чувств высоких*» (и там и здесь, конечно, «*возвышенность*», «*высокость*» означает вольнолюбие). Эта терминологическая общность говорит не о прямых заимствованиях, а об общности идейных стремлений Пушкина и передовых людей того времени²⁷.

Пушкинская ода «Вольность» явилась началом пропаганды «высокой» (в декабристском смысле) роли литературы в новых условиях, пропаганды, которая принимала формы легальные и нелегальные.

Ведущее значение имела эта тема и в творчестве В. Кюхельбекера. Характерно, что одно из его стихотворений, где образ поэта-борца впервые развернут с наибольшей отчетливостью,— «Поэты» (1820),— связано с именем Пушкина. Поводом для его написания послужила ссылка Пушкина (об этом подробнее см. выше: с. 92—93). Замысел стихотворения замаскирован, но он явно

политический. «Сычи орлов повсюду гнали» — смысл этих слов раскроет позднее сам Кюхельбекер в одном из стихотворений периода сибирской ссылки, когда он скажет о себе (в стихотворении, посвященном памяти декабриста Якубовича), что принадлежал к «орлиной стае». В стихотворении «Поэты» перечисляются имена гонимых — Мильтона, Озерова, Торквато Тассо. При всем трагизме судьбы этих поэтов, конечно, имена их не соответствуют политическому замыслу стихотворения: воспеть поэта — борца за свободу. О силе поэзии сказано в другом стихотворении Кюхельбекера, «А. П. Ермолову» (1821), союз поэтов — «союз прекрасный прямых героев и певцов», за поэтами остается право суда и приговора, ибо

В поэтов верует народ.
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен выше их²⁸.

Образ независимого поэта-гражданина, преданного искусству, верного высоким идеалам, несмотря на любые гонения, характерен и для творчества Рылеева: он проходит в послании Н. И. Гнедичу (1821), в стихотворении «На смерть Байрона» (1824—1825) и других произведениях, но наиболее развернут в думе «Державин», опубликованной в 1822 г. Как и в некоторых других «думах», Рылеев создал идеализированный образ Державина, превратив его в революционного борца. Значение этой «думы» в том, что в ней воплощен декабристский идеал поэта. Долг поэта быть

.. в родной своей стране
Органом истины священной.

В представлении Рылеева поэт — это высший пример гражданского героизма, преданности народу; он

Везде — Певец народных благ,
Везде — гонимых оборона
И зла непримиримый враг...

Поэту

...неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает.

В рукописной редакции этим строкам предшествовали слова, которые непосредственно связывали дело поэта с делом революционной борьбы:

Греметь грозой противу зла
Он чтит святым себе законом
Спокойной важностью чела
На эшафоте и пред троном.

Вот почему, как утверждал Рылеев, «нет выше ничего предназначения поэта»²⁹.

По мере расширения освободительного движения новый взгляд на роль литературы получает свое обоснование в критических статьях, приобретает характер программности. О принципиальной новизне решения этого вопроса говорит выдающийся критик декабристского направления А. Бестужев в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года», напечатанном в «Полярной звезде». Он подчеркивает, что если «в старину науки зажигали светильник свой в погасающих перунах войны», то теперь положение изменилось: «В наши времена мы видим совсем противное... гром отдаленных сражений одушевляет слог автора и пробуждает праздное внимание читателей... воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов и, под политической печатью, словесность кружится в обществе». «Гром отдаленных сражений» — это революционно-освободительная борьба в Европе, восстания в Италии, Испании, Греции. В условной, эзоповской форме Бестужев призывал непосредственно связать литературу с требованиями освободительного движения. В другом месте он указывал на «феодалную умонаклонность многих дворян» (то есть на их приверженность существую-

щим порядкам) как на причину, мешающую расцвету литературы. И здесь же он противопоставил этим дворянам представителей своего поколения. «Новое поколение людей,— писал он,— начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время... обещает богатую жатву». В таком же духе выдержана трактовка этого вопроса в статье В. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824), напечатанной в «Мнемозине». В свойственном Кюхельбекеру несколько архаическом стиле здесь защищается гражданское призвание поэта, который «вещает правду», «торжествует о величии родимого края, мещет перуны в супостатов, блажит праведника, клянет изверга». И здесь мы встречаем обличение поэтов противоположного направления, авторов «изнеженных произведений»³⁰.

Происходившая на страницах журналов борьба за новое понимание задач поэзии имела, конечно, большое значение в литературном развитии. Но определяющую роль в этом отношении сыграли произведения Пушкина, в которых ясность мысли соединялась с художественным воссозданием образа поэта.

Одной из основных идей, выдвинутых декабристским движением и всем новым «духом времени», была идея о необходимости воспитания людей, которые смогли бы самоотверженно бороться за свободу и были бы образцами гражданской доблести. Она пронизывает программу Союза благоденствия, призывавшего своих членов доказать «делами своими» приверженность отечеству. Эти «дела» требовали характера мужественного, целеустремленного, героического. Поэтому в «Законоположении» Союза благоденствия указывалось, что союз, «имея целью общее благо, приглашает к себе всех, кои честною своею жизнью удостоились в обществе доброго имени и кои, чувствуя все величие цели союза, готовы перенести все трудности,

с стремлением к одной сопряженные». Отмечая черты, отличающие «истинного сына отечества», правила этого тайного общества обличали «малодушие», подвергали критике пороки светской дворянской молодежи. С сожалением говорилось здесь о том, «сколь мало пекутся теперь об истинном воспитании и как бедно заменяет его наружный блеск, коим стараются прикрыть ничтожность молодых людей».

Общество декабристов считало, что «науки при воспитании должны ограничиваться способствованием к образованию рассудка и сердца, то есть к приуготовлению молодого человека не к другому какому-нибудь званию, но вообще к званию гражданина и добродетельного человека»³¹.

Новаторская постановка проблемы современного героя принадлежит к величайшим заслугам Пушкина. Идейное и эстетическое содержание этой проблемы связано с особенностями эпохи, с историческим развитием, с общественно-политической борьбой. При всем своеобразии каждого из этапов творческой эволюции Пушкина, при всех различиях, которые свойственны каждому из таких «поворотных» произведений, как «Кавказский пленник», «Цыганы», «Евгений Онегин», они представляют собой как бы звенья одной цепи. Думы, стремления, драматизм судьбы современного человека; причины, мешающие свободному развитию человеческой личности; общественные условия, уродующие жизнь людей, воодушевленных высокими мечтами, поэтическими идеалами; конфликты, возникающие между героем и средой,— все это остро интересовало Пушкина на всем его творческом пути. Представления Пушкина об идеале человеческой личности отражали тенденции, которые складывались в самой действительности и находились в тесной зависимости от развития его художественного метода, от изменений в художественной системе, эстетических принципах. В отличие от литературы класси-

цизма и сентиментализма Пушкин создавал образы своих героев без догматических правил, предопределяющих решение той или иной творческой задачи. Поэтому путь Пушкина от «Кавказского пленника» к «Евгению Онегину» — это путь напряженных поисков современного героя, постепенной кристаллизации наиболее типичных его свойств и индивидуальных особенностей. От романтической отвлеченности характеров Пушкин приходит к таким принципам художественного изображения, которые давали возможность раскрыть характер и идеалы героя в его отношении не к какой-либо одной, а к самым разнообразным сторонам и проявлениям жизни, в его взглядах на мир, на общественную жизнь, на «вечные» вопросы бытия. При этом проблема героя всегда была для Пушкина и проблемой эстетического идеала, поскольку эстетический идеал в искусстве всегда воплощается с наибольшей полнотой в образе человека, в изображении характеров, действий, переживаний людей.

Проблема современного героя в пушкинскую эпоху была настолько волнующей, актуальной, что к ней неоднократно возвращались в своих дневниках, произведениях и письмах многие современники поэта. Пожалуй, с наибольшей полнотой эта проблема отразилась в дневниках одного из ближайших друзей Пушкина — декабриста Н. И. Тургенева. Его размышления на тему особенно интересны также и потому, что они относятся к годам непосредственного общения с Пушкиным.

Запись в дневнике Тургенева 29 июня 1817 г. является развитием его излюбленных мыслей о тех обязанностях, которые родина возлагает на молодое поколение.

«То, что мы предпринимаем, должно быть рано или поздно начато и совершено. Что скажут те, кои после нас предпримут то же дело, когда не найдут ни в чем себе предшественников? Что скажут внуки наши о своих предках, прославившихся многим, когда не найдут одного важ-

ного цветка в венце их славы? Предки наши, скажут они, показали доблести свои в действиях за честь и гремящую славу отечества, но где же дела их в пользу гражданского счастья отечества? Неужели народ, родивший столько героев, показавший столько блестящего ума, характера, добродушия, столько патриотизма, не мог иметь в себе людей, которые бы, избрав себе в удел действовать во благо своих сограждан, постоянно следовали своему предназначению, которые, не устрасаясь препятствий, сильно действующих на людей бесхарактерных, но воспламеняющих огонь патриотизма в душах возвышенных, стремились бы сами и влекли за собою всех лучших своего времени к святой, хотя и далекой цели гражданского счастья? Какое сердце не содрогнется при таких упреках? Какие парадоксы могут их опровергнуть?»³²

Тургенев уверен в том, что «придет то время, когда люди познают истинное свое назначение и найдут его в любви к отечеству, в стремлении к его благу, в жертвовании себя и всего в его пользу».

Размышления о высоком предназначении человека, посвятившего себя цели «гражданского счастья», соседствуют в дневниках Тургенева с горькими сетованиями по поводу разлада между идеалом и действительностью. В записи, относящейся к декабрю 1818 г., Тургенев замечает пассивность современников, в результате которой «все остается в идеях; ничто не переходит в действительность». Противоречие между словами и делами, равнодушие большинства к тому, что происходит вокруг, к наступлению реакции вызывает у Тургенева настроения скепсиса и разочарования (которые очень важны для понимания причин разочарованности, свойственной герою романтической поэмы Пушкина «Кавказский пленник»). 21 июня 1819 г. Тургенев записывает в дневнике:

«Какое-то общее уныние тяготит Петербург в сие время. Едва мелькают гуляющие, но и они не гуляют, а пе-

редвигают свои ноги, и если думают, то, конечно, не о приятностях сей жизни. Между тем время проходит, и молва о происшествиях, долженствующих оживлять, потрясать сердца граждан, как тихий ветер, пролетает сквозь или мимо голов здешних жителей, не касаясь их воображения. Иные ничего не понимают, или, лучше сказать, ничего не знают. Другие знают, да не понимают. Иные же понимают одни только гнусные свои личные выгоды»³³.

31 декабря 1819 г. Тургенев записывает в дневнике: «Итак, с мыслюю о тебе, о России, мое любезное и несчастное отечество! провожаю я старый и встречаю новый год. Ты — Единственное Божество мое, которое я постигаю и которое ношу в моем сердце, — ты одна только можешь порождать сильные чувства в моем сердце! Что люди? Где они? Я их не знаю. Я знаю только сынов твоих! Но где и сыны твои? Где их искать посреди торжествующего порока и угнетенной добродетели?» Однако в заключение он восклицает: «Но нет, никогда Россия не перестанет быть для меня священным идеалом, к нему, для него, ему — все, все, все!..»³⁴

Борьба за свободу, понятия «родина», «долг», «честь» связывались в сознании вольнолюбивой молодежи с категориями «возвышенного», «прекрасного». В «Законоположении» Союза благоденствия отмечалось, что «истинно изящное есть все то, что возбуждает в нас высокие и к добру увлекающие чувства», что «прелесть стихотворений» заключается «более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих». Николай Бестужев, формулируя впоследствии эстетический идеал декабризма, писал, что стремление «пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы» носит уже само по себе «отпечаток поэзии». «Сама природа влагает в нас понятие о свободе, и это понятие, этот слух так верны, что, как бы ни заглушали их, они отзовутся при первом воззвании. В чем

же другом заключается поэзия, как не в побуждении отголоска на песни ее в нашем сердце?»³⁵

Эти характерные для передового поколения декабристской эпохи взгляды на соотношение прекрасного в жизни и в литературе отразились и в вольнолюбивой политической лирике Пушкина. В стихотворении «К Чаадаеву» незрелые мечты о «тихой славе», такой славе, достижение которой возможно без борьбы за свободу, именуется обманом. Высокую эстетическую оценку получают здесь стремления к «вольности святой», и эти стремления сливаются с горячими патриотическими чувствами («отчизны внемлем призыванье»). Категория прекрасного становится в пушкинской лирике реальным качеством реального человека:

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Высокий романтический образ «звезды пленительного счастья» получает реалистическую по своему содержанию трактовку, как итог борьбы, венцом которой явится гибель «самовластья» и торжество свободы.

Под влиянием самой жизни и под прямым воздействием пушкинской лирики в поэзии декабристов развивается образ вольнолюбивого героя, воспевается непоколебимая преданность делу свободы, бесстрашие и смелость в борьбе, готовность стончески перенести любые испытания. Образ героя-борца создавался декабристами в контрастном противопоставлении равнодушному к судьбе отечества и народа большинству дворянской молодежи. Наиболее отчетливо это противопоставление выражено в стихотворении Рылеева «Гражданин», обличающем юношей, которые

...с холодной душой бросают холодный взор
На бедствия своей отчизны,

не хотят постигнуть «предназначенья века» — борьбы за свободу, — позорят «гражданина сан».

Мотивы «Гражданина» предвосхищало другое стихотворение Рылеева «Стансы» («Не сбылись, мой друг, пророчества...»), напечатанное в «Полярной звезде» на 1825 год». В лирике Рылеева жалоба на «горький жребий одиночества», на тяжелую грусть кажутся с первого взгляда отступлением от традиций поэта-гражданина. «Стансы» кончаются признанием:

Всюду встречи безотрадны!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей...³⁶

Критик «Сына отечества», рецензируя «Полярную звезду», не задумываясь отнес это произведение к стихам о погибшей молодости. Вновь найденная строфа «Стансов» проясняет, однако, политический смысл стихотворения. О людях, разочаровавших поэта, в ней говорится:

Все они с душой бесчувственной
Лишь для выгоды своей
Сохраняют жар искусственный
К благу общему людей.

Здесь тот же мотив, что и в «Гражданине».

Воспевая «гражданское мужество», Рылеев создает гимн герою — борцу с «коварной несправедливостью». Такого рода мужество воспевается здесь как самое высокое:

...подвиг война гигантской
И стыд сраженных им врагов
В суде ума, в суде веков —
Ничто пред доблестью гражданской³⁷.

Декабристы отвергали христианскую мораль смирения и требовали решительного отпора всякому злу и всякой несправедливости. Раскрывая в своей лирике черты героя-борца, они подчеркивали стойкость как характернейшую черту его облика. Эта тема имела особое значение, так как многие из декабристов сознавали возможность неудачи заду-

манного ими переворота, но готовы были пожертвовать собою во имя будущих поколений, во имя пробуждения родины.

Декабристское понимание гражданской доблести связано с требованием подчинить все помыслы, чувства, всю жизнь единой цели — «общественному благу». Отсюда и произведенная в декабристской поэзии переоценка всех традиционных представлений, в том числе о семье, дружбе, любви. Словами Наливайки, обращенными к Лободе, Рылеев определил свое понимание соотношения между долгом семьянина и гражданина:

Но ты отец, но ты супруг,
А уж давно пора, мой друг,
Быть не мужьями, а мужами.
Всех оковал какой-то страх...

В духе декабристской эпохи определил Рылеев и обязанности женщины-матери. Ее долг

Прекрасных чад образовать.
Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой³⁸.

Однако образ гражданина-борца за «общественное благо» поэты-декабристы воплощали в своих произведениях вне времени. Образа современника они не создали.

Попытку отразить особенности характера положительного героя Рылеев предпринял в «Думах». Хотя содержание «Дум» относится к историческому прошлому, но там обращение, как правило, служило для поэта лишь поводом для так называемых «приноровлений» к современности. Однако размышления и поучения героев «Дум», вполне уместные для декабриста, человека 10—20-х годов XIX в., часто оказывались несходными с характерами и обликом конкретных деятелей, именами которых была названа каждая «Дума» (это несходство дало Пушкину основание заметить, что «Думы» Рылеева целят «невпопад»).

Как отмечалось в предисловии к первому изданию «Дум», намерение автора заключалось в том, чтобы воспеть «подвиги добродетельных или славных предков». В первой редакции предисловия революционно-просветительская цель «Дум» выражена несравненно ярче, чем в редакции цензурной. Говоря о том, что народное просвещение непримиримо с деспотизмом и поэтому вызывает злобу у «друзей тиранов», Рылеев заканчивает предисловие признанием, что он желал своими «Думами» заставить «простой народ» «еще более любить родину свою», «пролить в народ наш хоть каплю света». В таком же духе раскрывал замысел «Дум» А. Бестужев, утверждая, что целью Рылеева было «возбудить доблесть сограждан подвигами предков». В «Думах» Рылеев пропагандировал чисто декабристские лозунги. Таковы, например, строки в думе «Дмитрий Донской»:

Доколь нам, други, пред тираном
Склонять покорную главу...

или призыв возвратить народу

Святую праотцев свободу
И древние права граждан³⁹.

В «Думах» герои произносят речи, выражающие самые основы декабристского мирозерцания:

...за победы заслужив
Благословения отчизны —
Нам смерть не может быть страшна;
(«Смерть Ермака»)

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!
(«Иван Сусанин»)

Когда защитник нам закон
И совесть сердца не тревожит,
Тогда ни ссылка, — думал он, —
Ни казнь позорить нас не может,

• • • • •

Своей покорствуя судьбе,
Быть твердым всюду я умею...
(«Артемон Матвеев») ³⁸⁻⁴⁰.

Богдан Хмельницкий мечтает в темнице об освобождении от цепей для возмездия тирану, а Наталья Долгорукова, поехавшая в Сибирь, чтобы разделить с мужем его судьбу, совсем по-декабристски рассуждает о долге.

Некоторые думы, подобно «Исповеди Наливайки», являются как бы размышлениями самого поэта о возможном трагическом конце своей судьбы.

Пафос вольнолюбия придавал «Думам» лирическую взволнованность, заражал читателей «возвышенными стремлениями». С художественной точки зрения «Думы» страдают существенными недостатками. Пушкин писал Рылееву о «Думах», что они «слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (*Loci topici*). Описание места действия, речь героя и—нравоучение» (письмо Рылееву 1825 г.). Художественное впечатление нарушалось и обилием в «Думах» анахронизмов. Модернизация истории Рылеевым не была результатом сознательного пренебрежения фактами, а находилась в соответствии с романтической теорией. А. Бестужев так объяснил особенности «Дум»: «Дума не всегда есть размышление исторического лица, но более воспоминание автора о каком-либо историческом происшествии или лице и нередко олицетворенных об оных рассказ». «Воспоминание автора» могло быть и субъективным. Но замечание Пушкина о том, что в «Думах» «национального русского нет ничего... кроме имен», не следует распространять на все содержание «Дум». Это замечание верно в том смысле, что в большинстве дум нет национального колорита в изображении конкретных героев, исторических обстоятельств и т. д. (именно поэтому Пушкин, говоря об отсутствии в «Думах» «национального, русского», оговорился:

«исключая «Ивана Сусанина»). Но при всех погрешностях против исторической истины «Думы» Рылеева сыграли свою роль в выдвижении проблемы героя. Герои «Дум» — преданные патриоты, люди негибаемой воли, стойкие в борьбе за свободу и в обличении несправедливости, пылающие ненавистью к тиранам и изменникам родины.

Стремясь раскрыть характер героя, поэты-декабристы часто прибегали к форме монолога, произносимого от имени автора или какого-либо исторического лица, за которым стоит автор. Но признание этой особенности декабристской лирики еще не определяет ее специфику. Для субъективистской аполитичной поэзии такие формы художественного творчества, при которых единственным лицом выступает автор со своими размышлениями и переживаниями, ведут к разрыву с окружающим миром, к узкому индивидуализму. Кюхельбекер, также писавший стихи преимущественно в форме лирического монолога, критиковал, однако, поэтов, которые говорят «о самом себе, о своих скорбях и наслаждениях», подразумевая при этом поэтов, занятых только собою. В творчестве же Кюхельбекера, Рылеева и других поэтов этого круга лирический герой интересен именно тем, что он выступает как представитель целого поколения русского общества, является носителем черт реально существовавшего современника. Но объективизировать образ современного героя поэтам-декабристам не удавалось. Для лучшего из своих произведений — поэмы «Войнаровский» — Рылеев также избрал исторических героев, и, хотя эта поэма была несравненно выше по своим достоинствам, чем «Думы» («Войнаровский» полон жизни», — писал Пушкин Рылееву), тем не менее и в ней сказалась модернизация истории.

В первой половине 20-х гг. Пушкин предъявлял к образу современного героя те же требования, что и декабристы, но подход его к изображению образа был иным. С самого начала он стал на путь создания не «идеального», то

есть не идеализированного героя, а современника, характеру которого свойственны противоречия, вызванные эпохой. Раскрытие этих противоречий имело огромное значение.

Пушкин создал целую галерею людей современности в «Кавказском пленнике», «Цыганах» и, в особенности, в «Евгении Онегине» — первом русском реалистическом романе. По поводу опубликования в печати первой главы этого эпохального произведения завязалась полемика.

Новая художественная система Пушкина, которая нашла свое претворение в «Евгении Онегине», не была понята сторонниками романтизма и воспринималась как отказ от «высокого» идеала в искусстве во имя изображения только отрицательного и безобразного. В предисловии к первой главе Пушкин предвидел возражения критиков, которые «станут осуждать ... антипоэтический характер главного лица...». Действительно, в этом была суть откликов Н. Раевского, А. Бестужева и других на первую главу романа, вышедшую в свет в 1825 г. По словам Пушкина, Раевский «бранит» роман; он ожидал «романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал» (письмо брату в начале 1824 г.). С критериями романтизма подошла к оценке «Евгения Онегина» и декабристская критика. А. Бестужев одобрительно отозвался только о тех местах первой главы, «где говорит чувство», «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества...». Здесь же Бестужев отмечал, что лучшее произведение Пушкина — поэма «Цыганы». Бестужев полагал, что изображение светской жизни, противоречившей понятиям «высокого», не является достойным предметом для поэта. Полемизируя с Пушкиным, отстаивавшим право поэта на изображение светской жизни, Бестужев писал ему 9 марта 1825 г.: «...Для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?» Этим Бестужев хотел сказать, что Онегин слишком ничтожный герой для романа

(обложка первой главы была украшена вместо виньетки изображением бабочки, которое Бестужев понял как аллегорический намек на сущность героя). «Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дали ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? Я вижу франта, который душой и телом предан моде, вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, но не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него». Письмо Бестужева, написанное в пору его активной деятельности в Северном обществе, отражает серьезную тревогу декабриста, полагавшего, что Пушкин, в руках которого «ружье-талант», который обладает «резцом Праксителя», растрачивает свои силы на то, чтобы, подобно браминам индийским, искусно вырезывать изображения из яблочного семечка⁴¹.

Рылеев, хотя и признавал, что первая глава «Евгения Онегина» в целом «прекрасна», все же резюмировал так свою оценку: «...Онегин, сужу по первой песне, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника» (12 февраля 1825 г.). А 10 марта он снова писал Пушкину: «Не знаю, что будет Онегин далее... чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника». «Несогласен и на то, что Онегин выше Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника, как творение искусства»⁴².

Правда, отзывы критиков-декабристов основываются на впечатлениях от первой главы, содержание которой ограничено преимущественно негативной задачей, — характеристикой тех условий светской жизни, которые создали Онегина как человека, преданного «безделью» и томившегося «душевной пустотой». Чего же хотели они от романа? Ха-

рактерно, что ими одобрены были те места первой главы, «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества». Это прежде всего строфа:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами спора,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вдыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

В этой строфе Пушкин говорит о своей ссылке и о стремлении вырваться на свободу. Здесь А. Бестужев узнавал Пушкина-романтика. Но в лице Онегина он ожидал в первой же главе найти нечто подобное Алеко, то есть героя, которого можно было бы «поставить в контраст с светом». Иначе говоря, Бестужев, верный романтической догме, признавал задачей искусства создание исключительных характеров, а не таких, как Онегин, которых он, по его словам, «встречал тысячи»⁴³.

Расхождения между Пушкиным и Бестужевым были расхождениями реалиста и романтика. Но известная парадоксальность этого спора заключалась в том, что критическое изображение Пушкиным среды, обусловившей характер Онегина как типа, безусловно, соответствовало той критике, которая шла из лагеря декабристов; вспомним приведенные выше тирады на эту тему из «Законоположения» Союза благоденствия, из дневников Николая Тургенева, из стихотворения Рылеева «Гражданин».

Любопытно, что в той же самой статье Бестужева, где содержится отзыв о первой главе «Евгения Онегина», дана

такая характеристика воспитания и самого типа светского молодого человека, которая поразительно напоминает содержание первой главы пушкинского романа. Вот что писал Бестужев: «Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и ученья, он уже в службе, уже он деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником оттого, что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые могли бы прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака». Причины этой «душевной дремоты» и пустоты Бестужев видит в общественных условиях: «Да и что в прозаическом нашем быту на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный». Далее Бестужев продолжал: «Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни наших, кроме многосторонности и безличия самого учения (*quand même*), которое во все мешается, все смешивает и ничего не извлекает,— нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски. Теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать по-русски?»⁴⁴

Характерно, что Пушкин весьма одобрительно отозвался об этих местах статьи Бестужева: «Все, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных (прелесть!) подражателях,— прекрасно, выражено

сильно и с красноречием сердечным» (конец мая — начало июня 1825 г.).

Несмотря на эту общность идеологической позиции, выразившуюся в столь близких оценках условий общественной жизни, Бестужев так и не мог понять перелома, который совершился в творчестве Пушкина. 9 марта 1825 г. Бестужев ставил в пример Пушкину Байрона и его сатиру (в «Дон Жуане»). В ответе Бестужеву (24 марта 1825 г.) Пушкин отводит упреки, ссылаясь на то, что он смотрит на Онегина «не с той точки»: в «Дон Жуане» нет ничего общего с «Онегиным». Политическая сатира, которой ждал Бестужев, была невозможна и по цензурным условиям: «Ты говоришь о сатире англичанина Байрона, и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь! Где у меня сатира? о ней и помину нет в *Евгении Онегине*. У меня бы затрещала набережная (то есть набережная Зимнего дворца.— *Б. М.*), если б коснулся я сатиры». Не отказываясь в принципе от сатиры, Пушкин многозначительно замечал: «Дождись других песен»⁴⁵.

Основная идейная проблема, которой посвящен «Евгений Онегин», была настолько значительна, что Пушкину, естественно, казались узкими те рамки, в которые рекомендовали втиснуть замысел, пусть с самыми лучшими намерениями, его вольнолюбивые друзья.

Знаменательно, однако, что Пушкин думал изобразить в «Евгении Онегине» и героя декабристского типа, одним из финалов жизни которого могла быть гибель на виселице подобно Рылеву. Это — оставшийся в рукописи (разумеется, о включении его в роман не могло быть и речи) вариант образа Ленского.

Терминология, которой в окончательном тексте характеризуется образ Ленского, — это терминология «высокой» гражданской романтической эстетики: «вольнолюбивые мечты», «возвышенные чувства», «слава», «к благу чистая

любовь». В рукописи политическая окраска образа Ленского усилена. Здесь читаем, что Ленскому были свойственны пылкая вера в свободу, «доблесть», что его волновали «несправедливость», «угнетенье», рождавшие «ненависть и мщенье». В черновой редакции имеется и такая характеристика Ленского: «Крикун, мятежник и поэт». Все это далеко от представления о Ленском как лишь об эгегическом певце любви (тем более что в окончательном тексте девятой строфы ряд терминов, которыми характеризуется вольнолюбивая настроенность Ленского, остался).

Первостепенный интерес представляют те места черновиков, в которых перечисляются темы стихов Ленского. После слов:

Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы,—

следовало:

Но чаще гневную сатирой
Одушевлялся стих его...

В том месте второй главы, где рассказывалось о том, как Ленский читал Онегину стихи, Пушкин первоначально предполагал ввести строфы, содержащие (в форме лирического отступления) страстное обличение авторов «нечистых» (вариант — «раболепных») стихов и апологию «вольной» поэзии:

Но добрый юноша, готовый
Высокий подвиг совершить,
Не будет в гордости суровой
Стихи нечистые твердить,
Но праведник изнеможенный,
К цепям неправдой присужденный
[В] своей <нрзб.> в т<юрь>ме
С лампадой, дремлющей во тьме,
Не склонит в тишине пустынной
На свиток ваш очей своих
И на стене ваш вольный стих

Не начертит рукой безвинной
Немой и горестный привет
Для узника [грядущих] < лет > ⁴⁶.

Конечно, эти стихи — лишь черновой вариант, к тому же совершенно неприемлемый по цензурным условиям. Но все же он идет в развитие характеристики Ленского как вольнолюбивого героя, а не противоречит ей. А далее в рукописи следовали строки, в косвенной форме также продолжающие апологию героического романтизма, прославляющие «своевольность» и «порывы» страстей в противовес «благоразумной тишине».

В образе Ленского привлекательна та свежесть романтической мечтательности, которую с ранней юности пережил и сам Пушкин. Если во второй главе «о поклоннике Канта и поэте» говорится в тонах мягкой иронии, то в главе шестой (которую Пушкин писал в 1826 г., когда обнаружилось, что Ленские были и среди декабристов) этому герою посвящены горячие, вдохновенные строки, воссоздающие образ человека, воодушевленного благородными стремлениями, высокими чувствами, жаждой знаний и труда, человека, рожденного, быть может, для «блага мира». Однако в романе показано, что свойственное Ленскому восприятие действительности детски наивно. Он не видел противоречий жизни, верил в «совершенство мира», в свершение своих надежд. Об этом говорится в VII строфе второй главы:

Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего.

И далее:

Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника...

В этом смысле Ленский — полная противоположность Онегину, скептически оценивающему и дружбу и друзей,

для которых «добро, законы, любовь к отечеству, права» лишь «для оды звучные слова» (черновик второй главы). Следовательно, не преуменьшая привлекательности образа Ленского, Пушкин вместе с тем подчеркивает его ограниченность, свойственный ему романтико-идеалистический взгляд на мир. Строфы о Ленском написаны в 1826 г., после восстания декабристов и в какой-то мере выражали и размышления Пушкина о людях 14 декабря.

По воспоминаниям современника — М. Юзефовича, Пушкин намревался в романе показать, как Онегин стал декабристом. Этот вариант судьбы героя может быть подтвержден следующими соображениями на основе истории романа и некоторых черновиков.

Как известно, сначала путешествие Онегина должно было быть описано в седьмой главе, непосредственно после появления Татьяны в усадьбе Онегина и его кабинете. Онегину была посвящена и следующая глава, восьмая. В девятой он возвращается в Петербург, где происходит его встреча и объяснение с Татьяной. В дальнейшем (судя по дошедшим до нас отрывкам из десятой главы и воспоминаниям современников) Онегин попадал, по-видимому, в круг декабристов и, вероятно, погибал. Совершенно очевидно, что при таком развитии замысла цензура не пропустила бы роман, поэтому Пушкин писал 28 ноября 1830 г. в предполагавшемся предисловии к двум последним главам (включая «Путешествие»): «Вот еще две главы» «Евгения Онегина» — последние, по крайней мере, для печати». В 1831 г. Пушкин вообще отказался от включения в текст путешествия Онегина, соответственно изменив окончание романа, но счел нужным приобщить отдельные отрывки из путешествия (большая часть составляла лирические отступления) к изданию последней, восьмой, главы, посвященной путешествию. При этом объяснение было загадочным для читателей: «Автор чистосердечно признается, что выпустил из своего романа

целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России... Автор... решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики». Введение «Путешествия» в роман, безусловно, расширило бы представление об облике Онегина, так как окончательный итог оценки героя был бы результатом не только впечатлений от новой встречи с Татьяной, но и его поведения во время странствий по России⁴⁷.

О характере путешествия можно судить по черновикам. Онегин едет; он, деливший свое время между кабинетом, театром и балами, увидит, наконец,

Святую Русь: ее поля,
Селенья, грады и моря.

Онегин видит «Новгород-великий», некогда мятежные площади, перед ним возникают картины исторического прошлого:

...тени древних Вел<иканов>
...Законодатель Ярослав
Счетю грозных Иоан<нов>,
И вокруг поникнувших царей
Кипит народ минувших дней.

В той же черновой рукописи упоминается, что Онегин видит «мятежный Волхов». Среди теней «прошлых поколений» отмечен образ вольнолюбивого Вадима. Далее Онегин мчится «по гордым волжским берегам»:

[Струится] Волга — бурлаки
Опершись на багры стальные
Унылым голосом поют
Про [тот] разбойничий приют
Про те разъезды удалые
Как Стенька Разин в старину
Кровавил волж<кую> волну...⁴⁸

Мироощущение героя окрашивает знакомый мотив: «Тоска, тоска...». Но среди причин, вызывающих эту тоску, появляется нечто новое: Онегина волнует противоре-

чие между героическим прошлым России и пошлой прозой современности. Строфы о поездке Онегина в Новгород подверглись в рукописи следующей переработке:

Он видит Новгород великой,
Смирились площади — средь них
Мятежный колокол утих,
Не бродят тени великанов..

В другом месте это противоречие между прошлым и настоящим подчеркнуто с еще большей резкостью. Онегин стремится в Нижний, в «отчизну Минина». Но что же он находит в городе, прославленном именем народного героя?

Сюда жемчуг привез Индеец,
Поддельны вины Европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из ст<епей>,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик — спелых дочерей,
А дочки — прошлогодни моды,
Всяк суетится, жмет за двух
И всюду меркантильный дух.

Следующее за тем восклицание «Тоска!» приобретает особую остроту, звучит как противопоставление воспоминаниям о героических днях истории, в которые погружается Онегин, «меркантильному духу» современности. Именно во время путешествия по России впервые был нарушен равнодушный скептицизм Онегина. Приехав на Кавказ, как отмечается в рукописи, ощутив близость войны, увидев величественные пейзажи гор,

Онегин тронут в первый <раз>.

Не менее характерно, что только в рукописи «Путешествия Онегина» возникает мысль о том, что он

Быть чем-то хотел.

Далее слова дважды исправлены: «переродиться захотел», «преобразиться захотел»⁴⁹.

Из желания «переродиться» и возник замысел поездки по России. Отсюда же, как мы полагаем, и та возможная декабристская линия развития Онегина, которую Пушкин, по словам М. Юзефовича, думал развить в десятой главе. Вариант развития образа Онегина, связанный с путешествием, дошел до нас в черновых отрывках и набросках. Однако и в окончательном тексте восьмой, заключительной, главы показано, что, вернувшись из путешествия, Онегин не остался тем же, кем был. Прежде всего, несравненно резче, чем раньше, ощущается его полное одиночество и чуждость светскому обществу: попав на светский раут, он

...в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный...

Но и окружающее общество относится к нему теперь, как к чужому: «Для всех он кажется чужим». Изменения в отношениях со «светом» явные — достаточно сопоставить впечатления «света» от Онегина в первой главе:

...Свет решил,
Что он умен и очень мил.

Теперь же итог его отношений со «светом» выражен в форме совершенно определенного социального отрицания:

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей

Некоторых деятелей декабризма Пушкин думал изобразить в своем прозаическом романе, задуманном в 1830-е годы. Там, по одному из планов, должно было фигурировать «общество умных» (здесь названы имена декабристов И. Долгорукова, С. Трубецкого, Никиты Му-

равьева,— конечно, они не могли быть названы своими именами, а послужили бы прототипами). Но этот замысел не был осуществлен. Он показателен как свидетельство постоянной памяти Пушкина о необходимости воплотить в своем творчестве героев декабристского движения, напоминанием о которых были и заключительные строки «Евгения Онегина»:

Одних уж нет, а те далече...
...Без них Онегин дорисован...⁵⁰

* * *

О роли и судьбе писателя-гражданина Пушкин писал терминами героических сражений: «...Дружина ученых и писателей... всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». Эти слова выражали убеждения всего поколения людей декабристской эпохи.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«...И ПОСТЕПЕННО СЕТЬЮ ТАЙНОЙ...» — В ОРБИТЕ
ДЕКАБРИСТОВ ЮГА РОССИИ

1. Первая жертва революционной агитации: эпизоды изгнания Пушкина из столицы

Есть немало широко известных фактов жизни Пушкина, правильному восприятию которых мешают недостаточно четкие представления о времени, отделенном от нас почти полуторастолетием. Истинный смысл ряда важнейших эпизодов биографии поэта может быть понят вернее, если восстанавливаются особен-

ности той или иной ситуации. К таким эпизодам относится высылка Пушкина из Петербурга в 1820 г.

Сам Пушкин о грозившей каре отзывался как о катастрофе: «Я погибал...». В послании Чаадаеву (1821) он вспоминал:

В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой...

Это не было поэтическим преувеличением. В 1825 г. в черновом неотправленном письме Александру I (написанном по-французски) Пушкин признавался: «Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — В...» (слово не дописано. Исходя из контекста письма можно полагать, что имелось в виду: «Ваше величество» (*Votre Majesté*)¹.

Драматизм переживаний поэта, решавшего такого рода дилемму, вызван рядом обстоятельств. Ему грозила ссылка в Сибирь («хладная пустыня», «глушь» — так называл он этот край) или в Соловецкий монастырь. Приводили в отчаяние и клеветнические сплетни, что его, как мальчишку, высекли в полиции за крамольные стихи. Положение казалось безвыходным. К этому случаю можно применить слова Вяземского, сказанные по другому поводу: «Рука недоброжелателя или врага заправского действует во мраке и невидимо. Ей мало щипнуть и оцарапать: она ищет глубоко уязвить и dokonать жертву свою»².

Но эпизод с высылкой Пушкина из столицы выходил за пределы пушкинской биографии, он вызвал широкий резонанс и особую тревогу в кругах Союза благоденствия. Намерение Александра I расправиться с Пушкиным стало бы, по сути, повторением расправы Екатерины II с Радищевым за «Путешествие из Петербурга в Москву». Ведь до того Александр I заигрывал с либерализмом, даже обещал даровать конституцию, смотрел сквозь пальцы на поступающие сведения о существовании тайного общества. Теперь, в условиях падения активности многих членов



А. С. Пушкин. 1821 г. Автопортрет

общества, отливыв из него, расправа с Пушкиным могла сказаться на судьбах этого общества и на оппозиционных настроениях вообще. Вот почему необходимо было предпринять все возможное, чтобы намерение Александра I расправиться с Пушкиным не состоялось и сорвать торжество реакции во главе с Аракчеевым.

В защите Пушкина участвовали люди различных ориентаций, среди них были Ф. Н. Глинка, в то время один из активнейших членов Союза благоденствия, П. Я. Чаадаев, также член Союза благоденствия, А. И. Тургенев, Н. И. Гнедич, Н. М. Карамзин, А. Н. Оленин и другие. К ходатайству о смягчении наказания Пушкину удалось привлечь даже императрицу!

Трудно представить, что такая обширная защита Пушкина и тактика воздействия на царя сложились стихийно. Здесь требовался человек, соединявший знание всей обстановки со способностями дипломата, ориентированный в том, к кому, прямо или косвенно, следует обращаться. Таким человеком оказался Ф. Н. Глинка, служивший чиновником для особых поручений при петербургском генерал-губернаторе М. А. Милорадовиче. Это был человек, весьма полезный для Союза благоденствия во всех отношениях, начиная от того, что некоторые заседания тайного общества проходили у него на квартире, и кончая его исключительной осведомленностью о секретных мероприятиях правительственного аппарата и полиции, благодаря этому ему удалось предупредить некоторые акции, связанные с доносами о существовании общества и о подозрениях, возникавших у царя.

Казалось бы, воспоминания Ф. М. Глинки «Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга в 1820 году» должны были бы дать достоверную картину этого эпизода. В таком качестве они постоянно приводятся в биографиях Пушкина, но подобного рода оценка этого рассказа далеко не во всем верна и особенно в интерпретации событий. Прежде чем перейти к анализу этих событий и их освещению в рассказе Глинки, придется их процитировать. Вот что рассказывал Глинка:

«Раз утром выхожу я из своей квартиры (на Театральной площади) и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как всегда, бодр и свеж; но обычная (по крайней мере, при встречах со мной) улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на щеках. «—Я к вам». «—А я от себя!» И мы пошли вдоль площади, Пушкин заговорил первый:

«— Я шел к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я воз-

вратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги».

При этом рассказе я тотчас узнал Фогеля с его проделками.

«— Теперь, продолжал Пушкин, немного озабоченный, меня требуют к Милорадовичу! Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться... Вот я и шел посоветоваться с вами...» Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон.

В заключение я сказал ему:

«Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и безо всякого опасения. Он не поэт; но в душе и рыцарских его выходках — у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности».

Тут, еще поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошел к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место.

Часа через три явился и я к Милорадовичу... Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович... закричал мне навстречу:

«Знаешь, душа моя! (это его поговорка) у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все бумаги; но я счел более деликатным (это тоже любимое его выражение) пригласить его к себе и уж от него самого потребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и, когда я спросил его о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои стихи сожжены! — у меня ничего не найдется на квартире; но, если вам угодно, все найдется здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с отметкою, что мое и что

разошлось под моим именем». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал *целую тетрадь*... Вот она (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли — Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою (это тоже его словцо) обхождения...»

И о финале этой истории:

«На другой день я постарался прийти к Милорадовичу пораньше и поджидал возвращения его от государя. Он возвратился, и первым словом его было:

«Ну, вот дело Пушкина и решено». Разоблачившись потом от мундирной формы, он продолжал:

«Я вошел к государю со своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!» Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и наконец спросил: «А что же сделал ты с автором?» — Я?.. (сказал Милорадович), я объявил ему от имени вашего величества *прощение!*.. Тут мне показалось, — продолжал Милорадович, — что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «*Не рано ли?*» Потом, еще подумав, прибавил: «Ну коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг». Вот как было дело. Между тем, в промежутке двух суток, разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич, с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах), бросился к Оленину; Карамзин, как говорили, обратился к государыне; а (незабвенный для меня) Чаадаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своей дорогою, а дело исполнялось буквально по решению»³.

Рассказ Глинки — участника и свидетеля событий, че-

ловека, которому Пушкин был весьма признателен, все же упрощает ход дела, получается, что все оно продолжалось «дня три». В свете материалов, которыми исследователи сегодня располагают, оно велось не меньше месяца. Крайние его даты — между 2 апреля, когда министр внутренних дел Кочубей представил донос на вольнодумцев и Пушкина Александру I, и — 5 мая — день утверждения царем письма об «удалении» Пушкина из Петербурга, сочиненного статс-секретарем Каподистрией (подробнее об этом скажем в дальнейшем). Но дело не только в датах. По воспоминаниям Глинки получается, что суть истории такова: Милорадович, не согласуя свое решение с Александром, объявил Пушкину от его имени прощение, затем доложил об этом царю, и тот, поколебавшись, с этим решением согласился. Вот как — быстро и несложно была заменена ссылка поэта в Сибирь или в Соловецкий монастырь продолжением службы на юге!

Чем же объяснить, что Глинка, прекрасно осведомленный о ходе дела, утаил и намеренно обошел важнейшие факты?

Воспоминания о деле Пушкина были написаны Глинкой в 1886 г., когда Глинка уже давно растерял свое былое вольнолюбие и перешел в лагерь консерваторов. Бывший декабрист не хотел ничем напоминать о своем участии в освободительном движении. Отсюда скупость его воспоминаний и их политическая окраска.

Как же в действительности развивалось дело Пушкина в 1820 г.?

Началось оно с попыток полиции достать по указанию царя подлинные рукописи политических стихов Пушкина. Без именно подлинных рукописей Пушкина (то есть на основе лишь ходивших по рукам копий, сделанных переписчиками) было бы затруднительно установить вину поэта, да и пришлось бы вовлечь в следствие слишком многих лиц. Противоправительственные пушкинские стихи и

эпиграммы распространялись или без подписи, или же его имя подписывали сами распространители. Пушкину часто приписывались и стихи, ему не принадлежавшие. Узнав о начале дела, Пушкин сжег «крамольные» стихи. Когда он вызвался написать их в присутствии Милорадовича, это был весьма умный шаг, спутавший планы тайной полиции. Конечно, Пушкин не переписал для Милорадовича всех своих антиправительственных стихотворений, как рассказал Глинка. Если бы следствие было продолжено, Пушкину легко было бы теперь отказаться от авторства некоторых из них, ссылаясь на то, что они ему приписываются. Милорадович, несмотря на свой высокий официальный чин, был связан с людьми из оппозиционных кругов и, конечно, не хотел выяснять, все ли стихи Пушкин при нем записал, а тем более — давать санкцию на продолжение следствия. Поскольку пушкинские стихи получили поистине огромное распространение, в число их распространителей попало бы не просто множество различных лиц, но и те люди, в компрометации которых Милорадович никак не был заинтересован. Так, можно с полной уверенностью предполагать, что Пушкин не включил в эту тетрадь ни одного из своих стихотворений, призывавших к убийству царя и Аракчеева, ни ноэля, где царь был бы назван «кочующим деспотом». Ведь такого рода стихи Пушкин, как он сам сказал Глинке, сжег, — какая же была необходимость восстанавливать «все», в том числе уже сожженное? Да вряд ли и сам Милорадович посмел бы явиться к императору со стихами, в которых тот был охарактеризован ничтожеством, «венчанным солдатом», лжецом, достойным уничтожения. Кроме того, Милорадович, судя по рассказу Глинки и по другим данным, хотел облегчить участь Пушкина, а за подобные стихи поэт, несомненно, подвергся бы весьма суровому наказанию.

История, рассказанная Глишкой, относится к апрелю 1820 г., но полицейская слежка за Пушкиным началась,

конечно, гораздо раньше. До нашего времени не дошли (или их не удалось пока обнаружить) материалы полиции, но нет никакого сомнения, что фигура Пушкина, не скрывавшего своих взглядов и ставшего вскоре после приезда в Петербург одним из самых заметных вольнодумцев столицы, привлекла пристальное внимание блюстителей порядка. Во всяком случае, один чрезвычайно важный факт устанавливается с полной определенностью: Александр I был осведомлен об антиправительственных стихах Пушкина задолго до начала его дела. Как рассказывали впоследствии несколько знакомых Чаадаева, в 1819 г. царь поручил генералу Васильчикову, командовавшему отдельным гвардейским корпусом, достать какие-либо стихи Пушкина для прочтения. Речь могла идти именно о «возмутительных» рукописных произведениях поэта. Васильчиков обратился за исполнением этой просьбы к своему адъютанту Чаадаеву, а тот, понимая, чем это может грозить его другу, постарался доставить Васильчикову относительно невинное из пушкинских вольнолюбивых стихотворений — «Деревню», где падение рабства — мечта поэта — могло осуществиться «по манию царя». Александр, еще продолжавший игру в либералы, отреагировал на стихи галантной фразой, которая вскоре разнеслась по Петербургу: «Передайте благодарность Пушкину за добрые чувства, которые вызывают его стихи»⁴.

Но этим дело не кончилось. Одновременно им занимался министр внутренних дел Кочубей, внимание которого к Пушкину усугублял своими доносами, как упоминалось выше, В. Н. Каразин. Весной 1820 г. он сначала в устных беседах с министром, а затем в посланном ему письме всячески расписывал опасности, которые представляют для государства питомцы Лицея, а особенно Пушкин. Кочубей вскоре доложил о полученном им от Каразина письме Александру I, который заинтересовался прежде всего пушкинскими стихами. И опять встал вопрос о необходи-

мости доказать принадлежность Пушкину особо «крамольных» стихотворений. Суровое решение могло быть принято именно при этом условии. Вот почему Кочубей с такой настойчивостью требовал от Каразина, чтобы он достал эпиграмму, оскорбляющую императора.

Если суммировать материалы, известные сегодня о деле Пушкина,— то, что он сам писал и говорил по этому поводу, письма и воспоминания современников (Сабурова, Карамзина, Лугинина, Энгельгардта и других),— вырисовывается такая картина.

Если Александр I и не знал всех стихов Пушкина, то ему наверняка была известна ода «Вольность», в которой он не мог не заметить напоминания о своем косвенном участии в убийстве Павла I.

Это можно заключить также из написанного Пушкиным несколькими годами спустя остроумнейшего «Воображаемого разговора с Александром I». Здесь в уста царя вложены следующие слова: «Я читал вашу Оду Свобода. Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоприятно, вы, [однако ж, не] старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, [но вижу,] что вы уважили правду и личную честь даже в царе». Иначе говоря, в «Воображаемом разговоре...» Александр сам хитро отводит как клевету те намеки на его прикосновенность к убийству отца, которые другие видели в пушкинской оде⁵.

Начинать официальное следствие и суд над Пушкиным Александр не хотел, ибо в этом случае пришлось бы заниматься разбором и так называемых «клеветнических» стихотворений, которые были особенно оскорбительны для царской особы. Поэтому наилучший выход царь видел в том, чтобы наказать Пушкина, так сказать, «в общей форме» — за «возмутительные стихи» в целом.

Сведения об обстоятельствах, предшествовавших высылке Пушкина из Петербурга, сообщил П. В. Анненкову и приятель Пушкина Я. И. Сабуров, общавшийся с поэтом в Кишиневе и Одессе после ссылки:

«Дело о ссылке Пушкина началось особенно по настоянию Аракчеева ... Милорадович призывал Пушкина и велел ему объявить, которые стихи ему принадлежат, а которые нет. Он отказался от многих своих стихов тогда, а между прочим от эпиграммы на Аракчеева, зная, откуда идет удар». Аракчеев, заклеянный поэтом в широко известной эпиграмме, был в первую очередь заинтересован в наказании Пушкина, он был его злейшим врагом. Вполне возможно также, что распространившиеся в Петербурге слухи о том, что Пушкин был высечен в тайной канцелярии, возникли потому, что Аракчеев, для которого приказы о телесном наказании были привычным делом, предлагал применить их к «мальчишке» (так называл Пушкина в своем доносе Карамзин)⁶.

О предстоящей ссылке Пушкина одним из первых узнал Чаадаев. Он, по воспоминаниям Д. Н. Свербеева, поздним вечером пришел к Карамзину, немного удивил его своим приездом в такой необыкновенный час, принудил историографа оставить свою работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина у императора Александра (по другим источникам у императрицы). Но вступился за Пушкина не только Карамзин, среди заступников был и Энгельгардт, директор Лицея, о разговоре которого с царем рассказывал в своих «Записках» Пушкин. За Пушкина хлопотали разными путями и другие лица. Но, по-видимому, наибольшее значение имело заступничество Карамзина — и ввиду авторитета, которым он пользовался, и благодаря тому, что его «благонамеренность» была вне сомнений. В письме к И. И. Дмитриеву 19 апреля 1820 г. Карамзин с неудовольствием говорит о Пушкине: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то, по крайней

мере, облако... и громоносное. Служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет»⁷.

7 июня тот же Карамзин сообщил Дмитриеву, что Пушкина «простили, дозволили ему ехать в Крым... авось будет рассудительнее; по крайней мере, дал мне слово». (Позже, в 1825 г., Пушкин подтвердил в письме к Жуковскому, что он обещал Карамзину «два года ничего не писать противу правительства».) В другом письме, к Вяземскому, Карамзин писал: «Пушкин, быв несколько дней в совсем не пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей тысячу на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным... Если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэмке!»

В этих письмах отмечено, что условием «прощения» Пушкина было обещание «уняться». Но Пушкин, как мы увидим далее, отнюдь не «раскаялся», а обещание не писать «противу правительства» понимал в том смысле, чтобы не сочинять стихов, непосредственно обличающих царя и его приближенных (в письме 1825 г. к Жуковскому он называл даже «намерение», выраженное в стихотворении «Кинжал», «безгрешным»)⁸.

Поскольку дело Пушкина вызвало широкий резонанс, Александр решил отказаться от намерения сослать поэта в Сибирь: хотел этим актом поддержать свою репутацию «добряка» («notre ange» — «наш ангел», — называли его

придворные льстецы). Кроме того, отправляя поэта в Бессарабию, царь рассчитывал, что Пушкин будет там совершенно изолирован от привычной для него среды. Бессарабия была тогда захолустной окраиной России, заселенной в основном молдаванами и некоторыми другими национальностями, русских там было мало. Предполагалось, что если поэт не исправится, то ссылка может быть продлена на неопределенно долгое время, и, как оказалось в дальнейшем, она продолжалась, в общем, более шести лет (включая изгнание в село Михайловское).

И все же оставалось загадкой, почему предполагавшаяся ссылка Пушкина в Бессарабию внешне обернулась как бы всего лишь служебным перемещением (Пушкин был назначен одним из чиновников к генералу Инзову. На поэта была возложена при этом и обязанность курьера: он вез с собой правительственное распоряжение о назначении Инзова председателем Комитета по делам иностранных поселенцев Южного края России).

Разгадка — в роли, которую сыграл непосредственный начальник Пушкина, министр иностранных дел И. А. Каподистрия. В отличие от другого статс-секретаря (их было двое в это время), Нессельроде — этого, как его называли, «австрийского министра русских иностранных дел», отъявленного реакционера, — Каподистрия был в те годы человеком прогрессивным. Александр I считал его даже «карбонарием». Приехав в Россию в 1809 г. и получив до этого блестящее образование в университетах Италии, Каподистрия, грек по национальности, стал горячим сторонником национально-освободительного движения в Греции. Россию он называл своей «приемной родиной». Арзамасцы не случайно выбрали его почетным членом своего общества. В 1822 году в результате обострения своих отношений с Александром I Каподистрия ушел в отставку и уехал в Грецию. В свете того, что нам сегодня известно об облике Каподистрии, становится понятным, — благодаря и

его усилиям Александр I согласился отменить решение о ссылке поэта в Сибирь.

По воспоминаниям Вигеля, Каподистрия в доме Карамзинных дерзнул доказать царю «всю жестокость наказания и умолить о смягчении его». Каподистрии удалось получить у императора и согласие на выдачу Пушкину тысячи рублей для дорожных расходов.

Истинное дипломатическое искусство проявил Каподистрия и в написанном им письме, которое Пушкин должен был, приехав к Инзову, представить своему новому начальнику и которое было одобрено Александром. В этом письме отмечалось, что «несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства» и что, отвечая на заступничество Карамзина и Жуковского, император решил «дать молодому Пушкину отпуск»(!). Что касается «вины» Пушкина, то она была представлена как результат тяжелого детства, которое возбудило у него «страстное желание независимости, и отсутствия «истинного воспитания». Сам же Пушкин, еще будучи учеником, «проявил гениальность необыкновенную», «нет той крайности, в которую не попал бы этот молодой человек,— как и нет того совершенства, которого не мог бы он достигнуть превосходством своих дарований». Вместе с тем в письме утверждалось, что Пушкин теперь «кажется исправившимся», что «его покровители полагают раскаяние искренним». Заканчивалось письмо обращением к Инзову: «Судьба его будет зависеть от успеха ваших добрых советов». В этом письме сказывается если не соавторство друзей поэта, то их несомненное влияние. Именно ими были сообщены, видимо, сведения о детстве Пушкина, о том, что он «был лишен сыновней привязанности» и, «оставя родительский дом, не испытывал сожаления», о том, как он проявил себя в Лицее и т. д. Более чем вероятно, что на характер этого письма повлияли и разговоры с Каподистрией со-

служивцев Пушкина по Министерству иностранных дел, в числе которых были также и его товарищи по «Зеленой лампе» — Улыбышев, Всеволожский, Долгоруков⁹.

Вернемся, однако, к тому кризисному моменту, когда Пушкин, по его признанию, находился «над бездной», размышляя, покончить ли ему с собой, или, как можно предположить, убить Александра I. Это был промежуток времени между решением царя сослать поэта в Сибирь и заменой сибирской ссылки отправкой на юг якобы в качестве «курьера» к Инзову. В эти же дни в столице распространились клеветнические измышления о том, что Пушкин был высечен в тайной канцелярии. Эта клевета глубоко оскорбила поэта. В неотправленном письме к Александру, о котором уже упоминалось, Пушкин признавался: «Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы отнестись ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести». Но то, что произошло в дальнейшем (то есть ссылка под видом командирования на юг без увольнения со службы), вырвало, как писал Пушкин, «смешную клевету» о наказании в тайной канцелярии¹⁰.

6 мая 1820 г. Пушкин в сопровождении дядьки Никиты Козлова выехал из Петербурга в свое первое изгнание. Его провожали до Царского Села Дельвиг и М. Яковлев. Могли ли они предполагать, что изгнание их друга было только началом ждавших его суровых испытаний и преследований...

Отправляясь в ссылку, Пушкин отнюдь не хотел, чтобы его считали «прощенным» и еще менее того — раскаявшимся. В стихотворении «К Овидию», говоря о своем изгнании, он с гордостью писал о себе: «Суровый славянин, я слез не проливал». Здесь же он называет себя «изгнанник самовольный» (то есть «добровольный»). Этими словами поэт подчеркивал, что он сознательно шел на риск,

избрав тот путь, которому решил неуклонно следовать. Но необходимо было поскорей продемонстрировать эту свою позицию публично. Особый смысл теперь приобрели заключительные строки стихотворения «Кюхельбекеру», написанного еще в Лицее, но напечатанного в мае 1820 г.— в том же месяце, когда Пушкин был выслан из Петербурга:

Прости! где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.

Прошло несколько месяцев, и в сентябрьском номере «Сына отечества» был напечатан в качестве дополнения к поэме «Руслан и Людмила» «Эпилог», в котором Пушкин вновь говорил о своем изгнании и об участии, проявленном к нему истинными друзьями в дни, когда решалась его судьба:

...грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!

«Эпилог» был напечатан с пометкой: «26 июля 1820 года. Кавказ».

По этому поводу Аракчеев писал Александру I: «Известного вам Пушкина стихи печатают в журналах, с значением из Кавказа, видно, для того, чтобы известить о нем подобных его сотоварищей и друзей». Но дело было не только в том, что Пушкину хотелось распространить в обществе известие о своей ссылке. В «Эпилог» он вновь говорил о свободе как о своем «кумире». Это явно шло вразрез с ожиданиями Карамзина¹¹.

В стихах Пушкина периода ссылки настойчиво звучит мотив «все тот же я...». Друзья Пушкина, со своей стороны, всячески стремились распространить о нем сведения как о вольнолюбивом поэте. Так, в 1822 г. С. Полторацкий напечатал во французском журнале «Revue Encyclopédique» статью, где Пушкин назван автором поэмы «Руслан и Людмила», оды «Вольность», «полной одушевления, поэзии и возвышенных идей», и стихотворения «Деревня», «в котором, дав восхитительную и верную картину красот природы и сельских забав, поэт скорбит о печальных следствиях рабства и варварства, высказывая в стихах, полных силы и энергии, светлую надежду на зарю свободы, которая воссияет для его родины». «Вольность» и «Деревня», оставшиеся неизданными, сказано далее, «были причиной преследования правительством молодого поэта, высланного в Бессарабию»¹².

2. «Все тот же я...»

Что спасло Пушкина, судьба которого в 1820 г. катастрофически надломилась, от отчаяния, от скептицизма? История этого времени знает много случаев, когда, даже, казалось бы, убежденных людей, произносивших клятвы верности идеалу свободы, первые же опасности приводили к краху их идеалов или прямому отступничеству. Как раз в эти годы началась реорганизация Союза благоденствия. Одни из его членов, став свидетелями наступления реакции, сами оборвали свои связи с тайным обществом, других, — неустойчивых, колеблющихся, — отвели от участия в новом, строго законспирированном Северном обществе и Южном. Осторожность тех из друзей, которые даже боялись общаться с опальным поэтом, Пушкин остро ощущал. Вот строки из некоторых его писем:

«...Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один дружеский голос — что друзья мои, как нарочно,

решились оправдать элегическую мою мизантропию, и это состояние несносно» (брату, 24 января 1822 г.); «...Ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне...— благодарил он участника «Зеленой лампы» Я. Н. Толстого 26 сентября 1822 г.— Два года и шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова...»; «...Мне никто не пишет— Москва, Петербург, Арзамас совершенно забыли меня» (П. Вяземскому, 5 апреля 1823 г.); «Дельвиг мне с год уже ничего не пишет» (А. Бестужеву, 13 июня того же года); «Жуковскому грех; чем я хуже принцессы Шарлотты, что он мне ни строчки в три года не напишет» (А. Тургеневу, 1 декабря 1823 г., принцесса Шарлотта — великая княгиня Елена Павловна, которой Жуковский посвятил стихи «Ангел и Певец»).

Но мужество не покинуло Пушкина. Спасала широта взглядов на мир, жажда познания, вера в победу светлых начал. Помогло и путешествие на юг с семьей прославленного героя войны 1812 г. генерала Раевского. Младший сын Раевского Николай был близким другом Пушкина. Вместе с Раевским Пушкин, с разрешения Инзова, отправился на Кавказ.

Впечатления от путешествия обогатили поэта. Он впервые познакомился с южной Россией, ее природой, населением, бытом. Его восхищал воинственный дух казацкой вольницы. На Дону в это время одно за другим вспыхивали крестьянские восстания. Пушкин ощущал здесь ту же атмосферу стихийного протеста народа против рабства, что и в Екатеринославе: в пятидесяти деревнях окрестных помещиков, по словам екатеринославского губернатора, «возмущение достигло самой высшей степени, так уже не сотнями, но многими тысячами... собираются возмутители, избивают своих начальников, твердо установив не повиноваться никаким усилиям и увещаниям, а упорно стоять, чтобы быть в полной свободе»¹³.

Когда Пушкин был еще в Екатеринославе, он со своим дядькой Никитой Козловым наблюдал, как два скованных арестанта спасались вплавь через Днепр. Этот эпизод он впоследствии использовал в поэме «Братья-разбойники» (она создавалась в 1821—1822 гг., известен лишь отрывок, полный текст был сожжен Пушкиным). В 1823 г. поэт писал Вяземскому: «Истинное происшествие дало мне повод написать этот отрывок. В 1820 г. в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуман». Замысел поэмы связан с историями волжских разбойников — крепостных крестьян, бежавших от помещика в «зеленую дубраву». Именно этот замысел объясняет широкое использование в поэме элементов фольклора и народного языка.

Современники Пушкина воспринимали образы «Братьев-разбойников» как символы политической борьбы. В 1823 г. П. Вяземский писал о поэме А. Тургеневу: «я благодарил его (Пушкина.— Б. М.) и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах». Впоследствии «Братья-разбойники» получили широкое распространение в народе¹⁴.

В двенадцатитысячном, пестром, разноплеменном населении Кишинева каждая национальная группа жила своими интересами, среди малочисленного состава русских оказались лица, близкие Пушкину по убеждениям, по духовному складу. Не оправдались ожидания Александра I, что здесь поэт будет пребывать в одиночестве, не пайдет подходящей для себя среды. Пушкина ввел в кишиневское общество Н. С. Алексеев, служивший в штабе наместника Бессарабской области. Здесь оказался и М. Ф. Орлов, знавший Пушкина еще по «Арзамасу», он командовал дивизией, был известен стремлением уничтожить в ней палочную дисциплину. В Кишиневе находилась небольшая,

но весьма активная по составу группа тайного общества, в которую входили тот же Орлов, поэт и воин В. Ф. Раевский, К. А. Охотников — люди образованные, с широким кругом интересов. Среди новых знакомых Пушкина был генерал П. С. Пушкин, член Союза благоденствия, командовавший бригадой, основатель конспиративной масонской ложи «Овидий» (в нее вошел и Пушкин). Познакомился Пушкин и с офицерами, приехавшими для топографических съемок. Он бывал в домах местных жителей, изучал молдавский язык, интересовался молдавским фольклором. Поэт вообще старался бывать всюду, где можно было запастись новыми впечатлениями, ездил в цыганский табор, ходил в острог разговаривать с арестантами.

Весной 1821 г. Пушкин познакомился с вождем Южного тайного общества Пестелем. В дневнике Пушкина 9 апреля записано: «Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «*Mon coeur est matérialiste, — говорит он, — mais ma raison s'y refuse*» *. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»

26 мая 1821 г., в день рождения Пушкина, Пестель вместе с несколькими знакомыми навестил поэта.

Таким образом известны три свидания Пушкина с Пестелем. В мае же они виделись у Михаила Суццо. По-видимому, было, по крайней мере, еще одно, когда Пушкин приехал в Тульчин, где он общался с членами тайного общества Н. В. Басаргиным, А. П. Юшневским и где был Пестель (февраль 1821 г.). О содержании бесед с этим виднейшим деятелем тайного общества до нас сведений не дошло, но несомненно, что Пестель, хорошо осведомленный о греческих делах — этерии, — говорил с поэтом, который был горячо заинтересован в этом восстании и на-

* Сердцем я материалист, но разум этому противится (ф р а н ц.).

деялся на его удачный исход (в отличие от Пестеля, реалистически относившегося к движению этеристов и к Александру Ипсиланти, вождю движения).

В кишиневском изгнании вольнолюбивые взгляды Пушкина стали подлинно революционными. Он смело высказывал их в разговорах, которые вел, не считаясь ни с какими требованиями осторожности. Кишиневский чиновник П. И. Долгоруков с ужасом записывал в своем дневнике о поведении Пушкина: «Вместо того чтобы прийти в себя и восчувствовать, сколь мало правила, им принятые, терпимы могут быть в обществе, он всегда готов у заместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России». Тот же Долгоруков записал и ряд знаменательных эпизодов: за обедом у Инзова Пушкин рассуждал «о нравственности нашего века, отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают»; порицал «невежество духовенства»; «...Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно... Полетели ругательства на все сословия»; «...Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частью, один класс земледельцев — почтенный. На дворян русских особенно напал Пушкин. Их надобно всех повесить...» Если последняя фраза вырвалась в пылу какого-то ожесточенного спора, то все остальное, что он говорил, отражало его действительные взгляды и настроения¹⁵.

Эти разговоры велись все-таки в своем кругу, где были и единомышленники Пушкина. Но вот, беседуя в семье бессарабских помещиков Ралли, он применил к себе и Александру I такие стихи:

Il m'a dit: choisis d'être oppresseur ou victime,
J'embrassai le malheur et lui laissai le crime!*

* Он сказал мне: выбирай — быть ли угнетателем или жертвой. Я взял себе несчастье, а ему оставил преступление! (Франц.).

Когда Пушкин говорил о политике, его просили переходить на французский язык, чтобы его речей не понимали слуги¹⁶.

К тому времени он окончательно распрощался с иллюзиями о возможности решительных изменений существующих порядков «по манию царя». В стихотворении «В. Л. Давыдову» (1821) он открыто выразил сочувствие революционным методам борьбы: в стихотворении «Кинжал» воспевались убийство Кесаря Брутом и подвиг Карла Занда, но вместе с тем строки, оправдывающие Шарлотту Корде, внушали мысль, что Пушкин не изменил своего отношения к французской революции XVIII в. (ведь в оде «Вольность» о казни Людовика говорилось как о нарушении «закона», как о действии «преступной секиры»). Но в действительности это изменение произошло. В письме А. И. Тургеневу 1 декабря 1823 г. Пушкин приводит в качестве «самых сносных строф» своего стихотворения «Наполеон» именно те строфы, в которых дана восторженная оценка французской революции:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир
И галл десницею разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал, —

Тогда в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.
В свое погибельное счастье
Ты дерзко веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

День, когда «во прахе царский труп лежал», — это

«день великий, неизбежный»! В уничтожении же завоеванной французской революции Пушкин видит теперь порабощение народа, лишившегося «новорожденной свободы». Стихотворение это, написанное в 1821 г. в Кишиневе, в период наиболее интенсивной деятельности кишиневской ячейки Союза благоденствия и масонской ложи «Овидий» (членом которой был и Пушкин), читалось в доме М. Ф. Орлова. Свои стихи Пушкин с оказиями пересылал в столицу. 20 июня 1822 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Москвы: «Вот тебе еще стихи Сверчка; только не говори Дмитриеву, что он их привез: он умрет со страха *argés cour*» *¹⁷.

В ссылке Пушкин усиленно пополнял свои знания, много читал, даже во время путешествия с Раевскими он перечитал Вольтера, с помощью Н. Раевского знакомился с сочинениями Вальтера Скотта.

В стихотворении «Чаадаеву» (1821), своеобразном лирическом повествовании о жизни в изгнании, поэт говорил:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мысленной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Его волновали все новые и новые вопросы. Е. Н. Раевская, ставшая женой М. Ф. Орлова, писала брату Александру Раевскому 23 ноября 1821 г.: «У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, политические, литературные и др.: мне слышно их из дальней комнаты». И в другом письме: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его

* Задним числом (франц.).

теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда лишь будут считать нарушителями общественного спокойствия...». Тогда же, по-французски, Пушкин так записал эти споры (поводом к ним послужил «Проект вечного мира» аббата Сен-Пьера, напечатанный в 1716 г.).

Вот первые положения этого конспекта: «1. Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и т. п. Они убедятся, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными. 2. Так как конституции, которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным,— необходимо стремиться к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее, чем через 100 лет, не будет уже постоянной армии». (По-видимому, обсуждалась не книга самого Сен-Пьера, а краткое резюме «Проекта», написанное в 1760 г. Руссо и снабженное его замечаниями, цитату из которых Пушкин приводит в своей записи¹⁸.)

Особенно важным для Пушкина в период его жизни в Кишиневе оказалось тесное общение с В. Ф. Раевским, выдающимся деятелем тайного общества, смелым революционером-патриотом.

Под его прямым воздействием Пушкин начал работать над поэмой и трагедией «Вадим», в которых хотел воспеть новгородскую свободу, питомца «старинной вольности» — «народ нетерпеливый». Обращение к прошлому России служило здесь формой обличения современных порядков.



В. Ф. Раевский.
Реконструкция художника Н. П. Нератовой

В сохранившемся отрывке трагедии один из героев говорит:

Вражду к правительству я зрел на каждой встрече...
Уныние везде, торговли глас утих,
Встревожены умы, таится пламя в них.
Младые граждане кипят и негодуют...

По воспоминаниям Липранди, Раевский «очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положи-

тельнее историей». Раевский в беседах с Пушкиным утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц Древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть свое и т. п.»

Чувством патриотической гордости проникнута запись Пушкина: «Только революционная голова, подобная Мир<аф> и Пестелю, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке»¹⁹.

Значительное влияние на политические и исторические интересы Пушкина оказал также М. Ф. Орлов, который, как и В. Ф. Раевский, был членом кишиневской управы тайного общества. Большой резонанс получило выступление Орлова в 1819 г. в Киеве. Используя кафедру Библейского общества, он обличал реакционеров — врагов прогрессивной русской культуры: «Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков... история наша полна их покушений против возрождения России». Орлов интересовался экономической стороной исторического процесса, хотя и просветительски объяснял крепостное право как нарушение «природных прав человеческих».

Интерес Пушкина к русской истории, значительно возросший под влиянием кишиневских споров, нашел яркое отражение в его заметках по русской истории. (Хотя они посвящены XVIII в., но содержат критику русского самодержавия в целом и касаются современных вопросов.) Из ружавия царей относительно положительная оценка дана только Петру: «Северный исполин», как называет Пушкин Петра, «не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу...». Далее, однако, о царствовании Петра говорится: «История представляет около его всеобщее рабство... все состояния

окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось». С наименьшей пронизательностью и остротой характеризует Пушкин в этих заметках и Екатерину II, этого «Тартюфа в юбке и короне». При Екатерине II ее «любимцы», «обреченные презрению потомства», временщики и их отдаленные родственники сосредоточили в своих руках огромные имения. «От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила свое государство». Здесь же Пушкин пишет о расправе Екатерины с передовыми писателями-просветителями — Новиковым, Радищевым, Княжниным, о преследованиях, которым она подвергла Фонвизина. С удивительной прозорливостью Пушкин предсказывает истинную оценку, которую вынесет история «славному» царствованию Екатерины II вопреки дифирамбам отечественных и иностранных историографов: «...Со временем история... откроет жестокою деятельностью ее деспотизма под личиною кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России»²⁹.

В заметках Пушкин касается и неизменно волновавшего его вопроса о необходимости ликвидировать крепостничество. Раньше «одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояние противу общего зла, и твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы».

Эти заметки Пушкин заканчивал обобщением, вскрывающим сущность всей системы русского абсолютизма:

«Русские защитники самовластия ... принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: «En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la stragulation»*.

Важнейшими эпизодами в жизни Пушкина явились его поездки в Каменку (имение декабриста В. Л. Давыдова в Киевской губернии). Особенно интересной была его поездка туда в ноябре 1820 г., (тогда Давыдов собрал у себя членов тайного общества). Там велись разговоры об испанской и неаполитанской революциях, о военном перевороте в Португалии, о перспективах революционного движения в России. Содержание этих бесед воспроизводят строки пушкинского послания «В. Л. Давыдову», написанного в апреле 1821 г.:

...Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей
И за здоровье тех и той
До дна, до капли допивали!..
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...

Этот условный язык был понятен для посвященных: *те* — итальянские карбонарии, главари неаполитанской революции, вспыхнувшей в июле 1820 г., *та* — политическая свобода.

В Каменке в ноябре 1820 г. Пушкин встретил приехавшего туда вместе с Орловым и Охотниковым И. Д. Якушкина, которого знал еще по Петербургу. По воспоминаниям Якушкина, поэт выбежал к нему с распростертыми объятиями. Якушкин прочитал Пушкину его «Noël» («Ура! В Россию скачет...»), и поэт очень удивился, что Якушкин знает его стихотворение. «...А между тем,— продолжает мемуарист,— все его ненапечатанные стихотворе-

* Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой (пер. Пушкина).

ния: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других — были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть»²¹.

О своем посещении Каменки Пушкин в одном из писем в декабре 1820 г. сообщал: «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, темного стихов».

Поведение Пушкина во время пребывания в Каменке еще раз доказало, насколько сильным было его желание вступить в тайное общество, о существовании которого он, несомненно, догадывался. И. Якушкин в своих воспоминаниях рассказал о драматическом для Пушкина эпизоде: «...Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились... сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к тайному обществу или нет... В последний вечер пребывания нашего в Каменке... Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России?... Пушкин с жаром доказал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество России... Я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование тайного общества... Раевский стал мне доказывать противное... в ответ на его выходку я ему сказал: мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало тайное общество, вы наверно к нему не присоединились бы? — «Напротив, наверно бы присоединился», — отвечал он. «В таком случае, давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: разумеется, все это только одна шутка. Другие тоже смеялись,



П. И. Пестель

кроме А. Л. ... и Пушкина, который был очень взволнован; он перед тем уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но, когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен». Смелость поэта, его убеждения были для всех очевидны, в его присутствии вели самые рискованные разговоры, однако от приема его в тайное общество по-прежнему, как и в Петербурге, воздерживались. Одной из веских причин этого были опасе-



С. Г. Волконский

ния руководителей декабристского общества за судьбу поэта в случае провала тайных обществ. Позже Сергей Волконский, которому было поручено в свое время принять Пушкина в тайное общество, признавался сыну: «Как мне решиться было на это... когда ему могла угрожать плаха»²².

Вернувшись из Каменки, Пушкин застал в Кишиневе необычайное оживление, связанное с событиями в Греции. По воспоминаниям А. Ф. Вельтмана, город был чрезвычайно взволнован. «На каждом шагу разгорался разговор о греческих делах: участие было необыкновенное. Новости разносились как электрическая искра по всему греческому

миру Кишинева». Пушкин с горячим сочувствием следил за ходом национально-освободительной борьбы народов Балканского полуострова, Молдавии и Валахии, восставших против турецкого ига. Он сам мечтал принять участие в борьбе греков. О ней он беседовал с главой тайного греческого общества «безруким князем» Александром Ипсиланти, с которым познакомился в Кишиневе.

В черновых набросках сохранился план поэмы о греческом восстании и записи о ходе борьбы греков. Восторженное письмо Пушкина 1821 г. об этой борьбе (по-видимому, адресованное В. Л. Давыдову), его вдохновенное стихотворение: «Гречанка верная! не плачь — он пал героем...», воспевающее героическую гибель грека в борьбе за национальную свободу — за «великое, святое дело», — совпадают по настроению с откликами декабристов на события в Греции. Это движение Пушкин рассматривает в исторической перспективе, в связи с судьбами России, с современной политической обстановкой. О восстании греков он писал из Кишинева, что оно будет «иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы».

2 апреля 1821 г. в кишиневском дневнике он записал: «Вечер провел у Н. Г. — прелестная гречанка. Говорили об Ипсиланти; между пятью греками я один говорил как грек: все отчаивались в успехе предприятия *этерии*. Я твердо уверен, что Греция восторжествует...». После поражения греческого восстания он испытал горькое разочарование.

6 февраля 1822 г. произошло потрясшее Пушкина трагическое событие: арестовали В. Ф. Раевского по обвинению в революционной агитации среди солдат и юнкеров и заключили в Тираспольскую крепость. Это было ударом для кишиневской управы тайного общества и для декаб-

ристов юга вообще — выбывал один из самых активных и убежденных революционеров. Пушкин, высоко ценивший Раевского и связанный с ним близкой дружбой, случайно узнав о грозившей беде, сумел предупредить его об аресте. Благодаря этому накануне Раевский успел сжечь некоторые важнейшие, наиболее компрометировавшие его бумаги и уберечь других членов тайного общества.

Из крепости Раевскому удалось переслать на волю два стихотворения — «Певец в темнице» и «К друзьям в Кишинев», в которых заключенный поэт перед лицом суровых испытаний и грозящей гибели продолжал стойко отстаивать свои убеждения и выражал уверенность в правильности избранного пути:

О мира черного жилец!
Сочти все прошлые минуты.
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!

Сочти часы, вступаю в сей свет,
Поверь протекший путь над бездной,
Измерь ее — и дай ответ
Потомству с твердостью железной²³, —

писал Раевский в стихотворении «Певец в темнице». В послании «К друзьям в Кишинев» он описывал суд «черного трибунала», грозившего ему «по воле царской» смертным приговором, и гнетущую обстановку тюремного заключения. Но здесь же размышления о постигшей его драматической судьбе сопровождаются гордыми словами несломленного борца:

О, пусть благое провиденье
От вас отклонит этот гром!
Он грянул грозно надо мною,
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не поблднел
И пред свирепую судьбою
Не приклонил рамен с главою!

Но вот последние слова:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил...²⁴

Весь облик Раевского, его мужественное поведение во время следствия и стихи, посланные из крепости, произвели на Пушкина сильнейшее впечатление. В стихотворении «К друзьям в Кишинев» содержалось и прямое обращение к Пушкину с призывом посвятить свой дар делу свободы:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь...²⁵

«Певец Кавказа», как называет Пушкина Раевский в этом стихотворении, должен воскресить в своих произведениях героическое прошлое русского народа, воссоздать исконный дух «вольности» народной.

Липранди вспоминал, что, когда он передал Пушкину стихотворение арестованного Раевского «Певец в темнице», Пушкин начал читать, но «вдруг остановился: «Как это хорошо, как это сильно... Но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо»». (Однако это было именно в его, Пушкина, «роде».) Липранди рассказывает, что, прочитав отрывок:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в темном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе... —

Пушкин «повторил последнюю строчку... и прибавил, вздохнув: «После таких стихов нескоро же мы увидим этого Спартанца»» (но никогда не увидел своего друга: «Спартанец», пробыв в заключении в Тирасполе до восстания декабристов, 20 января 1826 г. был доставлен в Петербург, заключен в Петропавловскую крепость и позднее сослан в Сибирь²⁶).

3. «Ужель надежды луч исчез?»

При всей мужественности, оптимистичности, свойственной личности Пушкина, у него были и времена упадка, настроений отчаяния, кризисных переживаний. Эти переживания проявлялись с особенной силой в 1822—1823 гг. и были вызваны переплетением моментов его идейной биографии и общей политической ситуации в России и Европе.

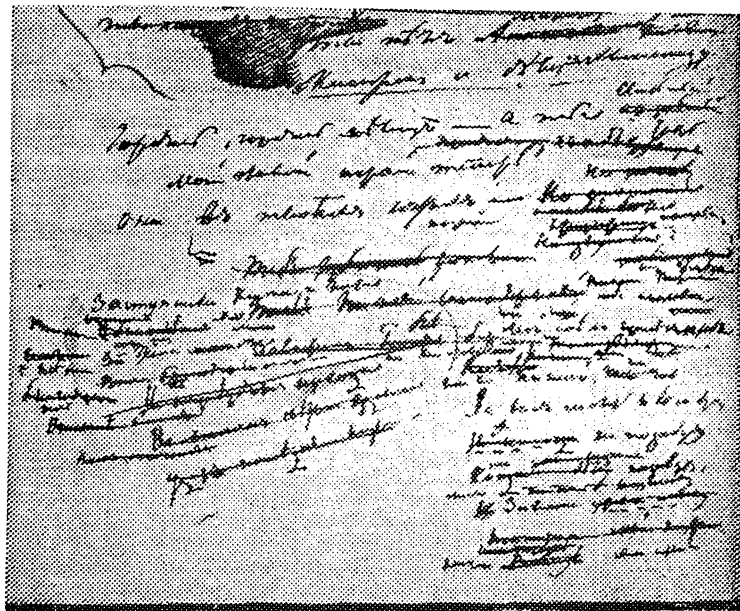
Какие же это моменты? Высылка из Петербурга и разочарование в тех из друзей и знакомых, которые не только не проявили мужества в опасную для него минуту, но порой способствовали распространению порочащих поэта слухов; в годы ссылки молчание петербургских «демократических друзей», побоявшихся переписки с опальным поэтом или оказавшихся равнодушными к его судьбе; эпизод в Каменке, когда «Пушкин уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит начало и он будет его членом», но затем все было обращено в шутку. Напомним трагические слова поэта: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». Из рассказа свидетеля этого эпизода Якушкина (о нем позже) следует, что эту «шутку» Пушкин воспринял как недоверие к себе и оскорбление его: ведь он с такой смелостью, невзирая на опасности, выступал с революционными стихами, открыто говорил всюду о своих взглядах! Пушкин, по словам того же Якушкина, позже с горечью говорил А. Г. Муравьевой перед ее отъездом к мужу в Сибирь: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести»²⁷.

Эти удары и разочарования переживались Пушкиным на фоне усиления повсюду политической реакции. В России она была выражена в таких фактах, как репрессии в связи с волнением Семеновского полка и жестокое усмире-

ние крестьянских восстаний, как преследование передовой петербургской профессуры и аракатеевский разгром лицейской системы воспитания (сказавшийся также на судьбе любимейшего из лицейских наставников Пушкина — Куницына). Особенно тяжелым был февраль 1822 г., когда арестовали в Кишиневе ближайшего друга Пушкина — В. Ф. Раевского — ему угрожали смертной казнью. В том же году у всех чиновников империи была отобрана подписка о непринадлежности к тайным обществам. Такова была обстановка в России.

В этот же период в Европе усилилась реакционная деятельность Священного союза, были удушены революции в Неаполе, Пьемонте, Испании. К влиянию на Пушкина фактов этого рода, известных (хотя еще полностью не систематизированных), следует добавить влияние кризисных явлений, колебаний, противоречий, которые были в те годы свойственны освободительному движению в России. Как только в Союзе благоденствия стала укрепляться идея военной революции, начался отход от тайного общества и его членов, и тех, кто готовы были действовать легальными и нелегальными методами на «общее мнение», но были чужды революционным методам. Роспуск Союза благоденствия в начале 1821 г. был воспринят непосвященными как ликвидация тайной организации вообще (о создании новых, строго законспирированных Северного и Южного обществ знали только его участники, в то время как вести о ликвидации Союза благоденствия широко распространились, в этом были заинтересованы его руководители).

Все эти факты, вместе взятые, отразился в тех мотивах скептицизма, разочарований, проверки верности избранного пути, которыми проникнут цикл стихотворений Пушкина 1821—1823 гг. («Я пережил свои желанья», «Ты прав, мой друг», «Свободы сеятель пустынный», «Кто, волны, вас остановил», «Бывало в сладком ослеплень»,



Фрагмент черновой рукописи стихотворения
«Андрей Шень» и наброска стихотворения
«Заступники кнута и плети...»

«Мое беспечное незнание», «Демон» и др.). Завершается этот цикл стихотворениями «Андрей Шень», «Заступники кнута и плети», «О Муза грозная сатиры». Три последние стихотворения отражают преодоление сомнений и разочарований. Наименование всей группы этих произведений циклом, разумеется, не следует понимать в смысле заранее запланированного: он представляет собой единство именно своей тематической логикой — кризис и его преодоление. В этом цикле запечатлен определенный этап

духовного развития поэта, его характера, мятежного и мятущегося, в котором соединены романтическая мечтательность и трезвый самоанализ и анализ окружающей жизни²⁸.

Отдельные стихотворения этого цикла неоднократно исследовались, но именно рассмотрение его в целостности позволяет увидеть здесь не только эволюцию самого поэта, но и отражение в нем *весьма важной ступени освобожденного движения 1821—1825 гг.*²⁹

Разочарование и скептицизм никогда, даже в самые тяжчайшие периоды, не были у Пушкина преобладающими: побеждали в итоге настроения борьбы, надежды. К этому же времени относятся и такие, подлинно революционные стихотворения, как «Кинжал», как послание В. Л. Давыдову с вдохновенными строками:

Ужель надежды луч исчез?
Но нет, мы счастьем насладимся..
Кровавой чаши причастимся..

Из воспоминаний современников (в особенности из упомянутых дневников П. И. Долгорукова) мы знаем, как решительно был настроен Пушкин в Кишиневе, с какой смелостью он занимался революционным обличением существующих порядков всюду и по любому поводу,— в разговорах, в беседах. Тем более понятно его разочарование, когда он наблюдал малодушие, «измену дружбы», случаи ренегатства, недоверие к нему тех, которые недавно еще фрондировали и сыпали «острые слова». Пушкин, находясь на юге, постоянно общался с членами тайного общества и связанными с ними лицами, был о такого рода фактах осведомлен, а перемены во многих людях наблюдал и сам. Кроме того, источником информации о негативных фактах и о настроениях в оппозиционных кругах был и А. Н. Раевский, скептик до мозга костей, черты которого несомненно нашли обобщение в пушкинском «Демоне». Поэтом не отвлеченно-элегической темой, а исповедной

перепроверкой верности своего пути был упомянутый цикл стихов*. Проследим развитие в них основных мотивов.

Внутренние импульсы их возникновения связаны, в числе других фактов, с обострившимся тогда у Пушкина скептическим отношением к ранее фрондировавшим людям, с которыми он столкнулся лично. Именно в этом смысле следует понимать строки одного из черновых набросков 1822 г., не имеющих у Пушкина названия:

Я говорил пред хладною толпой
Языком Истины свободной
Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородной

И здесь же:

Я замолчал

В зачеркнутых строках адрес обличения уточняется: речь идет о «малом числе» людей («И встретил я то малое число»), т. е. не просто о некоей безликой «толпе», а именно об «избранных», в которых он увидел «ничтожный блеск», малодушие. Черновик ясно свидетельствует, что разработка мотива шла именно в таком направлении: «малое число», о которых идет речь — это «наперсники молвы», те, перед которыми он говорил «устаами правды и свободы», но которые не оправдали его надежд, обнаружив «ничтожный блеск одежд», «предрассудки». То же — в другом черновом наброске «Бывало в сладком ослепленье» (1823):

Я верил избр<анным> душам
Я мнил — их явенье
Угодно властным небесам
Я слушал мненье³⁰

* Текстологически особенности работы Пушкина над этими стихами с приложением фотоснимков из автографов освещены в моей книге «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс» (Л., 1962, с.170—189).

Из всего этого комплекса мотивов и возникли глубокие умозаключения о том, что «глас правды благородный» бесполезен. Прослеживая ход развития замысла по наброску «Бывало в сладком ослепленье», можно заключить, как глубоко личные мотивы горького политического разочарования перерастают в историческое обобщение широкого плана. После признания, что мир уже не кажется «величавым и прекрасным», следует продолжение:

Чего, мечтатель мо<лодой>,
Ты в нем искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился?
[И взор я бросил] на людей,
Увидел их надме<нных>, низких,
Презренных, ветреных судей,
Глупцов всегда злодейству близких.
Пред их боязливой толпой,
Жестокой, ветреной, тупой,
Смешон глас правды благородный
Напрасен опыт вековой³¹.

Здесь же Пушкин, продолжая набросок, на полях начинает разработку, впоследствии использованную для стихотворения «Свободы сеятель пустынный». Среди вариантов этой разработки слова: «Зачем им», «К чему им», «К чему вам», «К чему вольный клич» и другие, в результате которых остаются написанные на полях отдельные незачеркнутые строки, еще не сведенные воедино:

Вы правы мудрые
Паситесь народы
Стадам не нужен дар свободы
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремущками³²

А в начале того же наброска «Мое беспечное незнанье» впервые возникает непосредственная тема «Демона»:

Мое спокойное незнанье
Строптивый демон возмущал

И я его существованье
С своим невинным сочетал³³.

Все это подтверждает, что в сознании Пушкина объединились и переплетались в ходе работы над упомянутыми набросками глубоко личная, автобиографическая тема, связанная с его сомнениями и разочарованиями, и размышления об общей исторической ситуации, о противоречиях, приливах и отливах в бурном потоке борьбы за свободу. Художественное мышление Пушкина и в данном случае обнаруживает одну из характерных тенденций — взаимосвязь «частного» и «общего»; лирическая тема поднимется до общечеловеческой и философской.

Последнее, что необходимо знать для понимания предыстории приведенных выше набросков, а также возникшего непосредственно за ними замысла элегии «Андрей Шенье», — это история замысла послания Пушкина В. Ф. Раевскому. По утверждению М. А. Цявловского, незаконченное стихотворение Пушкина «Ты прав, мой друг...» явилось ответом на стихотворение В. Ф. Раевского «Певец в темнице», написанное в 1822 г. в тюрьме. Но так ли это? Попробуем разобраться.

Стихи Раевского — это исповедь заключенного перед грозными испытаниями, перед угрожающей гибелью. Вместе с тем это проверка правильности собственного пути, постановка перед самим собой вопросов:

...Что составляло твой кумир?
...Ты знал ли дружества привет?
Всегда ль с наружностью холодной
Давал ли друг тебе совет
Стремиться к цели благородной?
...Поверь протекший путь над бездной,
Измерь ее — и дай ответ
Потомству с твердостью железной³⁴.

Пушкину было известно также другое стихотворение Раевского — «К друзьям в Кишинев» (того же 1822 г.).

Здесь к Пушкину был обращен призыв посвятить свою лиру революционным темам:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь...

В этом же послании Раевский говорил друзьям о себе:

...судьбу свою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил...³⁵

В стихотворении «Певец в темнице» поэт с горечью говорит о прожитом суровом пути («Мой век как тусклый метеор сверкнул»), о том, что он «не знал любви как страсти нежной» и т. д., он говорит также и о забитости «немного народа», который под «иглом дремлет». В стихотворении «К друзьям в Кишинев» к самым драматическим относятся строки о тюремном заключении, об иезуитизме «трибунала», грозившего «смертным приговором». Но при всем этом оба стихотворения проникнуты не разочарованием или скептицизмом, а историческим оптимизмом, верой в пробуждение дремлющей свободы, верой в грядущее восстание народа («Восстанет он с ударом силы»), призывают «друзей» продолжать борьбу. Но совершенно иным является набросок стихотворения Пушкина «Ты прав, мой друг...». В то время как Раевский призывал Пушкина последовать его пути революционного поэта («Прими сей лавр, певец Кавказа...»), воспевал свободу и подтвердил свою уверенность в правоте своего дела, Пушкин в этих набросках говорит о своем разочаровании и в любви, и в дружбе, и в борьбе, и в людях. Повторяем, разочарование было преходящим, временным, оно было вызвано упомянутым комплексом обстоятельств личной и общественной жизни, но именно пессимизмом окрашены эти наброски. Разумеется, Пушкин не мог бы отправить свое ответное послание Раевскому, которое начинается словами, совершенно противоположными обращению к нему автора «Певца в темнице», и говорить:

Ты прав, мой друг, напрасно я презрел
Дары природы благосклонной
Я знал досуг, беспечных Муз удел
И наслажденья неги сонной.

Но в чем же «прав» Раевский? Ведь он призывал Пушкина к гражданской поэзии, к поэзии борьбы и подвига, а вовсе не к тому, чтобы поэт обратился к «дарам природы». Адресовать находящемуся в тюрьме другу послание, где поэт выражал сожаление о том, что он «презрел... беспечных муз удел и наслажденья лени сонной» и пошел по иному пути, признавался в своей душевной депрессии и разочарованности в том, во что верил, — в этом бессмысленное противоречие. Вот почему Пушкин оставил работу над стихотворением «Ты прав, мой друг...». Поэтому никак нельзя согласиться с мнением М. А. Цявловского, что набросок «Ты прав, мой друг...» адресован В. Ф. Раевскому.

Но в том, что Пушкин намеревался ответить Раевскому, и ответить именно в форме поэтического монолога — исповеди, подсказанной самим Раевским, сомнений нет. Свидетельство этому — другой набросок, предположительно относящийся к маю—июню 1822 г.

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы.

Как развивался бы этот замысел, неизвестно. На этом же листе тетради Пушкин набросал пять строф (начало: «Не тем горжусь я, мой певец...»), которые также считают адресованными В. Ф. Раевскому.

Но так или иначе анализ цикла упомянутых стихов Пушкина 1822—1823 гг. приводит к выводу, что попытки разобраться в своих сомнениях, решить вопрос о верности избранного жизненного пути остались тогда неосуществленными. Единственное стихотворение этого цикла, доведенное до конца, — «Демон».

В трактовку этой группы стихов нужны некоторые уточнения. Когда в них осуждаются «избранные» люди,

которых не пробуждали призывы к борьбе и решительности, может показаться, что надежде на будущее нет места:

Паситесь, мирные народы,
Вас не разбудит чести клич.

Но это речи поэта-пророка. Именно с такой позиции обличение и вместе с тем призывы к преодолению бездействия и равнодушия — такова миссия поэта, выраженная позже в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом»:

Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальном поражает;
Героев утешает он...

Поэтому представляется неоправданной трактовка Б. В. Томашевского упомянутых стихотворений 1823 г. как разоблачение романтической теории «избранных» людей и ложного романтического идеала. В этих стихах, хотя и в романтической форме, подразумевались реальные впечатления окружающей обстановки. В той же романтической форме подразумевается и спад революционного движения, который обратил «поток мятежный» в «пруд безмолвный и дремучий» и призывы, и надежды;

Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разружьте гибельный оплот,
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

Сочетание мотивов разочарования и все-таки неугасимых надежд на будущее не закрывало, таким образом, возможностей выхода, духовного возрождения. И возрождение наступило разрешением кризиса. Но это произошло в изменившейся обстановке, когда Пушкин узнал, что «поток мятежный» не остановился.

К завершению «исповедального» цикла» стихов Пуш-

кина вернемся позже, а пока о том, что произошло с Пушкиным после разгрома кишиневского ответвления тайного общества.

4. Новые испытания и новые поиски

1

Арест В. Ф. Раевского, опала, постигшая М. Ф. Орлова (его не только отстранили от командования дивизией, но фактически и вообще от военной службы), увольнение П. С. Пущина, командовавшего бригадой в той же дивизии, вся резко изменившаяся обстановка в Кишиневе внушали поэту серьезную тревогу и о своей дальнейшей судьбе. Было очевидно, что рядом с ним предатели, доносчики. В январе 1822 г. тот же П. Долгоруков, который недавно записывал в своем дневнике дерзкие рассуждения Пушкина о правительстве, отметил, что во время обеда у Инзова с Сабаневым Пушкин «молчит». Деталь красноречивая. Позднее генерал И. В. Сабанев, командир 6-го пехотного корпуса, который был главным обвинителем В. Раевского, предложил Пушкину свидание с Раевским, находившимся в крепости, но Пушкин отказался, заподозрив провокацию: Сабанев отлично знал, что Пушкин и Раевский были друзьями. Осторожнее стал Пушкин и в разговорах с людьми, которым раньше доверял³⁶.

Необходимость уехать из Кишинева диктовалась еще и другим обстоятельством. Инзов не внушал властям доверия: он «прозевал» Раевского, покровительствовал Пушкину, который жил у него в доме, и давал неверные, успокаивающие сведения о его поведении («добрый и почтенный старик; доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные», — вспоминал о нем Пушкин). Вместо Инзова, исполнявшего должность наместника Бессарабской области, а затем и новороссийского губерна-

тора, был назначен граф М. С. Воронцов, человек весьма образованный, корректный в обращении со всеми, но злобный, самовлюбленный, падкий на лесть. Пока он не получил власти и не проявил этих черт характера, к нему даже в кругу друзей Пушкина относились с уважением. А. Тургенев хлопотал о переводе Пушкина в Одессу под начальство Воронцова и похвалялся в письме к Вяземскому: «Я два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно ему для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания, все есть...». Но как раз меценатство Пушкин ненавидел. Воронцов, как наивно полагал Тургенев, мог «спасти нравственность» поэта, но Пушкина возмущали именно эти заботы о его «исправлении». Позднее Пушкин писал Тургеневу о Воронцове, что тот «начал обходиться со мною с непристойным неуважением... Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое»³⁷.

Воронцов вскоре убедился, что Пушкин не намерен «исправляться», и, более того, этот вельможа стал спасаться, как бы царь, чего доброго, не заподозрил, что и он, подобно Инзову, покрывает поэта. А обстановка в Одессе была напряженной. В письме Воронцову Александр I указывал: «...Я имею сведения, что в Одессу стекаются из различных мест... многие такие лица, кои с намерением или по легкомыслию занимаются одними неосновательными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние». Происходило брожение молодежи, существовала даже тайная организация вольнодумцев, в городе распространялись нелегальные стихи Пушкина; у него были поклонники³⁸.

В январе 1824 г. военный генерал-полицмейстер 1-й армии И. Н. Скобелев писал главнокомандующему этой армией о стихах Пушкина и, в частности, о стихотворении

«Мысль о свободе», которое приписывалось поэту: «Не лучше ли бы оному Пушкину, который изрядные дарования свои употребил в явное зло, запретить издавать развратные стихотворения? Не соблазн ли они для людей, к воспитанию коих приобщено спасительное попечение... Я не имею у себя стихов сказанного вертопраха, которые повсюду ходят под именем «Мысль о свободе». Но, судя по выражениям, ко мне дошедшим (также повсюду читающимся), они должны быть весьма дерзки... Если бы сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше. На что снисхождение к человеку, над коим общий глас благомыслящих граждан делает строгий приговор? Один пример больше бы сформировал пользы, но сколько же, напротив, водворится вреда — неуместною к негодьям нежностью»³⁹.

За Пушкиным велась полицейская слежка, его переписку тайно просматривали. Положение резко ухудшилось, когда было перехвачено его письмо к одному из друзей, в котором Пушкин весьма сочувственно рассказывал об одном своем знакомом — англичанине-атеисте: «... беру уроки чистого афеизма... единственный умный афей, которого я еще встретил...». Это уже считалось преступлением. Впрочем, предлогов, чтобы вновь заняться Пушкиным, было и без того достаточно. К тому же у него завязался роман с женой Воронцова Елизаветой Ксавьерьевной, и их отношения стали, по-видимому, настолько близкими и доверительными, что она готова была помочь Пушкину тайком уехать в чужие края (в этом несостоявшемся побеге хотела помочь и жена друга Пушкина В. Ф. Вяземская).

Воронцов, взбешенный независимым поведением Пушкина и, возможно, зная написанную на него поэтом убийственную эпиграмму («Полу-милорд, полу-купец...»), стал добиваться его удаления из Одессы. В марте 1824 г. он писал Нессельроде, соединяя дипломатичность с подлым

лицемерием: «Никоим образом я не приношу жалоб на Пушкина; справедливость даже требует сказать, что он кажется гораздо сдержаннее и умереннее, чем был прежде, но собственный интерес молодого человека, не лишенного дарований, недостатки которого происходят, по моему мнению, скорее от головы, чем от сердца, заставляют меня желать, чтобы он не оставался в Одессе. Основным недостатком г. Пушкина — это его самолюбие. Он находится здесь и за купальный сезон приобретет еще больше людей, восторженных поклонников его поэзии, которые полагают, что выражают ему дружбу, восхваляя его и тем оказывая ему злую услугу, кружат ему голову и поддерживают в нем убеждение, что он замечательный писатель, между тем как он только слабый подражатель малопочтенного образца (лорд Байрон), да, кроме того, только работой и усидчивым изучением истинно великих классических поэтов он мог бы оправдать те счастливые задатки, в которых ему нельзя отказать. Удалить его отсюда — значит оказать ему истинную услугу. Возвращение к генералу Инзову не поможет ничему, ибо все равно он будет тогда в Одессе, но без надзора. Кишинев так близко отсюда, что ничего не помешает этим почитателям поехать туда; да и, наконец, в самом Кишиневе он найдет в боярах и в молодых греках достаточно скверное общество. По всем этим причинам я прошу ваше сиятельство испросить распоряжений государя по делу Пушкина. Если бы он был перемещен в какую-нибудь другую губернию, он нашел бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий». Донос был тонко рассчитан: Пушкин, «подражатель Байрона» (а ведь Байрон в «Чайльд-Гарольде» называл Александра I «царем рабов», «варваром»), сгруппировал вокруг себя «почитателей» настолько преданных, что они будут ездить к нему, если поэта не упрячут достаточно далеко. Вскоре Воронцов опять пишет тому же Нессельроде: «Избавьте меня от Пушкина»⁴⁰.

До Пушкина доходили вести о слезке и новой грозящей ему беде. Однако он не мог долее сдерживаться и открыто возмущался поведением Воронцова, который, пользуясь властью, не упускал случая унижить его. Так, например, Воронцов приказал Пушкину, как рядовому чиновнику, отправиться в несколько уездов собирать сведения о саранче. Вернувшись из этой «командировки», поэт решил уйти в отставку, ссылаясь на «слабое здоровье». Но попытка уйти с государственной службы, да еще опального человека, которого держали на ней «из милости», была воспринята как очередная дерзость вольнодумца, желавшего попросту выйти из-под опеки администрации. Прошение об отставке повлекло за собой весьма серьезные последствия: по распоряжению царя Пушкин был исключен из списка чиновников Министерства иностранных дел за «дурное поведение». Как писал Нессельроде, он «слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом вступлении его на общественное поприще». Царь «положил» сослать его в родительскую деревню в Псковскую губернию в Михайловское под строгий надзор местных властей⁴¹.

Невыносимое положение, в котором Пушкин оказался, вновь, как и перед высылкой из Петербурга, вызвало у него мысль о самоубийстве. Пушкин и раньше подумывал об этом и писал иносказательно брату: «крайность может довести до крайности». Слухи о том, что Пушкин застрелился, распространились в Петербурге и Москве. Когда слух дошел до Вяземского, тот сначала отнесся к нему несерьезно. 27 июля 1824 г., уже после того как состоялось решение о новой ссылке Пушкина, он писал жене из Остафьева в Одессу: «Если Пушкину есть возможность оставаться в Одессе, то пускай остается он до меня, чтобы провести несколько месяцев вместе. Мы создали бы что-нибудь! А если он застрелился, то надеюсь, что завещаю мне все свои бумаги. Если и вперед застрелится, то про-

шу его именно так сделать. Бумаги мне, а барыш — кому он назначит. Вот так! Теперь умирай он себе сколько хочет. Я ему не помеха!.. Привези все, что можешь, из стихов Пушкина. Целую его». Но когда Вяземский узнал, как в действительности решилась судьба Пушкина, он тревожно спрашивал Тургенева: «Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?.. Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку Пушкина как на смертельный удар, что нанесли ему. Не предвижу для него исхода из этой бездны»⁴².

Властями было сделано все, чтобы сломить Пушкина. 29 июля он подписался под приказом «незамедлительно» выехать из Одессы во Псков, «нигде не останавливаясь по своему произволу». Был точно указан и маршрут: через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск, с оговоркой — ни в коем случае не через Киев! (По-видимому, было известно, что там Пушкин мог увидеться с «подозрительными» людьми.)

2

Новые тяжкие испытания не сломили Пушкина в Михайловской ссылке. Его спасало то, что никем не могло быть отнято, что было основой его жизни — творчество, поэзия, страсть к открытиям, — он был новатором по самому существу своей природы.

В уединении он подверг перепроверке все сделанное ранее. Многие из своих произведений, вызывавших восторг передовой критики и читателей, он и прежде судил с неоправданной суровостью. «Руслан» — «холоден», «Кавказский пленник» — «зелен», «Бахчисарайский фонтан» — «дрянь», только началом «Онегина» он был доволен.

Но значение романтических поэм, написанных Пушкиным в 1821—1824 гг., было велико. Они сыграли поистине революционную роль в развитии русской литературы,

в ниспровержении догматических «правил» классицизма, в обновлении поэтических форм.

Для Пушкина романтизм — это не только литературное направление, но и мироощущение, но и определенная психология, и отражение неповторимого своеобразия человеческой личности. Пушкин однажды заметил о А. И. Якубовиче (будущем декабристе): «в нем много в самом деле романтизма», «он герой моего воображения». Черты романтизма были свойственны и личности самого Пушкина, они проявлялись в его необузданном темпераменте, мечтательности, необычайно развитом воображении, в его восхищении легендарными и сказочными героями, в поэтизации подвигов, героического риска.

Есть люди, которые остаются романтиками на всю жизнь, их мечтательность перерастает в пассивное отношение к жизни, они замыкаются в воображаемом мире. Подобный романтизм таит в себе опасность примирения с действительностью, какой бы она ни была. Романтизм Пушкина был иным, мятежным, он был порожден бурным временем, когда рушились привычные представления о неизменности существующего уклада, когда молодое поколение декабристской эпохи было воодушевлено мечтой о крушении старого мира. Эта мечта не исчезала. Но теперь в творческом сознании и мировоззрении Пушкина возникли новые задачи большей глубины и сложности.

Укрепившийся во время пребывания в Михайловском пристальный, творческий интерес Пушкина к русской истории проявился еще в Петербурге и особенно на юге. Этот интерес несомненно стимулировался прямым воздействием на него декабристов, ибо им принадлежит *инициатива* рассмотрения истории с точки зрения национальных традиций. Именно в период южной ссылки, когда Пушкин особенно тесно общался с декабристами, его исторические интересы по своему характеру входили в русло декабристских взглядов: влечение к темам мятежей, восстаний, ге-

роических эпох и крупных потрясений, темам, выдвинутым декабристами и обоснованным декабристской критикой и публицистикой как раскрывающие «истинный характер» народа.

В этом смысле и «Борис Годунов» — «повесть о многих мятежах», — написанный в Михайловском, в 1824—1825 гг. находится в русле декабристских интересов, но Пушкин обнаружил здесь более глубокое историческое мышление, чем свойственное в то время декабристам. В Михайловском он, размышляя над объективными закономерностями исторического процесса, вступает на путь преодоления просветительского понимания хода событий как воплощения сил «добра» и «зла».

Трагедия Пушкина не означала уход в прошлое, создание ее не было вызвано желанием отвлечься от тревог общественных и от злободневных тревог. Произведение это, оставаясь историческим в полном смысле этого слова, было в то же время остро злободневным. В письме к Вяземскому 13 июля 1825 г. Пушкин, до того обычно весьма критически отзывавшийся о своих произведениях, назвал «Бориса Годунова» «литературным подвигом», и это не было преувеличением.

Актуальность идей трагедии не в иносказаниях: Пушкин отказался от распространенного драматургического приема, когда устами исторических героев говорили современники (так он пробовал раньше и сам строить свою неоконченную трагедию «Вадим»). Теперь для него был неприемлем метод «препарирования» исторических фактов как своеобразной оболочки для пропаганды вполне современных политических идей. Неприемлема была и трактовка образа Бориса Годунова в одноименной думе Рыльева с ее тенденциозной назидательностью. Пушкин пришел к проблематике «Бориса Годунова» путем и художника и мыслителя (или, как позже говорил И. В. Киреевский, «поэта-философа»). Отвлеченное просветительское понима-

ние законов общественного развития обнаруживало свою слабость в столкновении с фактами действительности. Ведь борьба «народов и царей» неизменно тогда заканчивалась торжеством царей. Еще недавно, в Кишиневе, в разгар европейского освободительного движения, Пушкин верил в неизбежность победы восставших народов. Но революции были разгромлены, реакция торжествовала. «Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет», — с горечью признавал он в 1821 г. в послании В. Л. Давыдову. В стихотворении 1824 г. «Недвижный страж дремал...» эта же трагическая тема звучит еще сильнее:

...где же вы, вожители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

В этом стихотворении «владыка севера» Александр I представлен как глава и вдохновитель реакционного Священного союза, задушившего революционное движение на юге Европы.

Пушкин задумывался над причинами этой катастрофы, перед ним вставала сложная проблема народа, роли народных масс в кризисные моменты истории. Эту проблему можно было как-то прояснить, обратившись к таким историческим эпохам и событиям, в которых проявлялись общие закономерности и которые давали простор для аналогий с сегодняшним днем без насилия над историческими фактами.

Ситуация, положенная в основу сюжета «Бориса Годунова», была во многом характерна для русской истории в целом. Типичным было, в частности, вступление царя на престол типичным путем. Проблема «законности» царской власти, которую Пушкин затрагивал и ранее (ода «Вольность», «Бова»), оживленно обсуждалась в 20-е годы сре-

ди декабристов и в околodeкабристских кругах. Понятен повышенный интерес Пушкина к материалу десятого и одиннадцатого томов «Истории государства Российского» Карамзина, которые он называл в письме к Жуковскому «злободневными, как свежая газета».

Из карамзинской «Истории» Пушкин заимствовал почти всю чисто фактическую основу для своей трагедии, но он решительно отверг консервативную политическую концепцию историографа. «Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий», — писал Пушкин. Но он опирался, помимо «Истории» Карамзина, и на другие источники. В частности, читал никоновский список летописи. Именно под влиянием этого списка возник первоначальный вариант заглавия «Бориса Годунова»: «Летопись о многих мятежах...». Совсем иначе, чем у Карамзина, освещены у Пушкина отношения между Борисом и народом. В «Истории государства Российского» трагедия Бориса ограничена «наказанием свыше» за незаконный захват престола. Основной конфликт трагедии — конфликт самодержца и народа.

Борис во время голода отворил народу житницы, «сыскал работы», «выстроил им новые жилища», но не пытался и не мог сделать главного — дать народу свободу. Вот почему, по словам Гаврилы Пушкина, достаточно Самозванцу

Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Вот почему народ, который «всегда к смятенью тайно склонен», противостоит царю как грозная, враждебная сила. Ни власть, ни богатство не могут заменить Борису счастья чистой совести, которая понимается Пушкиным не как некая отвлеченная норма, но как нравственная ответственность за свое поведение перед самим собой, перед людьми, перед судом истории (таков и один из постоянных моти-

вов пушкинской лирики). В минуту откровенности, наедине с собой, царь Борис сам это признает:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе...

И снова:

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста...

Тактика Бориса Годунова предстает в трагедии не только как проявление характерных черт его личности, но как типичная для деспотической власти вообще, независимо от тех или иных субъективных качеств властителя.

С глубокой пронизательностью Пушкин показывает, что главная задача самодержца — «удержать смятенье и мятеж». Различные «благодения» и «щедроты» должны служить именно этой цели. Такая логика и приводит Бориса к умозаключению:

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдерживать народ...

Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Психология деспота диктует царю и предсмертные советы сыну:

...Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят...
...Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды...

Народность трагедии не столько в изображении самого народа (народ занимает здесь сравнительно небольшое место, хотя основной фон действия, — глухое недовольство и стихийный протест народных масс), — сколько, прежде всего, в том, что самая оценка событий дается под углом

зрения народных интересов и исходя из народных нравственных критериев. Проблема народа как субъекта истории не могла быть решена Пушкиным в трагедии: время для этого еще не пришло. Но знаменательны слова, которые Пушкин вложил в уста своего предка:

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.

Хотя без народа, без войска и цари не могут побеждать, однако «мнение народное» пока еще не решающая сила истории. Народ еще «безмолвствует», но и молчание его многозначительно. Народное «мнение» — это суд истории, его донесет в века летописец Пимен (кстати говоря, слова «добру и злу внимая равнодушно» — это не мораль Пимена, а представление о нем Григория, сам же Пимен пишет о «темных деяниях» царей и осуждает цареубийцу).

В трагедии народные требования внутренне глубоко чужды и царю и боярам, хотя они вынуждены в какой-то мере считаться с народом для достижения своих целей.

На вопрос Воротынского в первой сцене: «Как думаешь, чем кончится тревога?» — хитрый политик Василий Шуйский цинично раскрывает механику событий:

Чем кончится? Узнать немудрено:
Народ еще повоюет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.

Это говорится о человеке, которого Шуйский же называет:

Зять палача и сам в душе палач.

В третьей сцене («Девичье поле») раскрывается характерная для того времени забитость народа, внутренне рав-

нодушного к избранию царя, но плачущего, потому что «все плачут». А в сцене «Кремлевские палаты» Воротынский уже признает справедливость предвидения Шуйского, замечая: «Ты угадал». Так вся пушкинская трактовка отношения народа к царю оказалась противоположной господствовавшей официально-монархической концепции русской истории.

Как сила, чуждая народу, показано и родовитое боярство, враждебно настроенное по отношению к «высочке» — Борису. Резко осуждены в трагедии предательские планы Дмитрия Самозванца. Пушкин изображает его легкомысленным авантюристом, чье поведение явилось «предлогом раздоров и войны».

Так Пушкин пришел к новым поискам и новым решениям. Перед ним встала проблема народа в истории, проблема новая, выходящая за пределы философии декабризма и вместе с тем соотносимая с этой философией.

В это же время складывалась оригинальная пушкинская трактовка народности. Он посвятил этому вопросу статью «О народности в литературе» (1825), оставшуюся в рукописи.

По сравнению с взглядами критиков 20-х гг. на проблему народности, в том числе А. Бестужева и Кюхельбекера, взгляды Пушкина отличались несравненно большей глубиной, четкостью и последовательностью. Бестужев и Кюхельбекер главными критериями народности считали борьбу с подражаниями иноземному и обращение писателя к темам и материалу русской действительности (преимущественно историческому). «Безнародность», согласно Бестужеву, — это «удивление только к чужому». Отсюда, по контрасту, конструируется понятие народности, основами которой является «богатое, неисчерпанное лоно старины и мощного свежего языка». «Вот стихия поэта», — восклицает Бестужев, говоря о задачах создания самобытной литературы. Примерно таков же и ход мыслей

Кюхельбекера в его статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Пушкин был согласен с критикой слепого подражания иноземному, он в неоконченной заметке 1824 г. «О причинах, замедливших ход нашей словесности» продолжал мысль Бестужева об увлечении французским языком и пренебрежении языком родным как об одной из причин, замедливших «ход нашей словесности». Но для Пушкина решающим критерием народности был угол зрения писателя, отражение им специфических особенностей национального характера. В самом деле, ведь против подражания иноземному, за обращение к историческим темам, за русский язык ратовали (разумеется, демагогически) и реакционные националисты, сподвижники Шишкова, чуждые национальной культуре. Выступлений против самобытности, в защиту подражателей в журналах первой четверти XIX в. попросту не было: борьба велась по вопросам содержания национальной культуры и ее формы. В этом направлении и шли попытки Пушкина определить народность: главное в народности — это умение писателя воспроизвести неповторимое своеобразие народа как результат совокупности объективных исторических признаков. Эти признаки Пушкин и пытался суммировать в следующем определении: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»⁴³.

Отдельные элементы этой формулы мы встречаем в современной Пушкину критике. На «веру праотцов», «нравы отечественные» (наряду с летописями, песнями и сказаниями народными) указывает Кюхельбекер как на «вернейшие источники нашей словесности». Об «отпечатке не только народа, но века и места» как о признаке «образцовых дарований» упоминали Бестужев, Вяземский. Ближе

других к пушкинскому пониманию народности подошел связанный с декабристами литератор О. Сомов в статье «О романтической поэзии» (1823). Отличительные качества народной поэзии Сомов видит в «духе языка, в способности выражения», в свежести мыслей, в нравах, наклонностях и обычаях народа. Но эти элементы народности не были осмыслены критиками как некое единство, а в творческой практике поэтов-романтиков оказывались лишь средствами расцветивания художественного творчества «местными красками», простонародными выражениями и оборотами, образами народной фантастики, картинами природы и т. д. (именно, исходя из этой мерки, Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии» утверждал, что «печатью народности» ознаменованы во всей русской поэзии лишь некоторые места в «Светлане» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина). Такой широкой постановки вопроса о народности, как в статье Пушкина, в критике тех лет не было. Пушкин понимает народность как национальное своеобразие («особенную физиономию народа»).

Возникал, однако, вопрос, кто является носителем этого своеобразия, что подразумевается в понятии «народ»? ⁴⁴

В критике и публицистике того времени, затрагивавшей проблемы национальной культуры, четкости в трактовке понятия «народ» не было. Но замечательно, что у представителей передовой общественной мысли под понятием «народ» подразумевалась преобладающая часть населения, различные сословия, противостоящие феодальной аристократии. С таким пониманием народа мы встречаемся в самом выдающемся документе той эпохи — «Русской правде» Пестеля. В нем указано, что в народе имеется «до двенадцати» различных сословий, в числе которых дворянство, купечество, мещанство, крестьяне и т. д. «Отличительная

черта нынешнего столетия ознаменовывается явною борьбою между народами и феодальной аристократией, во время которой начинает возникать аристократия богатств, гораздо вреднее аристократии феодальной». Таким образом в состав народа входит и дворянство (исключая, по терминологии Пестеля, «закосневших в своих враждебных противу массы народной предрассудках») ⁴⁵.

В условиях феодально-крепостнической России начала XIX в. такая постановка вопроса носила явно прогрессивный и даже революционный характер, так как была основана на буржуазно-демократической идее равенства сословий. Но в идеологической системе декабристов «простой народ», — крестьянство, — которое было главным носителем специфических особенностей национального характера, еще не заняло своего места. Поэтому несколько расплывчатым, нечетким было и употребление самого термина «народ».

Как соотносится декабристская трактовка понятия «народ» (которая нашла выражение не только в «Русской правде» Пестеля, но и во многих произведениях декабристов) со взглядами Пушкина на народность литературы? Его статья о народности не дает материала для ответа на этот вопрос, но в других статьях он затрагивается непосредственно.

На первое место здесь следует поставить замечательнейшую статью Пушкина «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825). Изданием на французском и итальянском языках басен Крылова с предисловием Лемонте Пушкин воспользовался как поводом для изложения своих взглядов на основные вопросы национальной культуры и литературы. Именно в этой статье Пушкин, касаясь проблемы народности, не только имеет в виду народ в смысле народной массы, но и впервые ставит вопрос об антинародном, растлевающем влиянии на литературу аристократических верхов общества и двора. Лемонте в своем предисловии заметил, что исключительное

употребление французского языка в образованном кругу русского общества способствовало тому, что русский язык, обслуживавший «простонародные нужды», невольно сохранил свежесть, сердечность, простоту и чистоту выражений. Пушкин подхватил эту мысль и придал ей острое социальное содержание. По мысли Пушкина, исключительное употребление французского языка русской аристократией и ее равнодушие к родной литературе имело и свою положительную сторону: аристократия тем самым не могла оказывать вредное влияние на «язык и словесность». Свою мысль Пушкин иллюстрирует примерами из французской литературы: он напоминает, что придворные Людовика XIV напудрили и нарумянили «Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля», что аристократический салон навел холодный лоск вежливости на произведения писателей XVIII в. К этому положению Пушкин возвращался неоднократно. В частности, в 1834 г. он отметил наднациональный характер литературы, опутанной покровительством двора Людовика XIV, и заключил: «Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, аристократическая — немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы — ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, *составляет во всей Евр<опе> одно семейство*». Таким образом, и аристократия и ее литература характеризовались как совершенно чуждые народу и лишённые национального своеобразия.

В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» Пушкин назвал Крылова представителем духа русского народа. Это мнение Пушкина совпадало и с отзывами литераторов-декабристов — Бестужева, Кюхельбекера, но вызвало резкое возражение Вяземского, который по этому поводу писал: «...что такое за представительство Крылова?.. Как ни говори, а в уме Крылова есть что-то лакейское». Вяземский считал возможным именовать представителями русского народа Державина,

Потемкина, пушкинскую же характеристику Крылова назвал ошибкой, а в государственном отношении даже «преступлением de lèse-nation»*. Пушкин в ответном письме Вяземскому отшучивался: он, по-видимому, считал, что переубедить его невозможно. Спор имел свою историю. Пушкин еще в 1824 году упрекал Вяземского в том, что он унижает «нашего Крылова». Точка зрения Пушкина совершенно ясна. Он считал, что Крылов в своем творчестве отражал существенные особенности русского национального характера. «Отличительная черта в наших нравах,— пишет Пушкин, мотивируя свою оценку,— есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться»⁴⁸.

Здесь же Пушкин по-новому связывает вопрос о языке литературы с проблемой народности. В статье «О народности в литературе» он в отрицательном смысле упомянул критиков, которые «видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения». Пушкин отказывался видеть в языке источник народности литературы и дал в статье «О предисловии г-на Лемонте» точное определение языка как «материала словесности». Концепция развития русского языка, которую кратко, но с гениальной глубиной сформулировал Пушкин, прямо противоположна той, которую изложил в своем предисловии Лемонте. Принимая отдельные замечания Лемонте, Пушкин подверг критике его мнение о том, что владычество татар повредило развитию русского языка. Началами улучшения каждого языка, как утверждал Лемонте, являются «употребление его в высшем обществе и труды ученых». Свою крайне произвольную характеристику развития русского языка Лемонте заключил словами: «Такова стихия, данная русским для сообщения их мыслей». Пушкин же пишет в своей статье,

* Оскорбление нации (франц.).

что сущность процесса развития русского языка заключается в *слиянии простонародного и книжного языка*, и подчеркивает, полемически используя слова Лемонте: «*Такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей*».

Роль декабристов в спорах по основным проблемам развития русской национальной культуры была велика. Мировоззрение Пушкина складывалось под могучим воздействием декабристского движения. Но уже в первой половине 20-х гг. Пушкин подошел ближе, чем кто-либо из его современников, к пониманию роли народа как носителя национальной специфики и выразителя духовных богатств русской нации, от развития которых зависели и судьбы литературы и судьба литературного языка. Такое понимание вопросов народности было важным завоеванием русской культуры, литературного движения эпохи декабризма.

3

Зимой 1825 г. произошло важнейшее событие в жизни Пушкина в Михайловском: 11 января в заснеженную деревню неожиданно приехал «первый друг», «друг бесценный» — Иван Пущин. Сцены встречи и расставания друзей известны в лирическом пересказе самого Пущина. Об этом эпизоде писали многие исследователи, он упоминается во всех биографиях поэта. День 11 января 1825 г. с той или иной степенью подробности освещался Н. Л. Бродским, В. Б. Сандомирской, М. В. Нечкиной, Т. Г. Цявловской и особенно обстоятельно Н. Я. Эйдельманом⁴⁷.

Это был приезд ближайшего сверстника Пушкина (позже, в апреле, приезжал Дельвиг, затем Пушкин виделся с А. М. Горчаковым недалеко от Михайловского — в Лямонове у его родственников, но встреча эта оставила у Пушкина неприятное впечатление). Свидание с Пущиным было особенным: не просто радость самой встречи



И. И. Пушин

с Жанно, с которым не виделся с отъезда из Петербурга. От друга Пушкин мог узнать, что происходит в недрах освободительного движения. До того ему было известно лишь, что В. Ф. Раевский находится под арестом, уже три года.

После ликвидации Союза благоденствия и образования двух обществ — Северного и Южного Пушин стал одним из самых активных деятелей заговора. Пришло время разработки революционного плана, причем плана не отвлеченного, а форм борьбы, вариантов нового правления и конституции. Пушин не мог говорить на конспиративные темы с опальным поэтом. Воздержался он, как

бывало раньше, и от вопроса о вступлении друга в тайное общество. В мучительной борьбе с самим собой Пушкин и на сей раз не доверился другу. Позже, в мемуарах, он объяснял мотивы и психологическую сторону такого решения. Вспомнил он 1817 г. после окончания Лицея: «Не ручаюсь,— писал Пушкин,— что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, быть может, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался верить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 г., когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым сделать выбор со всею строгостью, и даже несколько лет спустя объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов».

Далее Пушкин продолжает: «Естественно, что Пушкин, увидя меня после нашей первой разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, выдавая чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделялся, успокаивал его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели...».

Вспоминал и о другом случае, о встрече у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все участники предполагаемого издания политического журнала: «Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним ... «Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай; право, любезный друг, это ни

на что не похоже!» Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно...»

О своих колебаниях и переживаниях Пущин рассказывал: «Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем невольно являлся вопрос: почему же, помимо меня, никто их близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия. Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решился броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия». «В этой постоянной борьбе с самим собою» Пущин встретил С. А. Пушкина, и тот рассказал ему о какой-то «последней проказе» сына, «что именно, припоминать» не хотелось. Но «эта встреча,— рассказывает Пущин,— совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество скроенным своим клеймом поможет ему повнимательней и поостроже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших скроенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном перед целию самого союза»⁴⁸.

Нужно добавить, что во время своего приезда в Михайловское Пущин и не мог принять его в тайное обще-

ство, потому что действительно это можно было сделать только с согласия руководящего ядра. Но следует подчеркнуть: при всех колебаниях по вопросу о приеме Пушкина в тайное общество нет ни одного указания на то, что Пушкин и декабристы имели при этом какие-либо расхождения *идейного характера*. Стремления к перемене государственного строя, уничтожению деспотизма и рабства были у поэта и декабристов едиными. Что касается вопросов по тем или иным моментам политического характера и форм изменения существующих порядков, могли быть разногласия. Ведь и в среде самих деятелей тайного общества постоянно велись споры такого рода, они не были препятствием для борьбы во имя общего дела.

По мере приближения к выработке реальных революционных планов отбор новых членов общества становился все более и более строгим. Хотя Пущин в Михайловском об этих планах не говорил в прямой форме, тем не менее дал другу понять, что общество существует, а бесспорный факт — решение Пущина вызвать Пушкина в Петербург после известия о смерти Александра I (и, следовательно, о возможном перевороте) говорит сам за себя. Если предвиделись решительные действия, то вопрос о формальном членстве Пушкина в тайном обществе уже не имел бы значения.

После беседы с Пущиным 11 января Пушкин понял: тайное общество существует, Пущин был его членом, «мятежный поток» не замер, «пламя» продолжало разгораться. Конечно, вряд ли Пущин сказал о каких-то ближайших сроках переворота. И все-таки предположение об ожидаемых в перспективе событиях возникает при чтении стихотворения Пушкина, посвященном лицейской годовщине «19 октября» 1825 г. Там есть знаменательные слова «Промчится год — и с вами снова я». Показательно и содержание тостов, произнесенных при встрече с

Пушкиным: «За Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее (т. е. за свободу)».

Пребывание Пушкина в Михайловском способствовало решительному перелому настроения Пушкина. Его прежние скорбные размышления о России, в которой он, «свободы сеятель», считал себя одиноким и «надежды луч», казалось, угасал, теперь сменились уверенностью в грядущих больших политических переменах. Вот тогда и закончился цикл его «исповедальных» стихов 1821—1823 гг., о котором выше шла речь (см. стр. 189). Разочарование в возможности революционных действий сменилось совсем иными настроениями. Так появилась в 1825 г. идея элегии «Андрей Шенье», замыкавшая цикл, и другие, еще более смелые замыслы. Сначала об элегии «Андрей Шенье»⁴⁹.

Самый процесс ее создания свидетельствует: именно это стихотворение стало исповедью, которую Пушкин пытался написать в 1821—1823 гг. и которая осталась тогда в незавершенных набросках. Пушкин решил воспроизвести теперь свою духовную биографию, рассказать о переживаниях — и не только о сомнениях, но и об их преодолении. Возникновение элегии «Андрей Шенье» в прямой связи с воспоминаниями о кризисе 1822—1823 гг. доказывается последовательностью работы Пушкина, отраженной в рабочей тетради: он стал писать элегию на обороте листа, где последовательно написаны, один за другим, заметка о «Демоне», отрывок «Куда, куда завлек меня враждебный гений...».

«Читал ты моего А. Шенье в темнице? Суди о нем как иезуит — по намерению», — писал Пушкин Вяземскому в июле 1825 г. Это замечание определенно говорит о намеренной двупланности стихотворения, о том, что замысел его требует расшифровки, что в нем заключается нечто отражающее личные переживания Пушкина, острые намеки на русскую действительность, хотя непосредствен-

ная тема произведения — переживания французского поэта Андрея Шенье перед казнью. С внешней стороны выбор темы должен был явиться надежной гарантией от цензурного запрета и всякого рода подозрений: Андрей Шенье, как предусмотрительно сообщал Пушкин в примечании к стихотворению, «прославлял Шарлотту Кордэ, осмеивал Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера». На самом деле идейный облик и политическая биография Шенье были весьма сложными: в примечании говорится лишь о последнем этапе его жизни. Андрей Шенье — автор ряда ярких революционных произведений, написанных до революции и в первые ее месяцы (таких, как «Свобода», «Гимн справедливости», «Игра в мяч» и др.). Первое время он примыкал к революции и лишь впоследствии стал противником тех, кто стоял за ее развитие, стал выступать против якобинцев, видя в их тактике лишь бессмысленный террор, и был казнен накануне контрреволюционного переворота. Но образ Шенье в стихотворении Пушкина существен не подробностями его политической биографии, а как пример поэта, преданного свободе: в такой трактовке Шенье, конечно, отразилось свойственное Пушкину неприятие якобинизма, но пафос стихотворения все же не в этом, а именно в прославлении самоотверженной борьбы за свободу. Вот почему цензура все же не пропустила в печать строки 21—64, содержавшие восторженные воспоминания Шенье о ниспровержении абсолютизма во время французской революции (от слов «Приветствую тебя, мое светило!» до «И буря мрачная минет»). В 1826 г. эти же строки распространялись в рукописных копиях с надписью «На 14 декабря», что вызвало, как известно, политический процесс, окончившийся для Пушкина установлением секретного надзора.

Стихотворение «Андрей Шенье» описывает думы и переживания поэта накануне казни. Но второй план сти-

хотворения заключался в том, что Пушкин выражал в нем свои собственные переживания, связанные с положением опального поэта, осужденного томиться в Михайловской ссылке. Б. В. Томашевский в результате сравнительного анализа этой элегии и стихов Шенье пришел к выводу, что «отдельные мотивы перекликаются с мотивами элегий Шенье, но сгруппированы они в порядке, не соответствующем их действительной последовательности в жизни Шенье». И еще: «Вместо того, чтобы дать индивидуальный портрет поэта в своеобразии его творчества, Пушкин останавливается на тех чертах его поэзии, которые сближали облик Шенье с самим Пушкиным»⁵⁰. Наличие такого подтекста указывает и эпиграф: «Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois s'éveillait...» («Так, когда я был печальным и пленным, моя лира все же пробуждалась...»).

В процессе работы над элегией «Андрей Шенье» в сознании Пушкина происходила сложнейшая координация представлений, переживаний, воспоминаний прошлого (периода южной ссылки), осмысленных новым жизненным опытом, с думами и переживаниями, вызванными сегодняшним днем. Отсюда — перевоспроизведение в ходе создания элегии поэтических формул, фразеологии, семантики, ассоциаций, которые содержались в его лирике предшествующих годов, но которые выступают теперь в новых связях, концентрируются вокруг новой идейно-эстетической доминанты.

Основная фразеология стихотворения характерна для политической лирики Пушкина, начиная от оды «Вольность», и совмещена с семантикой элегий, в которых он воплощал переживания и волнения начала 20-х гг. В черновом автографе «Андрей Шенье» не имеет авторского вступления («Меж тем как изумленный мир...»): оно было написано позже. Начало черновой рукописи представляет Андрея Шенье перед казнью как поэта, лира которого

«поет ... свободу», «не изменилась до конца». Далее следует вложенный в уста Шенье лирический монолог, развитие которого отражает совмещение реальных черт биографии Шенье, с одной стороны, и биографии, переживаний самого Пушкина — с другой. Иносказательной декларацией Пушкина звучат те места элегии, где говорится о прославлении поэтом свободы:

Приветствую тебя мое светило!
Я славил твой священный лик
Когда во мгле ты восходило
Когда он искрою возник.

Для развития идейно-эстетической доминанты стихотворения очень важна в черновике работа над второй частью, посвященной воспоминаниям о безмятежной юности, отданной любви, наслаждениям, песням и пирам:

Пора весны его любовью и тоской
Воскресла перед ним — любовниц нежны очи
И песни и пиры и пламенные ночи
Все вместе ожило и сердце унеслось
Далече

В окончательный текст далее вставлены переработанные строки отрывка, который находится в рабочей тетради после заметки о «Демоне»:

Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?

Все это — воспроизведение мотивов и семантики цикла «скептических» и «разочарованных» элегических набросков и стихов начала 20-х гг. Ассоциации с этим временем были у Пушкина так сильны, что в черновике осталось повторение мотивов из стихотворения «Ты прав, мой друг...» и набросков, связанных со стихотворением «Демон». Так, среди первоначальных вариантов черновика

«Андрея Шенье», там, где развивается мотив сомнений в правильности избранного пути, читаем:

Среди толпы презренной
Мне ль напрягать гражданские бразды.

Далее исправлено: «И тщетно напрягать гражданские бразды». Здесь (как и мотив «толпы презренной» в элегических набросках 1820—1823 гг.) автореминисценция из чернового автографа стихотворения «Свободы сеятель пустынный»:

В неблагодарные бразды
Бросал я семена живые.

К элегиям 1822—1823 гг. возвращает и заключительный мотив той части стихотворения «Андрей Шенье», которая развивает тему разочарования и скептицизма. Попытка поэта «направлять бессильные бразды», прославление свободы казались тщетными.

В «Андрее Шенье» элегическая тема сомнений и разочарований переходит в тему несокрушимости воли поэта, непреклонности его свободолюбивых убеждений, возникают энергичные, торжественные одические интонации:

...О, нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву Эвмениду!

Эти строки являются почти точным воспроизведением

биографии Пушкина как автора политической лирики: начав с воспевания «вольности», «закона» и «равенства» (ода «Вольность») и поплатившись за это ссылкой, он не только «не поник главой послушной», но продолжал быть верным своим убеждениям. Слова о воспевании «Кинжала» безусловно намекают на стихотворение Пушкина «Кинжал», что доказывается точными фразеологическими и смысловыми совпадениями отдельных мест.

«Андрей Шенье»

«Кинжал»

Ты звал на них, ты славил
Или Немезиду.
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву Эвмениду.

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
И высший суд ему <т. е. Марату>

послал

Тебя и деву Эвмениду.

Характерно, что слова «Кинжал и деву Эвмениду» Пушкин в черновике элегии подчеркнул. Многозначительность этого подчеркивания очевидна.

Автобиографический иносказательный смысл стихотворения «Андрей Шенье» основывается, следовательно, на решении вопроса о том, какой путь для поэта является единственно верным — безмятежных радостей и «мирных искушений» или политической борьбы с ее тревогами и опасностями. Если в оде «Вольность» Пушкин утверждал, в противовес «изнеженной лире», музу гражданской поэзии, то в стихотворении «Андрей Шенье» он, развивая эту же мысль, расширил ее до темы жизненной судьбы поэта-гражданина, призванного исполнить свой долг до конца, и ответил на собственные сомнения, отраженные в рассмотренных выше стихотворениях.

Как сделать смысл своей элегии-исповеди понятным для современников? Этот вопрос, естественно, встал перед Пушкиным: ведь, как он писал Вяземскому, судить о стихотворении нужно не только по его прямому содержанию, но и по авторскому «намерению». Безусловно, облегчало

понимание этой элегии (тем кругом читателей, на которой оно было рассчитано) написанное позже вступление, особенно третья строфа вступления:

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы,
Звучит незнаемая лира,
Пою. Мне внемлет он и ты.

«Он и ты...» «Ты» — это Н. Н. Раевский, которому Пушкин посвятил элегию «Андрей Шенье», — младший сын генерала Н. Н. Раевского, близкий друг Пушкина. Это посвящение важно не только в биографическом плане. Н. Н. Раевский — младший, в отличие от своего брата А. Н. Раевского (черты которого обобщены в «Демоне»), был человеком твердых и непоколебимых убеждений и влиял на Пушкина в самом положительном смысле, поддерживая и ободряя его в трудные для поэта времена.

Противоположность характеров А. Н. Раевского и его брата ясна и из отзывов о них отца, генерала Н. Н. Раевского. О первом отец писал: «Как он холодеет. Я ищу в нем проявлений любви, чувствительности и не нахожу их... Я думаю, что он не верит, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить» (ср. в пушкинском «Демоне»: «Не верил он любви...», «На жизнь насмешливо глядел...»). Иначе отзывался он о втором сыне — как о натуре живой, раскрытой любви, дружбе, одушевленной лучшими стремлениями. О нем Пушкин писал, обращаясь к своему другу еще в посвящении «Кавказского пленника»:

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:
И бури наде мной свирепость утомили...

Этот Раевский, по словам Пушкина, оказал ему «важные» и «незабвенные» услуги (письмо брату, Л. С. Пушкину, 24 сентября 1820 г.) Во время пребывания в южной ссылке Пушкин постоянно общался с Н. Н. Раевским, тот знал о его переживаниях, сомнениях и тревогах⁵¹. Это посвящение, поддержанное многозначительными словами во вступлении, сообщало произведению интимно-лирическую окраску. Современникам же, в особенности близким пушкинскому окружению, особое значение Н. Н. Раевского для Пушкина было памятно по столь выразительному посвящению «Кавказского пленника»,

Ко всему этому можно добавить, что, обращаясь по разным поводам к вопросу о своем положении и жизненном пути, Пушкин не раз вспоминал о «Демоне» и круге переживаний, с ним связанных. В том же 1825 г., когда элегией «Андрей Шенье» Пушкин заявил о непреклонности своих вольнолюбивых стремлений, верности однажды избранному пути, он писал Вяземскому, в ответ на его скептические уверения в бесплодности русской оппозиции и призывы образумиться, смириться: «Дружба входит в заговор с тиранством... *Не демонствуй, Асмодей*: мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы — но помилуй ... это моя религия; я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимай у схимника надежду рая и страх ада» (письмо Вяземскому 13 и 15 сентября 1825 г.). Эти слова надо рассматривать в том идейно-психологическом контексте, в котором написана элегия «Андрей Шенье».

Говоря об этой элегии, можно упомянуть о некоторых мотивах, не получивших здесь претворения, но предсказывающих в будущем новое развитие основной идеи. В конце первой части элегии, где поэт переходит от мотивов сомнений и сожалений к утверждению как единственно верного пути борьбы за свободу с ее тревогами, опасностями в черновике остались начатыми строки:

1. Гордись
2. Велению покорный <?>
3. Веленью послушный
4. Веленью жребия послушный
5. Судьбе велению

Пройдут годы, и эти слова возникнут в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», которое на новом, высшем уровне завершит тему гордости, непреклонности поэта, его великой исторической миссии,— тему, иносказательно развернутую в «Андрее Шенье».

Строки в черновике о судьбе поэта — о своей судьбе — еще раз подтверждают, как органично сочетаются два плана элегии — жизнь французского поэта и размышления о собственной жизни. Но в эту двупланность прорывается в минуту вдохновенного подъема черновик другого стихотворения, на этот раз непосредственно обращенного к современной российской действительности и отражающего гневную готовность покарать тех, кто является виновниками и правителями закрепощенной страны. В рукописи отчетливо видно (см. фотографию листа рукописи на странице книги 189), как это стихотворение словно обтекает с левой стороны листа строки элегии:

Заступники кнута и плети,
 О знаменитые князья,
 За все жена моя и дети
 Вам благодарны, как и я.
 За вас молить я бога буду
 И никогда не позабуду.
 Когда позовут
 Меня на расправу,
 За ваше здоровье и славу
 Я дам царю мой первый кнут.

Есть разные толкования этого черновика в литературе. Т. Г. Цявловская утверждает, что содержание этого произведения таково: «Помимо духа стихотворения, его направленности смысл его в том, что «Пушкина позовут дру-

названного Соболевским, лишь половину и сделала правильный вывод, что, следовательно, двадцать пять эпиграмм нам неизвестно (кстати говоря, вообще нам неизвестны многие стихи Пушкина и предстоит еще большая работа дальнейших разысканий и пересмотра всего фонда потайных стихов, которые дошли до нас в списках и авторства которых не установлены или подписаны другими именами). Надо также учитывать, что Соболевский мог именовать эпиграммами также и другие сатирические стихи, не эпиграмматического жанра.

В академическом издании Пушкина стихотворение «О муза пламенной сатиры!» датируется маем 1823 г. — первой половиной 1825 г. Этот растянутый промежуток работы над стихотворением не может быть мотивирован. Совершенно очевидно, что подпольный сборник стихов, да еще с подобным «предисловием», Пушкин мог задумать лишь в 1825 г. В 1823 г. после того, как он жил в Кишиневе после ареста и пребывания В. Ф. Раевского в заключении и когда сам Пушкин опасался за свою судьбу, не могло быть и речи о том, чтобы задумать сборник и пустить его в потайное обращение. Это могло быть сделано только в году 1825-м после свидания с Пушиным и появившихся надежд на переворот, после которого наступят новые, свободные времена. И казалось, эти времена наступают, но какими событиями обернулись надежды...



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

КАТАСТРОФА 14 ДЕКАБРЯ.— ПУШКИН В ПЕРИОД СЛЕДСТВИЯ И СУДА НАД ДЕКАБРИСТАМИ

1. Что знал Пушкин в Михайловской ссылке о катастрофе

О восстании 14 декабря Пушкин узнал с запозданием, и то случайно (весть о нем привез в Тригорское дворовый П. А. Осиповой, посланный в Петербург по хозяйственным надобностям). Еще позже узнает он подробности о поведении восставших на Сенатской площади, о том, как их рассеяли залпы правительственных войск, как тела не только убитых, но и ра-

ненных «бунтовщиков» спускали под лед Невы. Но все это для Пушкина откроется не скоро, а пока до его глухой деревни доходили лишь отрывочные вести и редкие официальные сведения.

Попытаемся восстановить по свидетельствам современников, иногда достоверным, иногда противоречивым, по письмам Пушкина, по некоторым загадочным его фразам, по рисункам, которые в тягостных размышлениях он набрасывал, картину его переживаний, намерений, его поведение в это время.

Когда Пушкин впервые услышал о восстании, он находился в Тригорском у П. А. Осиповой. Вот что рассказывала ее младшая дочь — М. И. Осипова (по записи историка М. И. Семевского):

«...Однажды, под вечер, зимой — сидели мы все в зале, чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у... печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал... Арсений — повар... Арсений рассказал, что в Петербурге бунт... всюду разъезды и караулы, насилие выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню.

Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, — но что именно, не помню.

На другой день — слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер и сам барин сочли это дурным предзнаменованием. Пушкин отложил свою поездку в Петербург, а между тем подоспело известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда»¹.

Рассказ этот неполный и в некоторых деталях сомнительный. Хотя Пушкин, при всей трезвости его ума, и

был суеверен, но отказался он от поездки в Петербург, надо думать, не столько из-за «дурных примет», сколько по другим причинам. Встреча с «духовным лицом» — монахом, который был осведомителем и следил за Пушкиным (это известно из мемуаров Пушкина, приезд которого в Михайловское 11 января 1825 г. сразу вызвал появление в доме рыжего Ионы), — грозила Пушкину серьезными последствиями. Монах в случае отъезда Пушкина сразу же сообщил бы об этом — ведь поэту было запрещено выезжать из Михайловского под страхом наказания (его вынудили дать подписку о невыезде), и это запрещение продолжало действовать в любых обстоятельствах.

Неточность рассказа М. И. Осиповой также и в том, что Пушкин порывался ехать в Петербург после восстания, а не в начале декабря, узнав о смерти Александра I. Между тем, если поездка в столицу в период междоусобия и до восстания еще могла иметь какой-то смысл, то ехать после восстания было не только бессмысленно, но и опасно: как рассказывал слуга П. А. Осиповой, «всюду разъезды, караулы, насилие выбрался за заставу...». Воспоминания Осиповой записаны несколько десятилетий спустя, а в то время, о котором она рассказывала, она была ребенком, знала об эпизоде с Пушкиным со слов матери и старших сестер и легко могла перепутать события.

Вполне вероятно, что Пушкин тотчас после получения в Петербурге известия о смерти Александра I написал Пушкину какое-то письмо, которое и было сигналом для его поездки в Петербург. Декабрист Н. И. Лорер об этом рассказывал со слов брата поэта Льва (и в этом рассказе также фигурирует причиной возвращения поэта с дороги встреча с попом: «Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «не будет добра!» и вернулся в свой мирный уголок».) Вызов Пушкина его другом Пушкиным возможен,

а рассказ Лорера подтверждается и еще одним обстоятельством: когда Пушкин был арестован, то Николай I, допрашивая его, задал вопрос: посылал ли он Пушкину письмо о готовящемся восстании (по-видимому, с этим вопросом связан и другой, который Николай I задал позднее уже самому Пушкину: что бы он сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге?)².

Но наиболее достоверные сведения о несостоявшемся тайном отъезде Пушкина содержатся в воспоминаниях М. П. Погодина:

«Вот... рассказ Пушкина, не раз слышанный мною при посторонних лицах. Известие о кончине императора Александра Павловича и происходивших вследствие оной колебаниях по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться туда... Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву... и от него записаться сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути, из Тригорского в Михайловское, — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогается от подъезда. Глядь, в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне.

«А вот каковы были бы последствия моей поездки, — прибавлял Пушкин. — Я рассчитывал приехать в Петер-

бург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я... попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»³

Достоверность этого рассказа подтверждена, кроме мелких деталей, П. А. Вяземским в письме к Я. К. Гроту.

Итак, Пушкин остался в Михайловском. Теперь публиковались официальные сведения (они тоже приходили с запозданием) — одно тревожнее другого.

После первого краткого сообщения о событиях 14 декабря, опубликованного в газетах в середине месяца, 29-го последовало «Подробное описание происшествия» со списком главных участников, в их числе упомянуты Пушкин и Кюхельбекер. В начале января было извещено об образовании Следственного комитета для расследования «ужасного заговора», а также о восстании на юге Черниговского полка. 28 января — сообщение об аресте Кюхельбекера в Варшаве (раньше указывалось, что он, «вероятно, погиб во время дела»). 29 января в печати сообщалось о главнейших результатах «близкого к окончанию следствия», выяснившего цели тайных обществ, и только 4 июня — об окончании следствия и назначении Верховного уголовного суда. Но самое страшное известие последовало в середине июля, когда был опубликован манифест от 13 июля об окончании суда, где было сказано: «преступники восприяли достойную их казнь». В нескольких номерах «Русского инвалида» 16—19 июля были помещены: доклад Верховного уголовного суда Николаю I с «рописью государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осужденным к разным казням и наказаниям» и сообщением о «пощадах»: выпиской из протокола Верховного уголовного суда от 11 июля о замене казни четвертованием казнью через повешение. Пушкин был знаком со всеми, осужденными к смертной



Н. М. Муравьев

казни четвертованием: П. И. Пестелем, К. Ф. Рылеевым, С. И. Муравьевым-Апостолом, М. П. Бестужевым-Рюминым и П. Г. Каховским. Из тридцати одного сначала приговоренных к смертной казни отсечением головы Пушкин знал одиннадцать: С. П. Трубецкого, В. К. Кюхельбекера, А. И. Якубовича, В. Л. Давыдова, А. П. Юшневского, А. А. Бестужева, Н. М. Муравьева, И. И. Пущина, С. Г. Волконского, И. Д. Якушкина, Н. И. Тургенева; из семнадцати осужденных по второму разряду к «политической смерти» и ссылке в вечную каторжную работу поэт был знаком с М. С. Луниным и Н. В. Басаргиным, из шестнадцати осужденных по четвертому разряду в каторжную работу на пятнадцать лет — с П. А. Мухановым.



М. С. Лунин

Свыше семи месяцев продолжалась для Пушкина пытка неведением о судьбе «друзей, товарищей, братьев» (ведь переписка, в которой можно было хотя бы инскавательно говорить на эту тему, была исключена). Эту пытку лишь утяжеляли сведения, которые он узнавал из присылаемых официальных источников и доносившихся слухов, путаных, неясных... Но, сопоставляя в новом свете известные ему ранее факты, он угадывал многих участников восстания прежде, чем их имена были обнародованы в следственных материалах. Еще в первых числах января 1826 г. его перо рисовало образы Пестеля и Рылеева, затем снова — Пестеля, Рылеева и, в добавление, — Пущина, Кюхельбекера. Еще позже он рисует на полях рукописи

портреты В. Раевского, Муравьева-Апостола, Трубецкого, Рылеева, Пушкина и среди них помещает и свой автопортрет...

2. Вопросы о Пушкине в делах «Высочайше утвержденной Следственной комиссии о злоумышленных обществах»

После того как произошло восстание декабристов, слухи о том, что Пушкин был одним из виднейших деятелей тайного общества, получили широчайшее распространение. Об этом говорят многие письма и свидетельства. Так, рядовой дворянин П. А. Болотов, в письме из Кром, Орловской губернии, адресованном отцу, писал: «В числе сих возмутителей видим имена известного Рылеева, Бестужевых, Кюхельбекеров как модных журнальных стихотворцев, которые все дышали безбожною философию согласно с модным их оракулом Пушкиным, которого стихотворения многие твердят наизусть и, так сказать, почти бредят ими»⁴.

Сведения о том, что Пушкин замешан в дело декабристов, просочились даже за границу. Чешский писатель Ф. Л. Челяковский в феврале 1826 г. писал из Праги своему корреспонденту: «Из России приходят печальные вести. В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения, оба поплатятся головой»⁵.

Декабриста М. И. Муравьева-Апостола, одного из вождей восстания, Челяковский здесь спутал с писателем М. Н. Муравьевым, но представление о том, что Пушкин замешан в заговоре, показательно. Само имя Пушкина возникало в этой связи не случайно. Когда был опубликован список привлеченных к следствию, агент тайной полиции И. Локателли доносил фон Фоку: «Все чрезвы-



М. И. Муравьев-Апостол

чайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков»⁶.

Слухи о том, что происходит в Следственной комиссии, что там то и дело всплывает имя Пушкина, должны были широко распространиться в Петербурге, а затем и в других местах. Ведь в Комиссии были лица, тесно связанные с такими близкими к Пушкину людьми, как Жуковский, А. Тургенев и др. В частности, доступ к следственным делам имел бывший арзамасец Д. Н. Блудов. Управляющим делами Комиссии был А. Д. Боровков (один из руководителей Вольного общества любителей российской сло-

вности). В Следственной комиссии работал чиновником А. А. Ивановский, связанный с литературными кругами.

В ходе следствия стало известно, что стихи Пушкина читались устно, переписывались, что ранее они распространялись декабристами в качестве своеобразных воззваний, листовок.

Декабристы в своих показаниях неоднократно говорили о значении стихов Пушкина для революционной пропаганды.

Необходимо, однако, поставить вопрос: почему декабристы называли на следствии имя Пушкина и признавали его роль в агитации за свободу? Ведь эти признания делались Следственной комиссии, тюремщикам декабристов! Значит ли это, как считал М. Н. Покровский и другие историки его школы, что декабристы раскаялись, растерялись, проявили малодушие и что в силу этого они не остановились и перед тем, чтобы привлечь Пушкина к процессу?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо прежде всего выяснить некоторые особенности следствия.

14 декабря 1825 г., в то время когда с камней Сенатской площади еще соскребывали кровь, а тела не только мертвых, но и раненых солдат спускали под лед Невы, Зимний дворец превратился в нечто подобное полицейскому участку. Следствие фактически началось в тот же день, причем Николай I, который был главным организатором следствия и главным сыщиком, применял очень сложную, инквизиторскую систему допросов. Он не останавливался ни перед какими средствами, чтобы вырвать признания у арестованных.

Иногда Николай I прикидывался другом народа, реформатором, готовым мирным путем выполнить программу декабристов. При этом он оказался таким актером, что даже столь убежденный декабрист, как П. Каховский, с жаром говорил ему о бедствиях народа и, услышав слова



П. И. Каховский

его о намерении быть «отцом отечества», поддался обману. Каховский писал царю из крепости: «Добрый государь, я видел слезы сострадания на глазах ваших». Иногда Николай действовал даже «лаской». Так, А. Гангеблова он «отечески» упрекал: «Что вы, батюшка, наделали...» На иных он пытался воздействовать «заботой» о семьях и т. д. Только утонченным лицемерием царя можно объяснить то, что декабристы, находясь в крепости, писали ему письма и советовали, каким образом можно и нужно реформировать Россию⁷.

Таков один из приемов поведения царя во время следствия. По отношению же к другой группе декабристов

Николай применял угрозы сгноить в крепости, приказывал заковать в кандалы, посадить на хлеб и воду. Он пользовался разнообразными приемами деморализации, подавления воли, напоминал о горестных судьбах родных — родителей, жен. На заседания Комиссии заключенных вели плотно закрыв голову. Открыв глаза, они увидели, что находятся в ярко освещенной комнате перед лицом грозного синклита. От них грубо требовали немедленных, не раздумывая, ответов, хитро сталкивали на очных ставках, изнуряли составлением письменных показаний. И были люди, которые либо поверили в царя, либо, не выдерживая подобных истязаний, смалодушничали.

Однако изучение следственных дел говорит о том, что, несмотря на мучительную систему допросов, и те декабристы, которые хорошо знали о позициях Пушкина, стремились, и не сговариваясь, выгородить поэта, утаить его связи с «заговорщиками», скрыть, что пути распространения его стихов вели, в конечном счете, к автору.

Возникал ли в процессе следствия вопрос о том, был ли Пушкин членом тайного общества? Изучение следственных дел показывает, что подобный вопрос возникал неоднократно.

Одному из первых он был задан ближайшему другу Пушкина — И. И. Пущину. Николай I, лично допрашивая Пущина 17 декабря, спросил его, посылал ли он своему родственнику (Николая навела на эту мысль близость фамилий — Пушкин — Пущин) Пушкину письмо о готовящемся восстании. На это Пущин ответил, что он «не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, а товарищ его по Царскосельскому лицей; что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров». Итак, Пущин, подчеркивая, что Пушкин — великий национальный поэт, вместе с тем стремился внушить мысль о его полной непричастности к деятельности тайных обществ⁸.

Вопрос о том, был ли Пушкин членом тайного общества возник при допросе И. Н. Горсткина. Его спросили: «Когда и у кого бывали вы на совещаниях общества? В чем заключались эти совещания? Кто разделял их и кто вообще были известные вам члены?»

Рассказывая об этих совещаниях, Горсткин показал, что был два—три раза у Ильи Долгорукова и что у него же «Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой»⁹.

Как уже отмечалось М. В. Нечкиной, признание Горсткина подтверждает, что в десятой главе «Евгения Онегина» Пушкин исторически достоверно, на основании собственных впечатлений писал о декабристских сходках в его присутствии.

Показания Горсткина даны 28 января. А несколько месяцев спустя, в апреле, Следственная комиссия задала иезуитский вопрос М. И. Муравьеву-Апостолу: пародировал ли Пушкин «Боже, спаси царя» на собрании членов общества в Петербурге. На это Муравьев-Апостол ответил: «При сем совещании не было Пушкина, который никогда не принадлежал обществу»¹⁰.

Привлеченный к следствию капитан 5-й конно-артиллерийской роты М. И. Пыхачев заявил, что М. П. Бестужев-Рюмин «раздавал членам» стихи Пушкина и что он, Пыхачев, полагает Пушкина членом общества¹¹. Таким образом, из привлеченных к следствию двое назвали Пушкина (Горсткин косвенно, Пыхачев прямо) членом тайного общества.

В то же время в следственных делах имеется значительное число упоминаний о революционизирующей роли политической поэзии Пушкина и об использовании ее в ходе декабристской пропаганды. Однако следует отметить, что упоминания о Пушкине, не вынужденные ходом следствия, насчитываются в показаниях декабристов единицами. Большею частью эти упоминания сформулированы



М. П. Бестужев-Рюмин

таким образом, чтобы представить Пушкина как можно менее причастным к декабристскому движению. Изучение материалов следствия приводит к выводу, что только Пыхачев назвал имя Пушкина по своей инициативе. Но Пыхачев явился случайным элементом среди декабристов и участия в движении не принимал. Недаром он находился в крепости всего два месяца, затем был перечислен в другую роту, а впоследствии получил повышение в чине.

Однако кажется непонятным: почему имя Пушкина то и дело всплывало на следствии, было это инициативой самих декабристов или результатом иных причин? Для

ответа на этот вопрос следует обратиться опять-таки к системе ведения следствия. Всем допрашиваемым было задано семь вопросов. Седьмой из этих вопросов гласил:

«С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей: от сообщества или внушений других, или от чтения книг, или от сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?»¹²

Этот чрезвычайно опасный и для судьбы Пушкина вопрос преследовал, конечно, чисто сыские задачи: ответы на него должны были, согласно замыслу Комиссии, обнаружить как можно больше участников движения и «прикосновенных» к нему.

Были декабристы, которые прямо уклонялись от ответа на седьмой вопрос. Так, Лунин сказал: «Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить». Однако в некоторых случаях положение отвечающих было более сложным. У ряда декабристов были найдены стихи Пушкина, и они вынуждены были этот факт объяснить¹³.

И все же друзья и ближайšie знакомые Пушкина, которым он читал и передавал свои стихи и с которыми был лично связан, не только не называли его имени как автора «крамольных» политических стихотворений, но не упоминали его даже в числе своих знакомых.

Одним из первых был допрошен на следствии Рылеев. В ответ на седьмой вопрос Рылеев заявил, что источником его свободомыслия являются заграничные походы и заграничная публицистика, причем закончил так: «Поистине себя одного должен обвинять во всем»¹⁴.

Своим ответом Рылеев фактически отрицал влияние на формирование своих взглядов русской литературы и влияние Пушкина (хотя, как уже говорилось, всего за месяц до восстания Рылеев писал Пушкину: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подра-

жают»). И в дальнейшем Рылеев ни разу не упомянул имени Пушкина в ходе следствия.

Александр Бестужев, отвечая на седьмой вопрос, показал, что свободомыслие он заимствовал из книг, но упомянул лишь иностранных писателей (в частности, Герена и Бентама). Бестужев прибег к такому ходу: «Что же касается до рукописных русских сочинений, они слишком маловажны и ничтожны для произведения какого-либо впечатления. Мне же не случилось читать из них ничего, кроме «О необходимости законов» (покойного Фонвизина), двух писем Михаила Орлова к Бутурлину и некоторых блесток А. Пушкина стихами...». Это говорил Бестужев, который не только в письмах к Пушкину, но в обзорах «Полярной звезды» с патриотической гордостью говорил о русской литературе, о Пушкине, о влиянии его стихов¹⁵.

Такого рода ответы на седьмой вопрос Следственной комиссии свидетельствуют о тонкой тактике выгораживания декабристами Пушкина и других вольнолюбивых поэтов. Называя в качестве главного источника вольнолюбия преимущественно зарубежную литературу, декабристы тем самым освобождали себя от необходимости называть имена русских современников.

С занимающей нас точки зрения большой интерес представляет дело Кюхельбекера. Когда Кюхельбекер был арестован при попытке перейти границу, один из первых заданных ему вопросов — о его знакомствах, с кого же он начинает перечень своих знакомых? С Греча и Булгарина! Затем идут такие благонамереннейшие люди, как Жуковский, Карамзин, слепой поэт Козлов... Пушкина Кюхельбекер так и не назвал¹⁶.

В дальнейшем, отвечая на вопрос о причинах свободомыслия, о влиянии рукописных сочинений и знакомых, Кюхельбекер уклончиво заявил, что был «увлечен общим потоком», что никто его не увлекал.

И. И. Пущин, в своих позднейших мемуарах восторженно писавший об огромном влиянии пушкинских политических стихов, отвечая на седьмой вопрос, сказал, что он стал человеком вольнолюбивым по естественному ходу духа времени. «Никто,— писал он,— не способствовал к укоренению сих мыслей во мне». Имя Пушкина в ходе следствия по делу Пущина ни разу не возникало¹⁷.

Весьма показателен ответ П. Я. Чаадаева. Чаадаева задержали в августе 1826 г. при возвращении из-за границы. Ближайший друг Пушкина, которому адресовано знаменитое послание «Любви, надежды, тихой славы...», при допросе по поводу найденных у него стихов Пушкина заявил, что получил их от кого-то в Швейцарии, «не обращал никакого внимания на их содержание, сохранил их единственно у себя за достоинство их в литературном смысле»¹⁸.

Остроумно ответил на седьмой вопрос Петр Бестужев, двадцатитрехлетний мичман, самый молодой из замечательной семьи Бестужевых. Он показал: «Мысли свободные зародились во мне уже по выходе из корпуса, около 1822 г., от чтения различных рукописей, каковы: «Ода на свободу», «Деревня», «Мой Аполлон», разные «Послания» и проч., за которые пострадал знаменитый (в других родах) поэт наш А. Пушкин»¹⁹.

Здесь характерны два момента: названы стихотворения, за которые Пушкин уже «пострадал» (то есть был отправлен в ссылку). Далее отмечается, что Пушкин — поэт «знаменитый в других родах», то есть подразумевается, что прошлые «грехи» поэта не определяют его облика.

Барон В. И. Штейнгейль признался: «...Разные сочинения (кому не известные?) Баркова, Нелединского-Мелецкого, Ясвижского (?), кн. Горчакова, Грибоедова, Пушкина. Сии последние вообще читал из любопытства и решительно могу сказать, что они не произвели надо мною

иного действия, кроме минутной забавы: подобные мелочи игривого ума мне не по сердцу». И здесь налицо намеренное снижение значения пушкинских стихов пред Следственным комитетом: «мелочи игривого ума». Но позже Штейнгейль, обманутый Николаем I и деморализованный следствием, писал царю из Петропавловской крепости: «...высшее заведение для образования юношества, Царско-сельский лицей дал несколько выпусков. Оказались таланты в словесности, но свободомыслие, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в отечестве, при вступлении в свет... Непостижимо, каким образом... пропускались статьи, подобные «Волынскому», «Исповеди Наливайки», «Разбойникам братьям» и пр. Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой»²⁰.

В делах имеются сведения, что декабристы сжигали стихи Пушкина накануне ареста. Так, сжигали пушкинские стихи Лорер, Гореславский, Песталь, Давыдов. Тем самым уничтожались и улики, которые могли повлечь в следствие и самого Пушкина.

Характерная деталь: декабрист Н. И. Лорер в своих показаниях Следственному комитету упорно отрицал показания А. И. Майбороды о том, что он перед арестом сжег сочинения Пушкина. Лорер делал вид, будто не знает, что «стихи Пушкина сомнительны», указывая на их распространенность: «...насчет же сочинений Пушкина я чистосердечно признаюсь — я их не жег, ибо я не полагал, что они сомнительны; знал, что почти у каждого находятся, — и кто их не читал?» Были, как уже говорилось, и прямые указания на влияние стихов Пушкина в начале следствия. Мичман В. А. Дивов показал: «Свободный образ мыслей получил... частью от сочинений рукописных; оные были свободные стихотворения Пушкина

и Рылеева и прочих неизвестных мне сочинителей». В таком же духе и показания прапорщика В. А. Бечаснова: «Зная, что я охотно занимаюсь книгами и поэзией, советовали <офицеры> бросить романы, как не заслуживающие потери времени, предлагая читать хороших писателей — трагедии — стихи соч. Пушкина и других, постепенно разгорячивших пылкое воображение»²¹.

Штаб-ротмистр М. Н. Паскевич писал в своем ответе: «Первые либеральные мысли заимствовал я прошлого 1825 года частью от попавшихся мне книг и от встречи с людьми такого мнения, а более от чтения вольных стихов господина Пушкина; я, признаюсь, был увлечен его вольнодумством и его дерзкими мыслями, но, не находя в самом себе подобных чувств, я по малодушию моему и без всякого ж к тому таланта хотел было подражать ему и перевел вышенаписанные стихи».

Но наибольшая опасность для Пушкина возникла при проведении следствия по делу Михаила Бестужева-Рюмина, одного из самых выдающихся деятелей движения.

При допросе Бестужева-Рюмина Николай I применил особенно жесткие меры. Об этом свидетельствует отчаянное письмо Бестужева-Рюмина, который писал Николаю I: «Единственная милость, о которой я хотел бы Вас просить, не принуждать меня назвать имена лиц — и взамен этого я имел намерение умолять Ваше Величество сделать меня ответчиком за все то, что могли замышлять члены общества, в котором я состоял». И дальше: «Прошу у Вас о том, чтобы Вы не наводили на меня страх»²².

И вот оказалось, что самое острое положение для Пушкина возникло при допросе Бестужева-Рюмина. В январе, отвечая на седьмой вопрос Следственного комитета, Бестужев-Рюмин показал, что «первые либеральные мысли почерпнул в трагедиях Вольтера». Далее упоминаются занятия естественным правом, политической экономией и т. д. А затем следует такая фраза: «Между тем

езде слышал стихи Пушкина, с восторгом читанные. Это все более и более укореняло во мне либеральные мнения»²³.

Но сама по себе эта фраза о Пушкине в таком контексте поэту ничем не грозила. Опасность возникла из-за другого. Упомянутый выше Пыхачев, назвавший Пушкина членом тайного общества, заявил, что Михаил Бестужев-Рюмин «раздавал всем членам» стихи Пушкина. Другой из привлеченных к следствию, Петр Громницкий, поручик Пензенского пехотного полка, сказал, что Бестужев-Рюмин, агитируя за царубийство, читал стихи Пушкина «Кинжал». «Предложенные мне теперь высочайше утвержденным комитетом вопросы привели мне на память обстоятельство, о котором умолчать не желаю,—показал Громницкий.—В лагере же при Лешине Бестужев, случившись у М. М. Спиридова (члена Общества соединенных славян.—Б. М.), где и я был с А. И. Тютчевым, в разговорах своих выхвалял сочинения Александра Пушкина и прочитал наизусть одно, приписывая оное ему, хотя менее дерзкое, чем стихи М. Н. Паскевича, но не менее вольнодумное. Вот оно...» (Далее следует стихотворение Пушкина «Кинжал», позже тщательно зачеркнутое.) «...Произнесши стихи сии, Бестужев спросил: «Не желаете ли кто иметь их?» И, немедленно переписав, вручил их Спиридову, у которого я после брал, чтобы переписать, но, носивши при себе несколько дней, я потерял оные и теперь написал только то, что мог вспомнить. Но Бестужев должен знать их, ибо он очень твердо перечитывал их наизусть»²⁴.

Показание Громницкого о том, что Бестужев-Рюмин пользовался стихами Пушкина для агитации на царубийство, было поддержано в общей сложности на следствии шестью человеками (Пыхачевым, Громницким, Тютчевым, Лисовским, Спиридовым и Ивановым, у которого эти стихи были найдены). Таким образом, выяснилось, что Бес-

тужев-Рюмин самым активным образом распространял пушкинские стихи: читал их в разных местах, сам переписывал, давал переписывать другим и т. д.

В связи с этим Следственная комиссия 9 апреля 1826 г. заставила Бестужева-Рюмина ответить на следующие три вопроса.

Первый: когда и где он получил стихотворение Пушкина «Кинжал»?

Второй: кому из членов, кроме упомянутых, он давал это и другие подобные стихотворения и от самого ли Пушкина его получал?

И третий: был ли Пушкин членом тайного общества и в каких отношениях он находился с самим Бестужевым-Рюминым и с Сергеем Муравьевым-Апостолом?

Можно без преувеличения сказать, что эти вопросы были решающими для судьбы Пушкина.

Что ответил на них Бестужев-Рюмин? Он не мог не признаться в распространении стихов Пушкина, поскольку шесть человек засвидетельствовали этот факт и самые стихи оказались в деле. Но прямого источника получения стихов он не назвал, отделившись общей фразой: «Большую часть вольнодумческих сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него (то есть у Пыхачева.— Б. М.)». И здесь далее следовали известные строки: «Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкám, что это нас самих удивляло»²⁵.

Когда последние строки цитировались литературоведами и историками изолированно от прочих следственных материалов, получилось, что Бестужев-Рюмин своим признанием намеренно «набросил тень» на Пушкина. Однако, как мы видим, это заявление, если учесть весь ход следствия, морально не компрометирует Бестужева-Рюмина в отношении Пушкина.

Что касается вопроса о членстве Пушкина в тайном

обществе, то Бестужев-Рюмин заявил: «Мне совершенно неизвестно». А по поводу личного знакомства он ответил, что встречался с Пушкиным в 1819 г., когда был ребенком (ребенком он тогда не был, ему было в 1819 г. 18 лет; кроме того, есть основания полагать, что с Пушкиным он встречался и на юге России) ²⁶.

Следственная комиссия не поверила этим ответам Бестужева-Рюмина, устроила ему очную ставку с Пыхачевым. Она состоялась 26 апреля в присутствии Комитета. Однако Бестужев-Рюмин «остался при своем показании», никаких новых данных он не открыл.

Насколько серьезным для Пушкина был этот эпизод в ходе следствия, косвенно свидетельствует тот факт, что в обвинении по делу Бестужева-Рюмина в числе пунктов, мотивирующих приговор — смертную казнь, — значилось: «Читал наизусть и раздавал приглашаемым в общество (возмутительные вольнодумческие) сочинения Пушкина и других» ²⁷.

Вторым, чреватым большими опасностями для Пушкина было дело другого виднейшего деятеля декабризма — Матвея Муравьева-Апостола. Его допрашивали о путях распространения пушкинских стихов, пытались выяснить, бывал ли Пушкин на совещаниях тайного общества и состоял ли его членом. Однако и Муравьев-Апостол нужных Следственному комитету данных не сообщил. По поводу того, что Пушкин на одном из совещаний декабристов взялся писать «вольномысленную песню», Муравьев-Апостол, как уже упоминалось, показал: «При сем совещании не было Пушкина, который никогда не принадлежал к обществу» ²⁸.

Интересная деталь: отвечая на этот вопрос, Муравьев-Апостол написал сначала: «Сейчас не принадлежал к обществу», затем слово «сейчас» он зачеркнул и написал вместо него «никогда» ²⁹.

Итак, из обзора следственных дел, имеющих касательство к Пушкину, можно заключить, что Следственному комитету не удалось добиться данных, устанавливающих прямые связи Пушкина с декабристскими организациями. Не удалось также установить, по каким каналам «Кинжал» и другие стихи проникли от самого автора, Пушкина, в среду декабристов. Главные деятели декабристского движения, лично знавшие Пушкина, встречавшиеся с ним, в том числе и декабристы — близкие друзья поэта, — старались, насколько было возможно, вывести Пушкина из сферы внимания Следственной комиссии. Упоминания о Пушкине в ходе следствия были вынужденны или обстоятельствами следствия, или показаниями третьестепенных членов тайного общества, или даже случайно вовлеченных в следствие. Только благодаря тактике декабристов, непосредственно связанных с Пушкиным и стремившихся уберечь поэта от опасности, важнейшие факты, касающиеся его политической биографии, оказались утаенными от Николая I и его помощников. А главное, не удавалось выяснить, передавал ли сам Пушкин свои стихи для членов тайного общества.

Имя Пушкина косвенным образом всплыло при окончании следствия в мае 1826 г., когда приводилось в исполнение повеление Николая I «из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Они были сожжены. Осталась только запись стихотворения «Кинжал»: на обороте листа были следственные показания. Этот текст был густо зачеркнут «с высочайшего соизволения», как указано в деле военным министром Татищевым.

Каково же было состояние Пушкина в период следствия, что знал он о следствии, какой тактики придерживался?

Все это время Пушкин вел себя стойко и мужественно.

Его письма свидетельствуют о том, что его прежде всего тревожила судьба «братьев, друзей, товарищей».

Не может быть двух мнений по вопросу, знал ли Пушкин о заговоре, 20 января 1826 г., уже будучи осведомленным о ходе следствия по официальным документам, опубликованным в печати, и по сведениям, которые просачивались в Михайловское, Пушкин писал Жуковскому:

«Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявляли о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно».

Таким образом, сам Пушкин опасался того, что на следствии его могли уличить в «политических разговорах», т. е. в разговорах антиправительственных, достаточно острых, с обвиненными. Как показывает ход следствия, установление факта разговоров о свержении правительства или о цареубийстве приводило к осуждению обвиняемых на каторгу или в ссылку в Сибирь.

Письма, которые Пушкин пересылал почтой, носили иной характер, чем пересылаемые оказией. Приведенное выше письмо к Жуковскому было послано с оказией; в письмах же, которые проходили цензуру или могли читаться посторонними, Пушкин намеренно указывал, что молодой царь, может быть, смилостивится, что судьба заключенных, вероятно, будет смягчена и т. д.

Но как же Пушкин представлял свое собственное положение, что думал он о своей судьбе? Как мы видим, он считал вполне возможным привлечение его к следствию.

Его признание в другом письме Жуковскому говорит о том, что он был в связи с «*большей частью заговорщиков*». Пушкин явно готовился к возможному аресту. Показательно, что, получив сведения о восстании, он сжег большую часть автобиографических записок.

Большинство друзей и знакомых Пушкина сразу же после восстания перестали ему писать. Во второй половине января он жаловался Плетневу: «Что делается у вас в Петербурге? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит». В этом же письме Пушкин просит узнать у Жуковского, может ли он надеяться на возвращение из ссылки, на «высочайшее снисхождение». Об этом Пушкин пишет также Жуковскому, но дает понять, что заступничество за него перед государем небезопасно: «Не хочу тебя охмелить в этом пиру». И здесь же, обращаясь к Жуковскому и другим друзьям, заявляет: «...Вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc.».

Думая о возможности облегчения своей участи и возвращения из ссылки, Пушкин надеялся в то же время на смягчение «участи несчастных» (то есть участи декабристов) и сохранял политическую независимость. Ни о каком раскаянии, то есть отказе от своего образа мыслей, он и не думал заявлять.

27 февраля в Михайловское приходит письмо Плетнева, обнадеживающее в отношении судьбы Пушкина. Плетнев передает ему просьбу Жуковского: «...Его к тебе комиссия состоит в том, чтобы ты написал к нему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кои никто не имеет никакого права, не думаешь играть словами никогда, которые противо-

речили бы какому-нибудь всеми принятому порядку». Это письмо должно было быть показано государю. Передавая намерения Жуковского, Плетнев здесь же писал о нем: «После этого письма он скоро надеется свидеться с тобою в его квартире»³⁰.

Следует подчеркнуть, что не сам Пушкин выработал формулу «примирения» с Николаем I. Ее подсказал ему Плетнев по совету Жуковского.

Из ответного письма Пушкина Плетневу видно, что Пушкин не считает свою судьбу решенной в смысле привлечения к следствию. 3 марта Пушкин вновь задает Плетневу вопрос: «Невинен я или нет?»

7 марта Пушкин пишет официальное письмо Жуковскому, где следует предложенной Плетневым формуле, но варьирует ее таким образом, что независимость взглядов его подчеркивается со всей резкостью: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический или религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Разница между формулой Плетнева-Жуковского и формулой Пушкина весьма существенная! К тому же Пушкин в письме Жуковскому, предназначенном для демонстрации Николаю I, ни от чего не отрекается и ни в чем не раскаивается, признавая достойным порицания (и то в качестве «легкомысленного суждения») лишь перехваченное в свое время письмо атеистического характера.

Письмо к Жуковскому от 7 марта было послано при письме Плетневу. Желая обратить внимание Плетнева на вынужденный характер своего официального письма, Пушкин иронически сообщает, что оно «в треугольной шляпе и в башмаках». И здесь же с горечью замечает о своем будущем: «Не радуйся нашед, не плачь потеряв!»

Итак, требуемое официальное письмо было послано и Жуковским получено. После этого наступило длительное

молчание. Что было в это время с письмом Пушкина, неизвестно. Но вот 12 апреля приходит паническое письмо от Жуковского, которое содержит резкое осуждение политической поэзии Пушкина и ее влияния: «Наши отроки (то есть все зреющее поколение) при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать». Жуковский, который месяц тому назад обещал хлопотать о возвращении Пушкина из ссылки с уверенностью в успехе, теперь советует ему «не напоминать о себе».

Чем же вызвана эта перемена настроения, эта паника? Мы находим объяснение ее только в следующем. Через Блудова и других лиц, имевших доступ к делам Следственной комиссии, Жуковскому стало известно, что в ходе следствия нередко возникает имя Пушкина, что при допросах М. П. Бестужева-Рюмина в связи с распространением стихотворения «Кинжал» особенно остро встал вопрос о причастности Пушкина к деятельности тайного общества. Изменение намерений Жуковского в отношении Пушкина объяснялось и тем, что круг привлекаемых к следствию все более расширялся.

Что касается «примирительного» письма, которое Пушкин написал Николаю I с ходатайством о разрешении ехать для лечения в «Москву, или в Петербург, или в чужие края, то, на замечание Вяземского: «Оно... сухо, холодно» — Пушкин 14 августа ответил: «Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы». «Теперь» — это после опубликования приговора.

3. «И я бы мог...»

Запись Пушкина, сделанная в одной из тетрадей «У о с. Р. П. М. К. Б: 24.», имеет долгую историю расшифровки. В итоге разных догадок ее текст определился:

«Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина: 24 июля». Отныне видения виселицы преследовали его: на полях рукописей набрасываются нервные рисунки виселиц с фигурами казненных, портреты декабристов. А через несколько месяцев, во второй половине ноября, появилась другая трагическая запись биографического характера: «И я бы мог как шут ви<сеть>» (последнее слово не дописано)³⁰.

Эта запись читалась в разных вариантах. Споры исследователей носили большей частью текстологический характер. По-разному понимали шестое слово — «тут» или «шут». Наиболее убедительное прочтение предложено Т. Г. Цявловской: «И я бы мог как шут ви<сеть>»³¹. Так эта запись печатается в новейших изданиях Пушкина. Однако не ясен весьма важный вопрос: отчего возникло у Пушкина предположение, что он мог быть повешен?

Еще 16—21 июля 1826 г. в «Русском инвалиде» были опубликованы «Всепоподданнейший доклад Верховного уголовного суда» по делу тайных обществ и Указ Николая Верховному уголовному суду с некоторыми изменениями в приговоре. Во «Всепоподданнейшем докладе» и приложенной к нему «рописи государственным преступникам» к первому разряду, к смертной казни четвертованием осуждались Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский. Дальше в «Докладе» приговаривались к казни отсечением головы тридцать один человек. После этого следовало перечисление имен семнадцати человек, осужденных на вечную каторгу и другим наказаниям по остальным разрядам. Итак, к осужденным

к смертной казни четвертованием (замененному в дальнейшем по Указу Николая I повешением) были приговорены те, кто «имел умысел на цареубийство», назначали лиц к «совершению оно́го», замыслили «изгнание» или «истребление императорской фамилии», участвовали в управлении тайными обществами.

Уже из этих документов Пушкин мог заключить, что ни один из этих пунктов не мог быть применен к нему. Ведь, как мы знаем теперь (см. гл. 2 пятой части нашей книги), в ходе следствия было выяснено, что Пушкин не был членом тайного общества. К тому же шесть лет находился в ссылке, а последние два года в глухой деревне. Казалось бы, что уже эти обстоятельства должны были исключить в сознании Пушкина мысль о том, что его могли повесить как других — руководителей тайного общества и организаторов восстания, участвовавших в планах цареубийства. Он знал также, что В. К. Кюхельбекер, который 14 декабря был в числе восставших, ходил агитировать в Московский полк и Гвардейский экипаж, «целился в великого князя Михаила Павловича» (то есть посягал на «священную особу» из императорской фамилии) и все-таки был осужден не к смертной казни, а в каторжные работы. Все это, повторяем, казалось бы, исключало возможность появления интересующей нас записи Пушкина о грозившей ему гибели на виселице.

Конечно, ход следствия, суда и приговора были, по позднейшему выражению самого Николая, «декорумом». Коронованный тюремщик декабристов дирижировал всем этим. От него зависела судьба всех, кто был «прикосновенен» к «мятежу» в той или иной степени. Но он задумал представить приговор суда как якобы результат законных «установлений» и создать впечатление независимости суда. Самодержец хотел также продемонстрировать свое «милосердие», и судом заранее была предусмотрена возможность перевода осужденных из одного разря-

да в другой. Но так или иначе, Пушкин вообще не был привлечен к следствию.

Чем же все-таки объясняется строка Пушкина? «И я бы мог висеть...»? Почему предположение это было повторено еще?

Ответ, по моим представлениям, может быть таким: эта запись связана с размышлениями Пушкина о возможности и степени его личного участия в восстании, если бы он все-таки выехал из Михайловского в Петербург перед восстанием, как собирался, то, разумеется, был бы на площади с «мятежниками» (как он мужественно сказал об этом Николаю I во время свидания). Он не просто присутствовал бы на площади, а активно включился бы в ход восстания, совершил бы действия, за которые, как узнал позже, полагалась смертная казнь. Всей своей жизнью, характером героическим, решительным Пушкин подтверждал готовность к смелым подвигам не только словом, но и делом. Он не принимал в расчет никакие соображения осторожности, если риск был оправдан целью. Как свидетельствуют современники, испытывать себя перед лицом смертельной опасности вообще было в натуре Пушкина. Это проявлялось еще в период Отечественной войны, когда он — лицеист — мечтал быть на поле боя; и на дуэлях; и позже, когда приехал в Арзрум, самовольно принял участие в сражении с турками... Мысли о неминуемом приговоре к виселице могли возникнуть, когда Пушкин воображал себя на площади с оружием в руках и совершил бы поступок, наказуемый смертной казнью. Ведь он не раз говорил в своих стихах об уничтожении тирании «крайними» средствами. Тем более что такого рода акт был бы совершен во имя свободы от деспотизма и в открытом бою, в ходе восстания.

Соображения эти, конечно же, гипотетичны. Но разве не важно хотя бы предположительно представить, почему запись Пушкина «И я бы мог висеть...» появилась через

четыре месяца после расправы с декабристами, через два месяца после освобождения поэта из ссылки? Потому что, как известно, за это время он стремился всеми путями узнать подробности о восстании и о казни. Расспрашивал друзей, свидетелей трагедии. Постепенно картина восстания складывалась в единый образ, предстала пред взором ярко, с деталями, отчетливо и конкретно. Он знал теперь, как вели себя участники событий, те, кто действовал смело, и другие, которые проявили нерешительность. Пушкин живо воображал свое поведение 14 декабря, в день, который мог изменить ход истории России и покончить с деспотизмом самовластья. Конечно, он не был бы в числе нерешительных...³²



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУШКИНА ИЗ ССЫЛКИ. — ТАКТИКА НИКОЛАЯ I

1. Николай I дважды экзаменует Пушкина

Поскольку Следственной комиссии не удалось выяснить причастность Пушкина к тайному обществу в такой степени, чтобы его навсегда обезвредить, перед царем и его приспешниками встал вопрос: как быть с поэтом?

Тогда и возник коварный замысел использовать Пушкина в интересах самодержавия. В марте 1826 г. этот

замысел был изложен жандармским полковником И. П. Бибиковым в донесении Бенкендорфу. Бибиков утверждал, что следует по отношению к вольнолюбивой молодежи применять не одни только меры строгости, а искать другие способы «укрошения».

«Выиграли ли что-нибудь от того, что сослали молодого Пушкина в Крым? Эти молодые люди, оказавшись в одиночестве в таких пустынях, отлученные, так сказать, от всякого мыслящего общества, лишённые всех надежд на заре жизни, изливают желчь, вызванную недовольством, в своих сочинениях, наводняют государство массою мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно для русских (см. «Гаврииладу», сочинение А. Пушкина)».

Далее Бибиков предлагал «полюстить тщеславию этих непризнанных мудрецов — и они изменят свое мнение»¹. Так началась та линия Николая I и его окружения по отношению к Пушкину, которая заключалась в стремлении обезоружить поэта, обмануть его, заставить «изменить свое мнение».

28 августа 1826 г. Николай I приказал доставить Пушкина в Москву и сразу к нему. За ним был послан фельдъегерь — жандармский офицер. В секретном документе сказано, чтобы Пушкин ехал «не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря». Судьба Пушкина еще не была решена. Тайному агенту А. А. Бошняку был выдан «открытый лист». В случае если бы Бошняк набрал в Михайловском и близких местах сведения об антиправительственных поступках поэта, можно было вписать в открытый лист и приказ об аресте. Таких сведений обнаружено не было, и Пушкин был доставлен 8 сентября 1826 г. сразу во дворец, прямо к царю. Содержание разговора, происходившего между царем и поэтом,

документально не зафиксировано, высказывались разные гипотезы. Реконструкцию этого разговора предпринял в последнее время Н. Я. Эйдельман. В статье «Секретная аудиенция» он, сопоставив около тридцати текстов различных современников и другие материалы, пришел к выводу, что разговор с царем касался следующих главных тем: «1) прошлое самого Пушкина — его прежние стихи и поведение, 2) прошлое России — оценка 14 декабря и предшествующих событий, 3) настоящее и будущее страны, то есть программа обоих собеседников». Эти выводы вполне логичны².

При этом необходимо напомнить, что Пушкин в мае — июне 1826 г., по предложению Жуковского, написал письмо на имя Николая I. В этом письме выражалось раскаяние по поводу своего «легкомысленного суждения» касательно атеизма, которое было перехвачено, за что, как пишет Пушкин, он был «выключен из службы» (он формально считался чиновником Министерства иностранных дел) и сослан в деревню. Просьба же царю заключалась в том, чтобы Пушкину было разрешено ехать для лечения аневризма «или в Москву, или в Петербург, или в чужие края». На отдельном листе было приложено следующее: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них. 10-го класса Александр Пушкин. 11 мая 1826»³.

Обратим внимание еще на письмо псковского губернатора Адеркаса к Пушкину 3 сентября 1826 г., где ему предлагалось немедленно явиться в Псков на основании полученного из Москвы «высочайшего разрешения» по прошению Пушкина. В приложении — копия секретного предписания начальника Главного штаба Дибича Адеркасу об отсылке Пушкина в Москву от 31 августа 1826 г.

В ночь на 4 сентября из Пскова к Пушкину приехал офицер с письмом Адеркаса. Пушкин готовится к отъезду и посылает в Тригорское садовника Архипа за своими пистолетами⁴.

Итак, разговаривая с Пушкиным 28 августа, Николай знал о его прощении и о приложенном обязательстве. Но он решил провести длительную беседу, а по существу, вакумуфлированный допрос. Каким образом и каким методом он действовал? Об этом можно судить, перебирая варианты допросов, которые царь избрал при допросах декабристов: или угрозы особо жестокого наказания, или позу чуть ли не отеческую (я, мол, и так провел бы реформы, которых мятежники добивались...), или обещания помиловать. Судя по воспоминаниям современников и по результатам аудиенции Пушкину, он принял позу добряка, милостивого отца, прощающего блудного сына.

Но самый важный вопрос, который он задал Пушкину и в содержании которого сомнений нет,— это вопрос о том, был ли бы Пушкин 14 декабря на Сенатской площади, если бы не находился в это время в Михайловской ссылке. Ясный утвердительный ответ Пушкина, вероятно, озадачил императора, который знал, что многие из привлеченных к следствию всячески старались доказать, что они не причастны к делу, в котором их обвиняют. Но ту тактику, которую ему подсказали и полицейские чины, царь не изменил. Он сказал Пушкину, что возвращает его из ссылки (а ссылка казалась бессрочной). Далее Пушкину было сказано, что он может писать, что ему заблагорассудится (это было не трудно обещать, поскольку Пушкин в упомянутом письме дал обещание «не противоречить моими мнениями общепринятому порядку»; впрочем, обещание довольно расплывчатое...). И, наконец, Николай сказал, что будет сам его цензором (в дальнейшем это привело к довольно тяжелой ситуации для Пушкина).

Что касается позиции, которую занял Пушкин или,

вернее, внутренней позиции, а не явной, то он изложил ее еще в январском письме Жуковскому, которого, кстати, просил за него «не ручаться»: «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства...». Иначе говоря, Пушкин внутренне считал, что он находится как бы на равных с царем в ходе обязательств с его и своей стороны.

По воспоминаниям современника, царь сказал Пушкину в конце беседы: «Ну теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин» (напрасные надежды!).

Казалось бы, беседа с Пушкиным должна была удовлетворить царя. Но, конечно, хитрый и опытный следователь, выпытавший у декабристов максимум необходимого ему, вовсе не был легковерным. Он устроил поэту второй экзамен, хотя и заочный, но более изощренный. Менее чем месяц спустя через Бенкендорфа он предложил Пушкину представить свои мысли и соображения о воспитании юношества. При этом 30 сентября Бенкендорф передал ему многозначительные слова «его императорского величества»: «...Предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания». В этих словах содержался намек на то, что от Пушкина ожидают, по крайней мере, осуждения той системы лицейского воспитания, следствием которой был в юности и сам Пушкин и которая как раз к этому времени подверглась полному полицейскому разгрому. Этот разгром начался еще в 1820 г. министром духовных дел и народного просвещения Голицыным, а через два года Лицей перешел из ведомства Министерства просвещения в Управление военно-учебных заведений, а директором был назначен солдафон генерал-майор Гольдгоер⁵.

Разгром Лицея вызвал сильный общественный резонанс, Грибоедов в «Горе от ума» устами Скалозуба точно отразил сложившуюся ситуацию:

Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий,
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два,
А книги сохранят так: для больших оказий.

Далее последовали примеры по отношению к, казалось бы, уже усмиренному Лицею. В декабре 1826 г. новой организацией его занялся назначенный начальником военно-учебных заведений генерал-адъютант Н. И. Демидов, изувер, по тупости и жестокости конкурировавший с Аракчеевым. Он в короткий срок превратил Лицей в настоящую тюрьму. В Военно-историческом архиве сохранилась официальная секретная переписка с расследованием «либерального образа мыслей» некоторых воспитанников и с инструкциями «о недопущении вольнодумного настроения». Директору Лицея предписывалось собирать сведения, кто из лицейских профессоров и воспитанников участвовал в тайных обществах. При этом указано, что не только участие в тайных обществах, но и разговоры с членами этих обществ — государственное преступление⁶.

Нашелся ли человек, который в кровавые последекабристские дни, в обстановке оголтелой реакции, поднял голос в защиту лицейской системы воспитания? Да, такой человек нашелся. Это был Пушкин, сам еле уцелевший от декабристской катастрофы и только что амнистированный Николаем I в надежде, что поэт «исправится» и что его перо может быть «полезным».

Пушкин знал о разгроме Лицея еще в Михайловской ссылке. Он набросал в черновой рукописи послания к Пушкину элегические строки:

Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы —
Скажи, что наши? что друзья?

Где ж эти липовые своды,
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш Лицей..

Николай I 30 сентября с присущим ему иезуитством приказал Пушкину написать записку «О народном воспитании». Это распоряжение было выполнено им в ноябре. Поручение давалось бывшему лицеисту, воспитаннику заведения, которое повсюду объявлялось одним из источников декабристского вольномыслия и которое в это время уже стало аракатеевской казармой. Николай, конечно, менее всего ожидал советов по вопросу «о народном воспитании» от Пушкина: записка была лишь поводом для политического экзамена человеку, служившему до этого времени самым ярким примером лицейского вольнодумства (кстати говоря, так и был назван Пушкин в болгаринском доносе на Лицей, на котором есть пометка «Единственно для высочайшего сведения»). В этом свете Бенкендорф сопроводил поручение царя точным указанием. Пушкин должен был раскрыть в своей записке *«все пагубные последствия ложной системы воспитания»*.

В литературе о Пушкине отмечалось, что поэт был вынужден избрать в записке «О народном воспитании» вполне благонамеренный тон — результат условий, в которых она писалась. Несомненно также, что здесь отразились те кратковременные иллюзии о возможностях «постепенных улучшений», которые Николай I внушил Пушкину своей лицемерной тактикой и лживыми обещаниями.

Однако, если рассматривать записку в соотношении с принципами Лицея, в котором учился Пушкин, то станет ясным его стремление защитить основы педагогической системы, выработанной там. Домашнее воспитание Пушкин порицал за то, что «ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедли-

вости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести». В этих словах чувствуются отзвуки высказываний Малиновского и Куницына, которые, как мы видели, отмечали растлевающее влияние рабства и выдвигали на первый план науку о «взаимных отношениях людей». В том же духе выдержаны замечания Пушкина, направленные против военизации образовательных учреждений (юношеству нужно «созреть в тишине учения, а не в шумной праздности казарм»), против телесных наказаний и «жестокоего воспитания», которое делает из воспитанников «палачей; а не начальников».

Все эти утверждения Пушкина фактически оказались направленными против военно-полицейской реорганизации Лицея, проводившейся в это время главным начальником кадетских корпусов генералом Демидовым. Особый смысл приобретают слова Пушкина о том, что «кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении».

Но особенно крамольной была защита Пушкиным системы идейно-гуманитарного воспитания, которую он испытал на себе. Программы занятий «в гимназиях, лицеях и пансионатах при университете» представлялись Пушкину в таком же виде, как и в Лицее прежних лет. «Предметы учения в первые годы не требуют значительной перемены»,— писал он, возражая лишь против того, что «языки слишком много занимают времени». Само содержание и методика преподавания политических наук, на которых настаивал Пушкин, полностью отвечают лицейской педагогике первого шестилетия. «Высшие политические науки,— писал он,— займут окончательные годы. Преподавание прав, политическая экономия по новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика, история». Особенное внимание обращает Пушкин на историю: «История в первые годы учения должна быть голым хронологическим расска-

вом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений». Здесь Пушкин возражает против реакционной тенденциозности преподавания и против сбычного в то время опорочения прогрессивных политических систем. «К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное?»—продолжает он. В окончательном курсе «преподавания истории» должны даваться оценки тех или иных систем, но и здесь не следует, в частности, порочить республиканские образы правления: «Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем». «Вообще,— заключает Пушкин,— не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны».

Достаточно сравнить отчет конференции Лицея о первых шести годах обучения, то есть о периоде, когда учился Пушкин, с положениями его записки, чтобы увидеть, что он защищал характерные для своего времени установки преподавания в Лицее. В пушкинском Лицее изучение истории начиналось с хронологического изложения происшествий, а затем давалась «картина благоустройства гражданских обществ», причем «конференция поставляла в необходимую обязанность преподающему предлагать истины исторические со всею точностью и со всяким беспристрастием, достойным историка». Конечно, на деле «беспристрастия» не было и не могло быть, но само требование это было направлено (в условиях того времени) против реакционной педагогики, насаждавшей преклонение перед самодержавием в его самой деспотической форме. Что касается требований Пушкина «не искажать

республиканских рассуждений», «не поворить убийства Кесаря» (т. е. императора Юлия Цезаря) и оправдать республиканца Брута, то в лицейских лекциях проводились именно эти тенденции.

Несмотря на внешне благонамеренный тон записки, все же она была актом исключительной смелости. По поводу своей записки Пушкин сказал приятелю — А. Н. Вульфу: «Мне было бы легко написать то, чего хотели: но не надобно пропускать такого случая, чтобы сделать добро»¹.

«Добра», однако, не вышло. На записке «О народном воспитании» появилось более сорока возмущенных вопросительных и восклицательных знаков, поставленных рукой императора, а Бенкендорф передал Пушкину следующие его слова: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, *завлекшее вас самих на край пропасти* и повергшее в оную толикое число молодых людей». Пушкину, следовательно, опять напоминилось, что он и его друзья — декабристы — жертвы предложенной в записке системы воспитания и самого его могла постигнуть такая же участь. А далее следовало назидание: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному».

Если мы внимательно перечитаем записку «О народом воспитании», то увидим, что слово «гений» ни в каком контексте вообще там не употребляется. Вероятно, подразумевалось стихотворение «Пророк», написанное Пушкиным в 1826 г. в Михайловском, до встречи с царем (существует версия, что на эту тему, о «пророке» как духовном вожде и учителе народа, было написано несколько стихотворений и одно из них чрезвычайно резкое, которое он хотел огласить в случае возможного столкновения с царем и какими-то карами, но эта версия остается неясной). Известно, что Пушкин читал «Бориса Годуно-

ва» и свои стихи и, конечно, «Пророка» во время пребывания в Москве, после аудиенции с царем (за то, что Пушкин читал свои произведения, не представив их императору, последовал выговор Бенкендорфа, ведь за Пушкиным бдительно следили). Заключительная строфа стихотворения «Пророк» и, вероятно, давала основание заключить, будто правилом для Пушкина, опасным «для общего спокойствия», является «просвещение и гений как исключительное основание совершенству»:

Встань, пророк, и виждь, и внемли
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Так или иначе второго экзамена Пушкин не выдержал. Надежда царя на то, что Пушкин смирился, провалилась. Но как же объяснить тогда стихотворение Пушкина, обращенное к Николаю, и другое, написанное в оправдание первого?

2. «В надежде славы и добра...» и рассеянные иллюзии

История стихотворений «Стансы» (1826) и «Друзьям» (1828) оказалась для Пушкина источником драматических переживаний. Прежде чем анализировать эту историю, прочитаем тексты этих стихотворений в их последовательности.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,

Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Есть издания сочинений Пушкина вообще без каких-либо примечаний и комментариев, поясняющих непонятное (так, в 1984 г. издан стотысячным тиражом однотомник Пушкина, где есть, разумеется, и «Стансы»). Хорошо, если читатель заглянет в какое-нибудь другое издание, где об этом стихотворении в нескольких словах сказано, что оно обращено к Николаю I и что Пушкин думал как-то воздействовать на его политику, смягчить его, сравнивая с прогрессивными сторонами Петра I. Но и при пояснениях этот поступок может вызвать (и вызывал) недоумение: «Так писать о царе, который в этом же, 1826 г., жестоко расправился с декабристами!» Что произошло с певцом свободы, автором произведений, воодушевленных пафосом свободы и борьбы против деспотизма и крепостничества?

В общих характеристиках поэзии Пушкина зачастую вообще сглаживается сложность некоторых политических стихов, имеющих особое значение для изучения идейной эволюции поэта. Так происходит и со стихотворением «Стансы», так и со стихотворением «Друзьям», которое Пушкин написал, желая пояснить цель «Стансов»:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю,
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил,
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет! хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанныи жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленьи,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный.
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Реакционная критика в свое время препарировала эти стихотворения в духе легенды о примирении поэта с самодержавием и о его оценке Николая I как своего благодетеля и мудрого правителя государства. Такое истолкование этих произведений нужно было для подкрепления лживой концепции о Пушкине, «смирившемся» после 1825 г. и осознавшем «грехи молодости», т. е. отрекшимся

от декабрьских традиций. Вульгарная критика много лет спустя, по существу, приняла эту оценку, но были и критики, которые вообще игнорировали противоречивость стихотворений «Стансы» и «Друзьям», утверждая, что их содержание определяется только стремлением добиться облегчения участи декабристов.

Николай I наложил на стихотворение «Друзьям» революцию: «Это может ходить по рукам, но не быть напечатанным». Хотя Бенкендорф и сообщил в письме к Пушкину, что стихотворением «Друзьям» «его величество совершенно доволен», но программные установки стихотворения могли вызвать настороженность: Николая устраивала бы, конечно, только та часть, где говорилось, что он (царь) «бодро, честно правит нами» и «втайне милости творит». Стихотворение действительно распространилось в большом количестве рукописных копий (не только под заглавием «Друзьям», но и под другими названиями — «Стансы Пушкина», «Послание к друзьям», «Ответ», «Льстец», «Оправдание» и вовсе без названия).

Для того, чтобы стала ясна сложность этого стихотворения, обратимся к его истории и фактам. Не нужно упрощать историю стихотворений «Стансы» и «Друзьям». Необходимо учитывать своеобразие позиций Пушкина в эти годы, соотношение «внутренних» импульсов и объективное звучание этих произведений.

«Стансы» несомненно явились трагической ошибкой поэта, и никакие ссылки комментаторов на строфу, где действительно содержится осторожный намек на необходимость смягчения участи декабристов, этой ошибки оправдать не могут. Аналогия в «Стансах» между началом царствования Петра I и Николая, который еще до воцарения был известен как грубый солдафон, уверения в стихотворении «Друзьям», что он «бодро, честно правит» и достоин хвалы, — все это так не вяжется с обликом Пушкина, с его мужественным, трезвым умом, что до сих пор

ощущается боль при чтении строк о «славе» и «добре», ожидаемых от коронованного тюремщика... Понятно, что «Стансы» и «Друзьям» вызвали тревогу не только среди друзей Пушкина, близких к декабристскому лагерю, но и среди людей, несравненно более умеренных по своим взглядам. Эти стихотворения были неправильно поняты ссыльными декабристами, не осведомленными о подлинном отношении Николая к Пушкину, как подтверждение того, что царь благоволит к поэту.

Мучительные ощущения, которые пришлось пережить Пушкину, звавшему о реакции прогрессивных кругов на эти его стихи (поэтому он, оправдываясь, и написал стихотворение «Друзьям»), обострились и вследствие того, что из других, враждебных Пушкину кругов распространились клеветнические слухи о преклонении поэта перед личностью царя, его мнимого «благодетеля» (в донесении тайной полиции Бенкендорфу с удовлетворением упоминались подслушанные агентами разговоры по поводу «особенного попечения государя об отличном поэте Пушкине»). Передавали, что «Стансы» написаны Пушкиным «в присутствии государя, в кабинете его величества». Это утверждение опровергается дошедшим до нас черновиком «Стансов» с датой 22 декабря 1826 г. (Пушкин же был на приеме у Николая после того, как царь вызвал его из ссылки, в Чудовском дворце 8 сентября 1826 г.). Характерен и распространившийся слух о том, что Пушкин написал «Стансы» по заказу свыше. Эта легенда имела длительное хождение, и даже в 1855 г. критик А. В. Дружинин повторил ее, заметив, что «Стансы» — стихи «на заданную тему» и родились «в четверть часа» (опровержением подобных слухов является первая строфа стихотворения «Друзьям», смысл которой в том, что «Стансы» представляют собою «хвалу свободную», т. е. написаны не по заказу или принуждению). Но «жужжанье клеветы лукавой» этим не ограничивалось: враги поэта распрост-

ранили гнусную эпиграмму, где он объявлялся ренегатом, который прежде «вольность проповедал», а затем стал «придворным лизоблюдом». Конечно, все это не имело ничего общего с отношением к Пушкину действительных приверженцев «вольности», отношением всей передовой России, которая, сожалея по поводу появления стихотворений «Стансы» и «Друзьям», продолжала видеть в нем свою надежду, своего властителя дум. Факты такого отношения к Пушкину с прискорбием констатируются и во «всеподданнейших отчетах» полиции за 1827—1830 гг., где мы читаем: «Кумиром партий, пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революции и верящих в возможность конституционного правления в России, является Пушкин».

Каков же замысел «Стансов»?

Следует подчеркнуть, что «Стансы» написаны именно как *поучение* Николаю: так звучит и обращенный к нему призыв быть подобным Петру в своей государственной деятельности, призыв сеять просвещение, исходить во всем из пониманья великого предназначения страны; поучением являются и заключительные строки, связанные с так волновавшим Пушкина вопросом о дальнейшей судьбе декабристов.

Сохранился отрывок из перебеленного текста «Стансов» (другие автографы до нас не дошли). Он важен для понимания замысла: из него можно заключить, что в ходе творческого процесса основным для Пушкина было поучение Николаю, напоминание о Петре как историческом примере. Этот мотив выдвинут в автографе вперед (в окончательном тексте он введен в заключительную, пятую строфу). Вот текст автографа:

Во всем будь пращуру подобен
Как он неустрашим и тверд
Но памятью, как он, незлобен —

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной
И зрел ее предназначенье.

То академик, то герой
То мореплаватель, то плотник
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник

22 декабря
1826 год. Москва у Зуб.<кова>

В этом автографе важна также пометка о том, что написан отрывок у Зубкова. Кто этот Зубков? Василий Петрович Зубков, арестованный в начале января 1826 г. по подозрению в прикосновенности к движению декабристов. Он находился около шести недель в заключении в Петропавловской крепости, но затем был освобожден ввиду отсутствия каких-либо подтверждающих показаний. Зубков был тогда человеком передовых убеждений, товарищем И. И. Пущина. Пометка на автографе дает основания полагать, что с Зубковым, как привлеченным к следствию и, вероятно, информированным о постоянных попытках Николая в ходе допроса изобразить из себя нового Петра, будущего реформатора, шла беседа, в ходе которой и возник замысел «Стансов».

Но дело, разумеется, не только в этом. Почему Пушкин решил, что наступил подходящий момент для поучений царю?

Прежде всего основание для возникновения подобных иллюзий дал сам Николай, который просил Пушкина представить свои предложения и соображения о воспитании юношества, т. е. о «предмете», имеющем большое государственное значение. Напоминая об этом поручении царя, Бенкендорф писал Пушкину 30 сентября 1826 г.: «... вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения».

О готовности выслушивать всякого рода предложения говорилось и в манифесте Николая от 13 июля 1826 г. (демагогический характер которого обнаружился позднее). Там утверждалось, что в порядке постепенного «усовершенствования» «всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам путем законным, для всех открытым, всегда будет принята... с благоволением». Немалую роль в возникновении иллюзий о реформаторских настроениях Николая I сыграли и такие тактические шаги, которыми он ознаменовал свое вступление на престол (отставка Аракчеева и утверждение секретного Комитета для проведения некоторых важных мероприятий в области государственного управления, политики, просвещения). К тому же Николай во время аудиенции Пушкину обещал освободить его произведения от цензуры. Как известно, Николай настолько умело играл вначале роль «нового Петра», что внушил даже некоторым из заключенных декабристов такого рода представление о себе. Например, декабрист А. Бестужев писал Николаю I из крепости, приветствуя его обещания произвести перемены в положении страны: «Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого...». Обещаниями произвести социальные реформы Николай обманул и Каховского (о чем свидетельствует письмо к царю затем казненного декабриста). Судя по рассказам современников, нечто подобное Николай пытался внушить и Пушкину.

Эти факты в разной связи приводились в биографиях Пушкина⁸ при характеристике его отношения к Николаю I после возвращения из ссылки. Но остается вопрос: как могли сочетаться верность Пушкина традициям декабристов и преклонение перед ними (так ярко выраженные в послании «В Сибирь») со «Стансами» и стихотворением «Друзьям»?

Для понимания замысла «Стансов» и стихотворения

«Друзьям» надо напомнить, что в эти годы не только у Пушкина преданность памяти декабристов, преклонение перед ними сочеталось с надеждами на то, что Николай осуществит свои обещания, улучшит положение страны. Характерно, например, знаменитое нелегальное произведение В. Розалион-Сашальского «Рылеев в темнице» (1826), где нарисован героический образ казненного декабриста, не пожалевшего жизни в борьбе против деспотизма. Но здесь же автор вкладывает в уста Рылеева поучения Николаю I, призывы к царю «покориться великому народу, источнику и хранилищу власти». В революционной прокламации, распространявшейся в 1831 г., горячо восхвалялись декабристы, как «первые герои свободы нашей». Однако, обличая Николая I, автор прокламации, между прочим, заметил, что царь «обольщен гнусными советниками».

В стихотворении «Друзьям» Пушкин объяснял выступление со «Стансами» как выполнение общественного долга, как проявление гражданского мужества. Утверждая независимость своей позиции, Пушкин указывал на обстоятельства, при которых поэта можно было бы назвать льстецом: это были бы призывы к «презрению народа», к подавлению просвещения и ограничению «милости». Стихи Пушкина, поучавшие царя, не сливались с потоком восхваления Николая прежде всего потому, что реакционеры неизменно восхваляли его как спасителя России от «язвы революции». Например, С. Висковатов в гнусных стихах, воспевавших Николая и поносивших декабристов как «жертв геенны», использует с противоположным смыслом фразеологию пушкинской оды «Вольность». Висковатов писал о декабристе:

Его душевна казнь объемлет,
Ему громами вслух гремит
Проклятие из рода в роды,
Он ужас Неба, срам Природы!
Страшилище Вселенной всей!

Подчеркнутые строки взяты из оды «Вольность» о «самовластительном злодее»:

Читают на твоём челе
Печать проклятия народы.
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Зная распространенность пушкинской оды «Вольность», Висковатов сознательно извратил ее строки⁹.

В годы последекабрьской реакции актом гражданской смелости был намек в «Стансах» на необходимость смягчения участи декабристов: ведь тогда в печати и в дворянском общественном мнении господствовали совершенно противоположные тенденции—восхваление милосердия государя, который «заменял» четвертование пяти вождей восстания повешением и т. д.

Смысл призыва Пушкина к Николаю быть «памятью незлобным» и его же слова о «льстецах», которые стремятся ограничить право государя на «милость», приобретают иной смысл, если сопоставить их с докладом Николаю Верховного уголовного суда по делу декабристов, отклонявшего возможность «милосердия»: «... хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный уголовный суд приемлет дерзновенно представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». О боязни выразить даже малейшее сочувствие осужденным говорится и в дошедших до нас мемуарах современников.

Интересно, что среди предшественников Пушкина, писавших на близкую пушкинским «Стансам» тему, были Державин и Рылеев. Несомненна связь пушкинских стихов с традицией Державина и стихами Рылеева того периода, когда будущий вождь Северного общества еще не исключал возможностей поучений царям с целью скло-

нить их к «общему благу». Имена этих двух поэтов несомненно возникли в сознании Пушкина в процессе работы над «поучающими» царя стихами.

В думе «Державин» Рылеев превозносил Державина за то, что он был «органом истины священной», «певед народных благ», «судьям... правду говорил». В примечании к думе сказано: «Державин хвалит, укоряет и учит... Он возвышает дух нации и каждую минуту дает чувствовать благородство своего духа...». Упомянутый в пушкинских «Стансах» один из ближайших сотрудников Петра I Я. П. Долгорукий как человек, говоривший правду царю, восхвалялся не только в «Вельможе» Державина, но и в оде Рылеева «Гражданское мужество». В стихах Рылеева, идеализировавших образы Якова Долгорукова и Державина, основной пафос — это пафос поэта-гражданина, борца с реакцией, врага тиранов и притеснителей народа.

Пушкин, с его точки зрения, не только не отступал от своих убеждений, но следовал призванию поэта-гражданина, надеясь воздействовать на царя. Добавим и такой факт. В 1822 г. В. Ф. Раевский, будучи арестованным, написал стихотворение «К друзьям», где, перечисляя темы, на которые, по его мнению, должен был отозваться Пушкин, говорил, обращаясь к нему:

Воспой величие царей,
Их благость должную к народу,
В десницах их его свободу
И право личное людей.

Быть может смелый голос твой
Дойдет до кесаря молвою,
Быть может с кротостью святою
Он бросит не суровый взор
На мой ужасный приговор...¹⁰

Раевский считал, что Пушкин своим смелым обращением к царю, «воспев» тех царей, которые в прошлом про-

явили «благость должную к народу», вместе с тем помог бы смягчить грозивший Раевскому «ужасный приговор». Пушкин, столько размышлявший о Раевском, конечно, помнил его былые призывы, которые так сходны с замыслом «Стансов», что могут показаться их программой. Кроме того, ведь и ода «Вольность», заканчиваясь поучением царям («И днесь учитесь, о цари!..»), вызывала тем не менее одобрение вольнолюбивых друзей Пушкина и не воспринималась как отход от принципов гражданской поэзии.

Поэтому, когда Пушкин писал, защищаясь от упреков друзей, стихотворение «Нет, я не льстец», он намеренно ввел в него некоторые мотивы и формулы, близкие стихотворениям Державина и Рылеева, желая подчеркнуть, каким именно поэтическим традициям он в данном случае следовал. Так, в первой строфе стихотворения «К друзьям» слова «Языком сердца говорю» являются цитатой из знаменитого произведения Державина «Лебедь», посвященного роли поэта и его бессмертию:

Вот тот летит, что строя лиру,
Языком сердца говорил...

Слова Пушкина:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу...

сходны со словами из стихотворения Державина «Храповицкому» (который, по словам Державина, упрекал его в лести):

Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить.

Вопрос о независимости литературы не впервые возникал у Пушкина в связи с размышлениями о Державине. Пушкин еще в 1825 г. в письме к декабристу А. А. Бестужеву с гордостью писал: «Наши таланты благородны,

независимы. С Державиним умолкнул голос лести — а как он льстил?

О вспомни, как в том восхищеньи
Пророча, я тебя хвалил:
Смотри, я рек, триумф минуту,
А добродетель век живет».

Этими словами Державина Пушкин как бы подтверждал свою излюбленную идею о высоком назначении поэта, для которого немислима лесть, — он волен в своем суждении о властителях.

Мотивы стихотворения «Друзьям» близки думе Рылеева «Державин», посвященной теме предназначения поэта. В предисловии Рылеева поэт — «служитель избранный творца» (ср. в стихотворении Пушкина «Друзьям»: «небом избранный певец»). Но более всего сходны поучения, с которыми Пушкин обращался к Николаю, с поучениями, которые содержатся в оде Рылеева «Видение» (1823), адресованной царевичу Александру:

...Люби народ, чтя власть закона...
...Твой долг благотворить народу,
А дарованья возвышать.
Дай просвещенные уставы,
Свободу в мыслях и словах,
Науками очисти нравы...

Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной любви,
И рабства дух неблагородный —
Неправосудье истреби.
Будь блага подданных ревнитель:
Оно есть первый долг царей;
Будь просвещенья покровитель:
Оно надежный друг властей.

Старайся дух постигнуть века,
Узнай потребность русских стран...¹¹

Рылеев вскоре избавился от надежд как-то влиять на самодержцев, но очевидна близость программы, начертан-

ной здесь Рылеевым, пушкинским «Стансам» и стихотворению «Друзьям».

Итак, можно заключить, что, задумав «Стансы», Пушкин несомненно не только не предполагал, что они могут быть восприняты как отступление от позиций «поэта-гражданина», но был уверен в обратном. При оценке «Стансов» и «Друзьям» ни о каком «разрыве» с прошлым, как это утверждали раньше биографы Пушкина, не может быть и речи. Обманутый Николаем, Пушкин ошибся в своих надеждах на его реформаторскую деятельность. Только учитывая фактическую историю этих стихов, можно говорить об их смысле и назначении не в порядке лишь гипотез и общих логических рассуждений, а с достаточной уверенностью.

В цитированном выше письме к Жуковскому Пушкин сказал, что готов договариваться с правительством на определенных условиях. Как будто речь может идти о каком-то равноправном договоре между сторонами, между поэтом и царем! Николосор (как называл Николая I декабрист В. Давыдов по аналогии с деспотом из деспотов Навуходоносором) — с одной стороны, с другой — поэт, которого Бенкендорф назвал «шалопаем», которого нужно использовать и усмирить. Для Николая в последекабрьской обстановке общественного возбуждения «Стансы» имели какое-то значение, но не такие стихи печатались в это время, — стихи, где коронованного тюремщика восхваляли как посланного богом идеального монарха, спасшего Россию. Подобострастные и льстивые стихи Николаю напечатал и оглушенный следствием декабрист Ф. Н. Глинка...

Все, что доносили Николаю I после свидания с Пушкиным, и его записка «О народном воспитании» хотя и не содержали ничего явно антиправительственного, но свидетельствовали, что поэт сохраняет независимость, что характер его, в общем, остался неизменным. Ненависть

Николая к Пушкину проявлялась постоянно. Царь запретил печатание «Бориса Годунова», произведения, которым Пушкин хотел открыть новую полосу своей жизни, запретил с издательской, подсказанной Булгариным резолюцией — переделать трагедию в роман на манер Вальтера Скотта. Впоследствии он запретил и печатание поэмы «Медный всадник». По существу, Пушкин подвергался тройной цензуре — царя, Бенкендорфа и обыкновенной цензуре. Николай приказал назначить Пушкина камерюнкером, он хотел сделать поэта придворным, Пушкин был оскорблен этим унижительным назначением и о своем возмущении с вынужденной осторожностью писал в дневнике. Все это входило в длинную цепь преследований Пушкина, запретов куда-либо уезжать без разрешения, слежки за письмами (в том числе и к жене). Вместе с тем Николай — лицемер более, чем Александр I, демонстрировал и кое-какие знаки «милости».

Шли годы, и Пушкин, ранее сопоставлявший в качестве примера Николая с Петром I, со сдержанным презрением записал в дневнике 21 мая 1834 г. об облике царя: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого».

Какую же позицию занял Пушкин после трагедии 14 декабря по отношению к ней и ее жертвам? Об этом в следующей части книги.



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ПАМЯТЬ

1. Последекабрьская ситуация

Ситуация, в которой оказался Пушкин после разгрома восстания, была весьма острой. День 14 декабря 1825 г. стал рубежом для дальнейших судеб России. От этого события начался отсчет истории развития революционного движения в России. Восстание декабристов способствовало дальнейшей поляризации общественных сил. Резко проявились

действительные позиции тех, кто случайно оказался в русле политического подъема послевоенных лет, и тех, кто раньше, учитывая возможность успеха противников деспотизма, подделывались под «свободолюбцев», и, наконец, тех, кто пытался быть в стороне от идейно-политической борьбы. Декабрьская катастрофа отчетливо разделила дворянское общество на два лагеря — людей, тайно сочувствующих этой первой попытке штурма самодержавия, и явных сторонников старой России, получившей теперь нового самодержца — Николая I. «Первые годы, последовавшие за 1825-м,— писал Герцен,— были ужасны... Людями овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Вышшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей...» И. Гончаров об этом же времени говорил: «Тогдашние либералы, вследствие крутых мер правительства, притихли, быстро превратились в ультраконсерваторов...»¹.

Какую же позицию занял Пушкин в этой страшной и сложной последекабрьской обстановке?

Все факты биографии поэта, которыми мы сейчас располагаем, опровергают утверждения консерваторов о том, что он после разгрома декабрьского восстания отказался от идеалов своей юности и «поправел». Пушкин, хотя и заблуждался в оценке тех или иных фактов политической жизни, остался верным заветам своих друзей-декабристов. Он бережно хранил письма декабристов. Всего лишь за месяц до восстания Пушкин читал обращенные к нему слова Рылеева: «Будь Поэт и гражданин». Теперь, после 14 декабря, эти слова звучали наказом друга, а после казни Рылеева приобрели значение завещания².

После восстания многое предстало для Пушкина в новом свете. Самим ходом событий на поэта возлагалась великая историческая миссия, ибо после разгрома декабристского движения из всех крупнейших деятелей передо-

вой России уцелел только Пушкин. На его долю выпала роль хранителя и продолжателя декабристских традиций в этот период. О значении Пушкина для России после 14 декабря Герцен писал: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее»³. Удивительное совпадение: вскоре после восстания декабристов, 30 декабря 1825 г., вышел сборник стихотворений Пушкина. В ряде изданий неоднократно помещались объявления о его продаже. Такие сообщения были напечатаны несколько раз в «Московских ведомостях», в «Московском телеграфе». Выход сборника приобрел в это время значение политического события. Вокруг сборника разгорается борьба. В то время как консерваторы ругают Пушкина (как, например, Д. И. Хвостов, писавший, что в стихотворениях Пушкина «шутки часто плоски или подлы»), молодая Россия зачитывается его стихами и раскупает их нарасхват. 12 января 1826 г. А. Я. Булгаков писал К. Я. Булгакову в Петербург: «Здесь раскупили все экземпляры стихотворений Александра Пушкина. Пришли мне экземпляр, хочется посмотреть, что это за хваленые стихи»⁴.

Характерная деталь: эпитафия к этому сборнику стихов Пушкина гласил: «*Aetas prima canat veneres, extrema — tumultus*» (Первая молодость воспевает любовь, более поздняя — смятения. (латин.)).

В дни следствия над декабристами этот эпитафия получил неожиданно острое звучание. Когда в январе Карамзин прочитал в принесенном ему Плетневым сборнике стихов Пушкина этот эпитафия, он увидел в слове «смятения» намек на современные политические события — восстание декабристов — и воскликнул: «Что это вы сделали? Зачем губите себя, молодой человек?» Плетнев пытался успокоить Карамзина тем, что под словом «смя-

тения» поэт подразумевал не политические, а душевные смятения⁵.

Имеются и другие свидетельства того, какое значение получил этот сборник в то время. Декабрист А. С. Гангелов, сидя на гауптвахте, с наслаждением читал его. Вспоминая об этом много лет спустя, он не забыл об эпитафье, получившем столь острое звучание. Грибоедов, находившийся под арестом в Главном штабе по делу декабристов, в одном из писем просил: «Пришли мне Пушкина стихотворения на одни сутки». В январе Баратынский и Вяземский читали вместе этот сборник Пушкина и, по свидетельству Баратынского, проглотили всю книгу в один присест⁶.

Передовая Россия и после крушения декабризма видела в Пушкине своего поэта. Об этом говорит восторженный прием, который был оказан ему в Москве после возвращения из ссылки. Современник вспоминает о посещении Пушкиным Большого театра 12 сентября 1826 г.: «...Пушкин вошел в театр, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторяющий это имя. Все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него...». Во время гулянья под Новинским, по словам очевидца, «толпы народа ходили за славным певцом Эльбруса и Бахчисарая, при восхищении с разных сторон: «Укажите, укажите нам его»⁷.

Поэтесса Е. П. Ростопчина так описывала появление Пушкина на этом гулянье:

Вдруг все стеснилось — и с волнением,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «Он идет!»
Он, наш поэт, он, наша слава,
Любимец общий! Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной...⁸

Весть о возвращении Пушкина из ссылки, о том, что он уцелел после разгрома декабристского восстания, вызывала радость самых разнообразных слоев общества, так или иначе оставшихся в оппозиции к самодержавию. Дельвиг писал Пушкину из Петербурга, что у него даже «люди», то есть дворовые, услышав новость о Пушкине, прыгали от радости. В. В. Измайлов писал Пушкину из подмосковной деревни 29 сентября 1826 г.: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта... Извините, я забываюсь. Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса; но москвитяне не римляне и Кремль не Капитолий»⁹.

Большим событием в культурной и общественно-политической жизни Москвы стало чтение Пушкиным своих произведений у Веневитиновых 12 октября 1826 г. Пушкин читал на этом собрании песни о Стеньке Разине и трагедию «Борис Годунов». О впечатлении, которое произвело и чтение трагедии и сама личность автора, М. П. Погодин писал: «Представьте себе обаяние его имени, живость впечатления от его поэм, только что напечатанных, «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и в особенности мелких стихотворений, каковы: «Празднество Вакха», «Деревня», «К домовому», «К морю», которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность. Он обещал прочесть всему нашему кругу «Бориса Годунова», только что им конченного. Можно представить, с каким нетерпением мы ожидали назначенного дня. Наконец настало вождеденное число. Октября 12 числа спозаранку мы собрались все к Веневитинову и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец в двенадцать часов он явился.

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще — а этому прошло

сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании...

Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущение усиливалось...

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления... О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь, так был потрясен весь наш организм»¹⁰.

Политические стихи Пушкина «Вольность», «Деревня» и другие продолжали ходить по рукам. Об этом свидетельствуют и слова шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа в его всеподданнейшем отчете: «Кумиром партии», пропитанной либеральными идеями, мечтающей о революции и верящей в возможность конституционного правления в России, «является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал», «Ода на вольность» и т. д., переписываются и раздаются направо и налево»¹¹.

В 1827 г. жандармский генерал-майор А. А. Волков доносил Бенкендорфу: «Редкий студент Московского университета не имеет сейчас противных правительству стихов писака Пушкина». На распространенность пушкинских стихов в Харьковском университете жаловался в том же году ректор университета Кронеберг. Бенкендорф, выполняя распоряжение Николая I, организовал полицейское обследование этих университетов, откуда, по его словам, «распространяются по стране запрещенные стихи Рылеева и Пушкина». К этому следует добавить, что именем Пушкина подписывались политические стихи, ему не принадлежавшие. Распространялись также его стихи с переделками, приносившими к декабрьским событиям. Таковы

строфы из «Андрея Шенье» с надписью «На 14 декабря», вызвавшие судебный процесс лиц, эти стихи распространявших, — штабс-капитана лейб-гвардии конноегерского полка И. А. Алексеева, прапорщика коннопионерского эскадрона Л. А. Молчанова и «русского учителя» А. Ф. Леопольдова. С новым переосмыслением распространялись и стихи Пушкина «Свободы сеятель пустынный». В своих стихах юнкер А. Зубов, арестованный в Москве в ноябре 1826 г., использовал заключительные строки пушкинской оды «Вольность»:

Взойдет ли, наконец, друзья,
Среди небес родного края
Давно желанная заря —
Заря свободы золотая?
Придет ли сей великий день,
Когда для русского народа
Исчезнет деспотизма день
И встанет гордая свобода?

Дальше выражена уверенность в том, что этот день придет:

И месть за месть, и кровь за кровь
И все мучительные казни.
И не спасешься ты, тиран...¹²

Имя Пушкина как певца свободы мелькало то в одном, то в другом следственном деле людей, считавших себя продолжателями декабристов. В 1827 г. московской полицией был раскрыт тайный политический кружок братьев Критских. Петр Критский показал на следствии, что любовь к свободе и ненависть к деспотизму были возбуждены в нем чтением стихов Пушкина и Рылеева. В 1829 г. в Шлиссельбургскую крепость был заключен шестнадцатилетний граф Ефимовский. Он придумал для себя герб с изображением на нем всевидящего ока, сломанного скипетра, меча и с надписью на щите: «На обломках самовластья напишем имена свои» — несколько измененные строки из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву».

Позиция Пушкина второй половины 20-х гг. по отношению к царю была неправильно понята некоторыми из современников. Будучи связан обязательством явно «не противоречить своими мнениями» «общепринятому порядку», Пушкин остался, однако, одним из немногих людей России, сохранивших в годы свирепого последекабрьского террора верность идеалам политической свободы.

Пушкин не переставал ощущать идейную связь с декабристами. Послание на каторгу «Во глубине сибирских руд» (1827) явилось своего рода переключкой между декабристами и лучшими людьми России, оставшимися верными передовым идеям 20-х гг. Оно распространилось в России в большом количестве экземпляров, причем имело различные названия, и среди них такие: «К страдальцам 1826 года», «В Сибирь, сосланным после 14 декабря», «Послание к друзьям», «Послание в Петровский завод» и т. д.

Читатели позднейших поколений настолько привыкли к тексту стихотворения Пушкина еще со школьных лет, что не всегда могли осознать огромное значение, которое оно имело в страшные годы после разгрома декабрьского восстания. Между тем в литературоведении существовала трактовка этого стихотворения как весьма умеренного по своему политическому содержанию. Так, в комментариях, помещенных в собрании сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова, мы читаем: «Стихи Пушкина, призывающие к терпению и надежде, заставили их (декабристов.— Б. М.) вспомнить о мече, и от собственных мечей они продолжали ждать свободы вернее, чем от любви и дружбы. Поэт обещает декабристам только амнистию и восстановление в правах, а не осуществление их заветного политического идеала, и в крепком рукопожатии, которым простился Пушкин с женой декабриста (А. Г. Муравьевой.— Б. М.), проявилось не сочувствие этому

идеалу, а только соболезнование горькой участи дорогих и близких людей»¹⁸.

Подобное мнение встречалось в литературоведении не только дооктябрьском, но и более поздних работах о Пушкине.

Каковы основные идеи этого произведения?

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

В этой строфе декабристы действительно призываются к терпению. Однако слово «терпенье» здесь употреблено не в смысле примирения с существующим положением вещей, не в смысле смирения. Пушкин говорит о *гордом* терпенье, подразумевая при этом стойкость, мужество.

Именно в этом смысле упоминается терпенье и в другом стихотворении 1828 г. «Предчувствие» (написанном в связи с привлечением Пушкина к секретному следствию по делу о поэме «Гавриилиада»):

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

В дальнейших строках выражена горячая надежда на то, что дело декабристов в конце концов победит:

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Здесь выражены те же идеи, те же надежды, что и в стихотворении «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»). Речь идет вовсе не об амнистии, не о помиловании, а о том, что «темницы рухнут» и борцы обретут вновь свое оружие («меч»). И возвратят им меч «братья», т. е. те, которые их освободят.

Знаменитый ответ декабристов Пушкину, написанный Александром Одоевским («Струн вещей пламенные звуки»), является непосредственным развитием идей пушкинского послания.

Словам Пушкина: «Не пропадет ваш скорбный труд» непосредственно соответствуют слова Одоевского: «Наш скорбный труд не пропадет». Призыву Пушкина — «Храните гордое терпенье» соответствуют строки Одоевского:

Но будь покоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы...

Словам Одоевского «К мечам рванулись наши руки» соответствуют слова Пушкина: «...братья меч вам отдадут».

Послание Пушкина нельзя рассматривать только как выражение его личного отношения к декабристам. Оно, несомненно, явилось отражением чувств оппозиционных слов общества.

Несмотря на жестокий террор, передовые русские люди продолжали бороться, продолжали протестовать, продолжали демонстрировать свое сочувствие декабристам. Из мемуарной литературы мы знаем, что дело иногда доходило до прямых стычек между теми, кто сочувствовал декабристам, и теми, кто радовался их осуждению.

В этот период из уст в уста передавали рассказы о восстании декабристов, о следствии и суде над ними, об их пребывании на каторге и в ссылке. Рассказы, которые сохранились в неполных, отрывочных записях современников, носили явно антиправительственный характер. Они



Тюрьма Читинского острога
Акварель И. В. Киреева

свидетельствуют о большой степени осведомленности населения (в том числе солдат) об основных целях декабристов, о ходе следствия и суда над ними, о мучительной казни пятерых вождей движения. Сочувствие декабристам иногда принимало и публичный характер. Во время церемонии разжалования осужденных моряков в Кронштадте нашлись офицеры, пожимавшие им руки и приветствовавшие их. Во время длительного перехода осужденных в Сибирь они встречались с теплым, сочувственным отношением местных жителей.

Немалое распространение получили в то время размно-

жавшиеся в рукописных копиях листовки, клеймившие Николая I как палача декабристов, призывавшие к мести, к расправе с деспотизмом (таковы листовки, рассылавшиеся штабс-капитаном Ситниковым по разным городам России, такова ода-прокламация «Свобода», которая разбрасывалась во Владимирской губернии). Большое агитационно-пропагандистское значение имело распространение портретов декабристов. В связи с этим III отделение дало указание, чтобы портреты декабристов и их жен изымались. В одном из полицейских донесений утверждается, что портреты жен декабристов почитались как иконы и на них молились. Вокруг жен декабристов группировались люди, враждебные самодержавию. Так, в полицейском доносе, написанном вскоре после казни вождей восстания, говорится: «Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат сосредоточением для всех недовольных, и нет брани более той, какую они извергают на правительство и его слуг». Пропагандистское значение имели также письма декабристов, которые распространялись в копиях. Распространению писем вначале содействовала надпись на конвертах: «От государственного преступника». Но и после того, как III отделение, догадавшись, что эта надпись только лишь способствует распространению писем, дало указание ее не делать, все же письма продолжали просачиваться. Пути распространения были сложными, но большую роль здесь играли родственники декабристов.

Имелись факты и прямой мести за декабристов. Так, полицейский агент Бошняк (тот самый, который в 1825 г. приезжал в Михайловское для того, чтобы арестовать Пушкина, если бы удалось найти мотивы для этого) в 1831 г. был убит. Вот что говорит об этом официальное сообщение: «Служа с пользой отечеству, неожиданно с кучером и камердинером, при переезде из места в место,

был злодейски застрелен за открытие в 1825 году заговора»¹⁴.

Николай I полагал, что, повесив вождей и загнав остальных участников восстания на каторгу и в ссылку, он заставит русское общество забыть о них, а оставшиеся в живых декабристы отступятся от своих взглядов.

Консервативные историкографы декабризма, а также и позднейшие историки вульгарно-социологического направления с особой внимательностью регистрировали случаи отступничества в среде декабристов на каторге и в ссылке, проявления душевного надлома, скептицизма. Однако только вследствие полного пренебрежения к фактам М. Н. Покровский и его последователи могли утверждать, что декабристы после декабрьской катастрофы «сожгли свои корабли» и полностью капитулировали. На самом деле, хотя среди них произошло известное расслоение, еще в ходе следствия обнаружилось люди деморализованные и малодушные, в основной своей массе большинство осталось верным своим вольнолюбивым идеалам. Доказательства этому многочисленны. Документы, мемуары, литературные произведения декабристов после каторги и ссылки.

В среде каторжников находились не только сохранившие свои революционные убеждения, но и те, кто пытался оказывать сопротивление.

Наиболее яркой попыткой такого рода является замысел открытого восстания И. И. Сухинова, декабриста, приговоренного к смертной казни, замененной затем вечной каторгой. Пройдя по этапу (он шел восемнадцать месяцев) на каторгу в Зерентуйский рудник, он вскоре же стал организатором заговора. По плану Сухинова, заключенные должны были захватить оружие, сжечь каторжный поселок и освободить декабристов всего Нерчинского округа. Это восстание провалилось потому, что один из каторжан (не политический, а уголовный) выдал заговор (за это он был убит заговорщиками). Суд приговорил

Сушинова к смертной казни, как и некоторых его сообщников. Однако, не желая погибнуть от рук палача, он накануне казни повесился на кандалном ремне¹⁵.

Есть и другие факты попыток бегства декабристов из тюрем и в одиночку и группами, причем зачастую эти попытки замышлялись заключенными не только для спасения жизни, преследовались и политические цели. Так, Лунин хотел бежать для того, чтобы «огласить правду о нашем деле и настоящее положение России».

Свидетельством верности декабристов своим идеалам является священная память о дне 14 декабря, который отмечался заключенными. Существовала и так называемая «каторжная академия» — своеобразный дискуссионный клуб декабристов в Сибири. В том же ряду стоит такой единственный в своем роде факт, как агитационная деятельность декабриста М. С. Лунина, который в форме писем к сестре создал блестящие публицистические произведения, обличавшие политику Николая I и распространившиеся в копиях.

Оставшиеся в живых писатели-декабристы не прекратили литературной деятельности. В. Раевский, В. Кюхельбекер, А. Бестужев написали в заключении яркие и сильные произведения, прославлявшие идеи свободы, любовь к отчизне; стихотворцами стали и декабристы, ранее не занимавшиеся литературой.

Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!¹⁶ —

говорилось в песне, сочиненной Михаилом Бестужевым и распевавшейся узниками Петровского острога. На каторге вернулось мужество к Александру Одоевскому, во время следствия впавшего в покаянные настроения. Доказано, что приписанные ранее Одоевскому верноподданнические и покаянные стихотворения, якобы написанные на каторге, ему не принадлежат. В этом свете огромное значение

приобретает характеристика Одоевского Лермонтовым как поэта, сохранившего «веру гордую в людей и жизнь иную». Уверенность в конечном торжестве правого дела — один из основных мотивов поэзии Одоевского.

За святую Русь неволю и казни —
Радость и слава, —

эти слова звучали подобно клятве. В стихах Одоевского возникает страдальческий образ Родины-матери, для которой декабристы принесли себя в жертву и которая стала им еще милее:

В цепях и крови ты дороже сынам,
В сердцах их от скорби любовь возрастает...

Мечта о возмездии тиранам не покидала декабристов и в казематах, Об этом Одоевский говорил в стихотворении «Тризна» словами скальда:

Утештесь! За павших наш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенный жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит,
Как чаша задрвная в память отчизны¹⁷.

Тема «Декабристы после декабря» еще ждет своей всесторонней разработки. За последние годы появились новые материалы. В. С. Шадури опубликовал данные, из которых следует, что ряд ссыльных декабристов пытался захватить в свои руки «Тифлисские ведомости», газету, которую редактировал Санковский, где сотрудничали Грибоедов, Бестужев-Марлинский, Сухоруков, Бурцов — литераторы-декабристы, определявшие прогрессивное направление газеты. Газета выступала против реакционной журналистики, против Булгарина. В. Шадури справедливо заключает: «Изучение материалов лишний раз убеждает нас в том, что «дух протеста», охвативший передовую общественность России, не был уничтожен с разгромом восстания на Сенатской площади».

И. Ф. Паскевич недаром писал, что у сосланных в

Грузию декабристов «дух сообщества существует, который по слабости своей не действует, но с помощью связей между собою живет»¹⁸.

Из приведенных фактов можно с полным основанием заключить, что стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд» действительно было отражением чувств и переживаний всего передового русского общества.

Творчество Пушкина будило сознание нового поколения и поддерживало осужденных декабристов.

Они с волнением воспринимали все то, что было связано с ними в пушкинских произведениях. О заключительной строфе «Евгения Онегина» с ее полными скорби строками о друзьях (Иных уж нет, а те далече»), о «роке», который так много «отъял», Кюхельбекер заметил в своем дневнике: «Эпилог, лучший из всех эпилогов Пушкина».

Пушкин впоследствии писал: «Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом». Он вспоминал, как в самый первый день его приезда в Читту (5 января 1828 г.— Б. М.) призвала его к застою А. Г. Муравьева и отдала листок бумаги, на котором неизвестной рукой было написано стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный...»¹⁹.

Декабристы следили за произведениями Пушкина, появлявшимися в печати. Пушкин свидетельствовал в воспоминаниях: «В тюрьме мы следили за литературным развитием Пушкина, мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет» (известно, что с 1828 г. декабристам было разрешено получение журналов). Петр Бестужев в одном из своих писем 1829 г. признавался: «Новые произведения любимых поэтов согревали нас и в выюгу зимы, и в зной лета, и в пылу битвы».

У декабристов встречались образы пушкинских стихов, они часто находили в них созвучные настроения. Так, А. О. Корнилович в одном из писем 1832 г. говорит о

своим настроением словами Пушкина из стихотворения «К Овидию»:

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их...²⁰

Это же стихотворение, написанное Пушкиным в южной ссылке и выражающее душевное состояние и непреклонность изгнанника, вспоминал и Кюхельбекер.

В Сибири декабристы были пропагандистами творчества Пушкина. Так, например, о популяризации его Пушкиным в Ялуторовске один из современников рассказывает: «Больше других о прошлом говорил И. И. Пушкин. Он часто рассказывал о своей дружбе с А. С. Пушкиным, о самом поэте, о литературных собраниях, на которых Александр Сергеевич читал стихи. У Пушкина было много собственноручных писем и рукописей Пушкина, которые Иван Иванович показывал собеседникам»²¹.

В стихотворении «19 октября 1836 года», присланном Пушкину тайно, с оказией, Кюхельбекер восклицает:

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? — Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут... Песнопевец, это ты!
Твой образ свет мне в море темноты²².

Кюхельбекер находил пути для тайной переписки с Пушкиным. Он писал ему из Сибири: «А вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения; не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось»²³.

Встает, однако, вопрос: почему некоторые из осужденных декабристов отрицательно отзывались о Пушкине?

Наиболее резким был отзыв члена Общества соединенных славян И. И. Горбачевского. Горбачевский утверж-

дал, будто бы членам общества было воспрещено Верховной думой общаться с Пушкиным, когда он жил на юге, вследствие его легкомыслия. Факты дружбы Пушкина с декабристами свидетельствуют о том, что это утверждение — результат какой-то путаницы (П. Е. Щеголев в статье «Декабрист И. И. Горбачевский о Пушкине» указал, что память изменила здесь Горбачевскому. Такое постановление Верховной думы Южного общества не могло быть дано ранее сентября 1825 г. Между тем Пушкин уже в августе 1824 г. был в ссылке в Михайловском)²⁴.

Отзыв о Пушкине Горбачевский дал много лет спустя после смерти поэта, в 1861 г., основываясь, главным образом, на известном письме Жуковского к С. Л. Пушкину (1837). Доказывая, что Пушкину не следовало доверять, Горбачевский пишет: «Теперь я в этом совершенно убежден, и он сам при смерти это подтвердил, сказавши Жуковскому: «Скажи ему, если бы не это, я был бы весь его» (подразумеваются мнимые слова Пушкина, которые он якобы просил Жуковского передать царю.— Б. М.). Что это такое? Это сказал народный поэт, которым именем все аристократы и подлипалы так называют»²⁵.

Итак, главным источником суждения Горбачевского служило письмо Жуковского о смерти Пушкина, в котором Жуковский совершенно в ложном свете изобразил отношение Пушкина к Николаю I. Это же письмо произвело гнетущее впечатление даже на такого ближайшего друга Пушкина, каким был Пущин. В письме к Энгельгардту 4 декабря 1837 г. Пущин писал: «О Пушкине давно я глубоко погрузил; в «Современнике» прочел письмо Жуковского; это не помешало мне и теперь не раз вздохнуть о нем, читая (воспоминания.— Б. М.) Спасского и Даля». Александр Бестужев также писал брату Павлу: «Отчего Пушкин худо умер; это мне пишут люди с понятием». Несомненно, под впечатлением свидетельства Жуковского о якобы имевшем место примирении Пушкина с Нико-

лаем I написаны и те строки о Пушкине, которые имеются в «Воспоминании о Рылееве» Николая Бестужева. Всем этим отрицательным отзывам о Пушкине способствовали и распространенное еще при его жизни неправильное понимание смысла «Стансов», а также слухи о том, что Николай I оказывал поэту всяческие милости, слухи, которые, как уже говорилось, намеренно поддерживались реакционными кругами и широко распространялись не только в Москве и Петербурге, но, безусловно, доходили и в Сибирь²⁶.

Общественная реакция на назначение поэта камер-юнкером говорит о том, насколько драматичным оказалось положение Пушкина.

Глубочайшее возмущение поэта этим оскорбительным поступком царя было известно лишь очень узкому кругу лиц. Но вот что думали, например, даже близкие Пушкину люди.

В 1826 г. Н. Языков сообщал П. М. Языкову: «Пушкин в большой милости у государя...». В феврале 1833 г. Плетнев писал Жуковскому, что Пушкин «возит жену свою по балам не столько для ее потехи, сколько для собственной». В марте 1833 г. А. Н. Вульф записывает в дневнике: «В байроновском «Пророчестве Данте» остановился я на мысли, что тот, что входит гостем в дом тирана, становится его рабом... Мысля об этом, я рассчитываю, как мало осталось вероятностей к будущим успехам Пушкина, ибо он не только в милости, но и женат». О непонимании истинного положения, в котором оказался Пушкин в 30-е гг., об одиночестве поэта свидетельствуют письма Карамзиных — людей, хорошо знавших его и, несмотря на это, обнаруживших поразительную слепоту в оценке драматической ситуации, сложившейся в последние годы его жизни. Непонимание современниками позиций Пушкина является фактом несомненным²⁷.

Женитьба Пушкина на Гончаровой и его «камер-юн-

керство» вызвали у некоторых декабристов серьезную тревогу. И. Пущин писал об этих фактах биографии своего друга: «И то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него». Сведения о мнимых успехах Пушкина в свете вызвали резкую критику у Александра Бестужева, который пытался через разных лиц сообщить поэту о своих опасениях, напомнить ему о гражданском долге. Особенно характерно письмо А. Бестужева Н. А. Полевому 9 марта 1833 г. В нем и горячая любовь к Пушкину и тревога за него. «Давно ли, часто ли вы (видитесь.— Б. М.) с Пушкиным? — писал Бестужев.— Мне он очень любопытен. Я не сержусь на него именно потому, что его люблю. Скажите, что нет судьбы! Я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретя его повозку: мне сказали, что он у Бориса Чилиева, моего старого однокашника; спешу, приезжаю — где он?.. Сейчас лишь уехал, и, как нарочно, ему дали провожатого по новоколесной дороге, так что со мной и не встретился!.. Я рвал на себе волосы с досады,— сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас на долгие, быть может, на бесконечные годы. Скажите ему от меня... не топи в луже таланта своего; не спи на лаврах: у лавров для гения есть свои шипы — шипы вдохновительные, подстрекающие; лавры лишь для посредственности мягки, как маки»²⁸.

Совершенно ясно, что подобные представления о позициях Пушкина — результат трагического недоразумения: как раз в то время, когда поэт оказывался во все более и более тяжелом положении, когда он становился во все более острые отношения с царем, III отделением, светским обществом, некоторые из его друзей полагали, что он благополучен и доволен.

И все же, несмотря на приведенные выше отдельные

отрицательные суждения, общее отношение декабристов к Пушкину после декабря было, как мы показали выше, не только положительным, но и восторженным. Тот же Александр Бестужев, который с откровенной резкостью писал в приведенных выше письмах о своих тревогах по поводу позиций Пушкина, в известной статье 1833 г. писал: «... дерзкий Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной своему народу». Опасения же, что светские круги, с которыми волей-неволей соприкасался Пушкин, могут оказать на него свое растлевающее влияние, были вполне законными. Ведь и сам Пушкин восклицал в лирическом отступлении шестой главы «Евгения Онегина», обращаясь к «младому вдохновенью»:

Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И, наконец, окаменеть
В мертвящем упоенье света...

Гибель Пушкина потрясла декабристов: это была потеря незабвенного друга и величайшего национального гения. Как о павшем в сражении герое, писал в сибирской ссылке Кюхельбекер о смерти Пушкина:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В середине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! Лицо его, всегда младое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце, вечно золотое,
Как первая эдемская заря²⁹.

По воспоминаниям Пушкина, весть о гибели Пушкина «электрической искрой» сообщилась тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере...».

Пушкин остался в глазах декабристов поэтом-товарищем, славой и гордостью России.

2. Пушкин и заветы декабристов

Пушкин ощущал свой долг перед декабристами. Слово наказ, звучали для него слова Рылеева, обращенные в письме к нему всего лишь за три недели до событий на Сенатской площади: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают». С наказом такого рода обратился к Пушкину уже после разгрома восстания друг Рылеева, Александр Бестужев. В письме к Н. Полевому 9 марта 1833 г. он просил передать Пушкину: «Ты надежда Руси, не измени, не измени ей, не измени своему веку...»³⁰.

На каторге и в ссылке декабристы жадно ловили каждую весть о том, помнят ли их, не считают ли их подвиг напрасным? Ф. Вадковский (приговоренный к пожизненной каторге) тревожно спрашивал в своих стихах:

Помнишь ли нас, Русь святая, наша мать,
Иль тебе, родная, не велят и вспоминать?³¹

Думами о будущих поколениях, о том, что они должны знать о декабристах, проникнуто стихотворение В. Л. Давыдова, написанное на каторге:

В сибирских пустынях
Возвышается заброшенный холм,
Покрытый увядшей травой,
Не обрамленный камнем.
Я видел кругом рассеянные обломки
Могильного креста,
Многие слова надгробной надписи
Были почти стерты..
«Здесь покоится... жертва... тирании...
Супруг и отец... вечность...
Оковы... изгнание... вся его жизнь...
Любовь... Отечество и свобода»³².

Некоторые критики в прошлом считали, что после разгрома декабристов их дело, их идеи потеряли живой

интерес для Пушкина: он понял, что восстание не могло победить. В качестве одного из таких доводов приводились слова Пушкина из записки «О народном воспитании»: «... должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей». Но понятие «образумились» не означает здесь ни раскаяния, ни отказа от своих убеждений, а лишь предположение, что люди, разделявшие образ мыслей «заговорщиков», то есть декабристов, поймут, что силы для сокрушения режима были слабыми, а силы правительства, подавившего восстание, огромны. Слова же о том, что «братья, друзья, товарищи погибших поймут необходимость», имеют лишь один смысл: поймут, что в данных исторических условиях поражение восстания было неизбежным.

Верно, что еще до 1825 г., а тем более после восстания Пушкин поставил в своем творчестве новые вопросы, далеко выходящие за пределы дворянской революционности, вопросы прежде всего о роли народа. Верно, что в центре размышлений Пушкина о грядущих «переменах» все с большей остротой выдвигались вопросы и о стихийной крестьянской революционности, о новой политической тактике, учитывающей опыт истории, но эти верные мысли в последнее время почти совсем отодвигали другой вопрос — о значении декабристской темы и декабристских мотивов в творчестве Пушкина 1826—1830-х гг. Для Пушкина вопрос о судьбах декабристского движения никогда не терял своей остроты. Он расценивал поражение восстания как историческую трагедию, призывал взглянуть на нее «взглядом Шекспира». Он понимал, что в данных условиях декабристы не могли победить, но никогда не

считал, что их дело было ошибочным, что дело тайного общества не надо было и начинать, что декабристы были оторванными от жизни мечтателями. А ведь в то время многие расценивали этот подвиг как бессмысленный. Да, он видел, что силы восставших были ничтожны, а сила правительства — необъятна. Но деятельность декабристов навсегда оставалась для него не только исторически обусловленной, — «братья, друзья, товарищи», осужденные Россией Николая I, были окружены в его сознании героическим ореолом. Историческое значение подвига декабристов Пушкин выразил в точных словах:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

В ситуации 1826—1830 гг. огромную опасность для освободительного движения представляло утверждение, что поражение декабристов навсегда доказало незыблемость самодержавного строя. Эту идею поддерживали не только заядлые реакционеры, но и те, кто совсем недавно фрондировали или «на всякий случай» заигрывали с деятелями тайных обществ, а также и некоторые люди, которые так или иначе участвовали в самом движении, а теперь были смертельно напуганы.

Опаснейшую для будущего России идею бессмысленности вольнолюбивых замыслов и надежд доказывали, опираясь на факт полного разгрома восстания. Эта идея в то время настолько была распространённой, что находила выражение и в лирической поэзии. В стихотворении Ф. Тютчева, написанном в 1826 г., поэт, обращаясь к декабристам, восклицал:

Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена,
И ваша память от потомства,
Как труп, в земле схоронена.

Восстание бессмысленно: нельзя «скудной» кровью растопить «вечный полюс». Все тщетно:

Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

И это писал один из замечательнейших поэтов!

В иной, шаблонной форме такого рода мотивы повторяли и другие, большей частью бездарные стихотворцы. По рукам ходили и гнусные эпиграммы, оскорблявшие память героев. Дискредитацией декабризма с особенным пылом занималась реакционная публицистика.

В этой обстановке громадной исторической заслугой Пушкина было противостояние всему этому мутному потоку. Пушкин противостоял ему всем своим творчеством, всем строем своих мыслей, чувств, стремлений, которые были свойственны и лучшим представителям декабризма и которые выражались не только в тех или иных политических лозунгах или положениях, но и в презрении ко всякому малодушию, к попыткам оправдать отказ от борьбы ссылками на так называемую «силу обстоятельств». Он осуждал тех, кому были чужды высокие порывы, людей, по-молчалински избегавших всего, что связано с тревогами, дерзанием, риском. Вспомним его строки, полные глубокого смысла, из «Евгения Онегина», они написаны в конце 20-х гг., но в них звучат интонации юношеского романтизма:

Жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова...
Чье сердце опыт остудил...

Пушкин, размышляя над уроками «жесточкого опыта», не пришел, однако, к выводу, что «все тщетно». Он обличал пошлое благоразумие тех, кому чужды мятежные стремления, кто, по его выражению, «странным сном не предавался».

Несмотря на неудачу восстания, Пушкин не исключал

возможность его повторения, но при участии тех же сил, которые вышли 14 декабря на Сенатскую площадь. Почти через десять лет, в 1834 г., он писал: «Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много». Из этого не следует, по мнению Пушкина, что «возмутителями» будут только дворяне, но тем не менее он полагал, что будет, «кажется, много»! Из этого и других рассуждений можно заключить, что Пушкин не считал силу дворянской революционности исчерпанной. Он размышлял о том, как эта сила могла бы сочетаться с другими силами, какова будет роль народа, роль не созревшего еще тогда «третьего сословия». (Подробнее об этом см. в заключительной части книги.)

Итак, справедливость, героизм революционной попытки декабристов, ее историческое значение были для Пушкина незыблемыми истинами. Отсюда и стремление сохранить в памяти современников и для грядущих поколений традиции декабризма — помешать попыткам стереть в сознании общества их дела, их опыт. Для этого использовались всевозможные пути, легальные и нелегальные, всевозможные приемы.

Еще до сих пор в полной мере не осмыслен широкий комплекс декабристских мотивов в творчестве Пушкина. Особенно это относится к пушкинской лирике.

В освещении вопроса о том, как Пушкин относился в 1826—1830 гг. к декабристскому движению, до сих пор проявляется известная узость. При этом, как правило, ссылаются только на те произведения, где декабристские мотивы воплощены непосредственно; таковы «Арион», «В Сибирь», X глава «Евгения Онегина». Но картина значительно расширяется, если принять во внимание специфику трактовки декабристской темы в творчестве Пушкина, многообразие способов воплощения идей, мыслей, мотивов, образов, связанных с декабризмом и отразившихся в его

произведениях. Преклонение перед подвигом декабристов, неуемные, тревожные, мучительные и скорбные мысли о них, о своем долге перед ними, о своей судьбе, о своем положении, о собственной миссии — все это было свойственно Пушкину до конца его жизненного пути³³.

Мир Пушкина-поэта — это целостный мир, в котором соединились в неразрывном единстве все сферы бытия. Поэтому в стихотворении на гражданскую тему могли возникать, не разрывая художественной ткани, глубоко личные, интимные мотивы, поэтому пейзажная лирика сплеталась с размышлениями о судьбах истории, поэтому в дружеских посланиях соседствовали политическое обличение и воспоминание о далекой юности, негодование и шутки, слезы и смех. Все это необходимо учитывать и при изучении декабристских мотивов в лирике Пушкина, «вкрапленности» этих мотивов в стихотворения, написанные в различных жанрах и вызванные различными поводами и импульсами. Так, с чисто пушкинской всеобъемлющей широтой в стихотворении «Все в жертву памяти твоей...», обращенном к любимой женщине, упоминаются

И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности...

и вместе —

...Славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота..

Как отмечал Пушкин памятные даты, связанные так или иначе с историей декабризма или с деятелями движения, среди которых было так много его близких людей и знакомых? Одним из путей, которые могут привести к ответу на этот вопрос, может быть исследование стихотворений, написание которых совпадает с памятными датами истории декабризма, а также с определенными датами политической биографии самого Пушкина. В полном

объеме это исследование пока еще не осуществлено, так как время написания многих его стихотворений установлено приблизительно (ведь и академическое издание Пушкина, к сожалению, никаких мотивировок предлагаемых дат не дает). Но даже те даты, которые Пушкин сам указывал в рукописях или которые установлены исследователями, недостаточно учитываются при освещении интересующей нас темы.

Попробуем выделить те даты, которые были для Пушкина особенно значительными,— такие, как годовщина восстания декабристов (декабрь) и казни вождей восстания (июль). Знаменательной и всегда связанной с декабристскими мотивами была для Пушкина также дата открытия Царскосельского лицея (октябрь). Годы пребывания в этом заведении были связаны с воспоминаниями о вольнолюбивых надеждах, о «святом братстве», «семье друзей», среди которых были особенно близкие ему И. Пущин и В. Кюхельбекер, томившиеся теперь в тюрьмах. На эти даты приходится создание ряда произведений, которые содержат прямые или косвенные декларации политического характера или дорогие и священные для поэта воспоминания.

Было время, когда стихотворение «Арион» (1827) называлось лишь гипотетически в качестве посвященного декабристской теме. Но Т. Г. Цявловская обратила внимание на дату его написания — 16 июля: оно было написано в месяц, когда были казнены пять вождей восстания. И все стихотворение приобрело для нас новый, трагический смысл. Но есть и другие факты, которые требуют изучения с точки зрения упомянутого принципа синхронности. В июле 1828 г.— в годовщину казни декабристов— написан «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной», где есть строки:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем...

Связь с замыслом написанного годом раньше «Ариона» несомненна (образ пловца, спасенного в бурю). В черновике любопытен вариант: вместо «увядшего венца» поэта, как в окончательном тексте, здесь «терновый венец» — венец страдальческий.

Есть и более сложные соотнесения. В 1836 г., в июле—годовщину казни декабристов,— написано стихотворение «Из Пиндемонти» — о свободе поэта, в том числе свободе от «властей» (в автографе вариант «Свобода от царя»).

К годовщине восстания на Сенатской площади также приурочен ряд стихотворений Пушкина. 13 декабря — кануном восстания — помечено в 1826 г. адресованное И. И. Пущину послание «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Вспоминая приезд своего лицейского сверстника в Михайловское в 1825 г., Пушкин писал:

Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Это послание было отправлено Пущину на каторгу вместе со стихотворением «Во глубине сибирских руд».

14 декабря 1829 г. — годовщина восстания — дата в рукописи неоконченного стихотворения «Воспоминания в Царском Селе». В соотнесении с этой датой новый смысл приобретают скорбные строки:

...Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал¹⁴.

Темы декабризма и Лицея переплетались в стихотворениях, посвященных «лицейским годовщинам», дню основания Лицея — 19 октября. Таково стихотворение, которым отмечена эта годовщина в 1827 г., с обращением к сверстникам:

Бог помочь вам, друзья мой,
И в бурях, и в житейском горе,

В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли.

Несомненно, о декабрьской катастрофе и судьбах ее жертв вспоминал Пушкин и в стихотворении, посвященном лицейской годовщине в 1831 г.:

...рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.

Особого и обстоятельного исследования заслуживают сложные приемы, которые использовались Пушкиным в произведениях, связанных с запрещенной и опасной декабристской темой. Эти методы были весьма разнообразными. Первое место принадлежит здесь, конечно, произведениям нелегальным. К таким произведениям относятся стихотворения «Во глубине сибирских руд» или «И. И. Пущину». Но круг нелегальных произведений на декабристскую тему был ограниченным в условиях последекабрьской реакции, и тем более узким мог быть круг их читателей. Более широкие возможности открывали всякого рода легальные формы и приемы разработки декабристских тем и мотивов. Эти формы и приемы можно разделить на две группы. К первой относятся так называемые «ухищрения» в борьбе с цензурой и «эзоповский язык». Ко второй группе — более сложные, связанные с некоторыми принципами поэтической системы Пушкина, с многоплановостью и семантической емкостью поэтического языка, с богатством его ассоциативных связей. Пользуясь этими приемами, можно было говорить в легальной печати на запретные темы (ориентируясь, разумеется, на восприятие читателями определенных кругов).

Исследуя все эти формы и приемы, необходимо, однако, предупредить против нарочитого вычитывания из произведений Пушкина несуществующих намеков, мнимо скрытых замыслов. В пушкиноведении было немало работ,

сводивших чуть ли не все творчество поэта к «загадкам», которые будто бы надо постоянно расшифровывать. Подобный подход, позволяющий вкладывать в пушкинские строки все, что угодно, разумеется, ничего полезного не дает. Напомним попытку Л. Войтоловского доказать, что «Египетские ночи» — аллегорическое изображение восстания декабристов...

Испытанные и применявшиеся еще в эпоху декабристского движения иносказания, приемы намеков, обиняков, рассчитанные на догадливость читателя, Пушкин обогатил новыми. В условиях реакции требовались еще более тонкие приемы, и Пушкин это понимал, советуя Вяземскому в июле 1826 г. в связи с одним публицистическим замыслом: «...скажи всё ... для этого должно тебе употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре»³⁵.

Среди тонких, использованных при разработке политических мотивов у Пушкина встречаются такие, как аллегория, развернутая то в целостном произведении (например, «Арион»), то в отдельных искусно вмонтированных в текст намеках; как методы аналогий и уподоблений; как скрытые, но угадываемые читателями цитаты из произведений декабристов; как направленное использование афоризмов, как пропуск слов, которые без труда подсказываются самим ритмом стихотворения (например, в первоначальном тексте «Осень» о поэтах: «И ты <...> живая жертва Леты» — Вильгельм — то есть В. Кюхельбекер (это наблюдение принадлежит В. В. Гиппиусу)). К числу этих приемов относятся и исторические аналогии.

Одной из таких аналогий является неоконченное (но перебеленное) стихотворение «Какая ночь. Мороз трескучий...», которое, по-видимому, также приурочивалось к годовщине расправы с декабристами и казни их вождей. Оно датируется, согласно положению в рукописи, апрелем—июлем 1827 г. Непосредственный его сюжет связан

с опричниной. Однако в нем некоторые строки настолько ассоциировались с событиями 1825—1826 гг., что даже в 1838 г., когда стихотворение было впервые (посмертно) напечатано в «Современнике» (№ 3), были изъяты по требованию цензуры строки, живо напоминавшие о восстании на Сенатской площади. Среди них — описание площади, где

Недавно кровь со всех сторон
Струю тощей снег багрила,
И подымался томный стон,
Но смерть коснулась к ним как сон,
Свою добычу захватила.

Изъяты были также строки о «перекладине дубовой», на которой «качался труп», и другие, которые могли быть поняты как иносказательная картина расправы верных царю войск с восставшими.

Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыта!

Приемы, маскировавшие опасные мысли и аналогии, были весьма разнообразными. Приведу еще несколько примеров.

Замысел статьи Пушкина «Александр Радищев» (1836) сложен. Основная цель ее заключалась в том, чтобы напомнить в печати об этом писателе-революционере. Но была еще одна цель этой статьи — поставить деятельность Александра Радищева в связь с движением декабристов. Статье был предпослан эпитафия (текст по-французски): «Не следует, чтобы порядочный человек заслуживал повешения» (со ссылкой: «Слова Карамзина в 1819 г.»). Читатель, разумеется, сразу же должен был обратить внимание на этот афоризм. Он имеет здесь определенную направленность. Не случайно в приложении к статье был

помещен отрывок из записок Храповицкого, где упоминается однофамилец декабриста Рылеева. В этой же статье Пушкина содержится сентенция, сопоставляющая действия одинокого Радищева с тактикой тайного общества: «Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает всоружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины. И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; члены тайного общества в случае неудачи или готовятся изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагаются на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников».

Все это вместе взятое — афоризмы о повешении, упоминание однофамильца Кондратия Рылеева, рассуждения о тайном обществе — вступает в сложную ассоциативную связь.

Ассоциации, связанные с казнью, повешением, возникли в лирике Пушкина по самому неожиданному поводу и в неожиданных контекстах: то в стихах мадригального характера («Вы вздохнете ль обо мне, если буду я повешен», 1827, — «Ек. Н. Ушаковой» и «Когда помилует нас бог, Когда не буду я повешен» — «Е. П. Полторацкой», 1830); то в строфе о Ленском, который «мог быть повешен, как Рылеев»; то в письме к Дельвигу, где по совершенно косвенному поводу — в связи с философской позицией «Московского вестника» — многозначительно упоминается веревка («...веревка вещь какая?»), то в письме к Осиповой (июнь, 1826), где приводится грустная шутка арлекина, ответившего на вопрос, что он предпочитает, быть колесованным или повешенным: «Я предпочитаю молочный суп»; то в «Моей родословной» с нравоучительным выводом:

С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

Его пример будь нам наукой.
Не любит споров властелин.

Так в разных контекстах с разными применениями возникает в различных произведениях Пушкина мотив, воплощенный и в его рисунке — виселица с телами пяти повешенных декабристов и с записью: «И я бы мог...»

Использование устойчивых слов-сигналов, соединенных в сознании современных читателей с определенным кругом явлений и идей, составляет определенную семантическую систему, которая была выработана в поэзии Пушкина и декабристов еще в конце 10-х и в начале 20-х гг. После поражения восстания она была обновлена и подверглась определенным изменениям. Устойчивыми в этой системе были метафоры, связанные с такими понятиями, как революция, мятеж, восстание. Таковы сигналы-символы, основанные на образах бури, грозы, молнии, грома, бурного потока, моря, отважных пловцов. В последекабрьской лирике Пушкин продолжал пользоваться этими словами-сигналами, но они окрашивались теперь большей частью в трагический колорит, символизируя одновременно и мятеж, и его поражение. Образ бури стал символом, обозначающим восстание декабристов и его разгром. Эта символика встречается не только в лирике, но и в переписке (ср., например, в письме Вяземского Пушкину 1826 г.: «Ты остался цел и невредим в общую бурю»). Образ тучи воспринимался как сигнал катастрофы, гонений или надвигающейся беды; или такое понятие, как «тишина», обозначающее общественный упадок, смирение, пассивность (особенно характерна в этом отношении формула «благоразумная тишина»).

В стихотворении «К морю» (1824) образ моря — символ свободы — ассоциируется с образом Байрона — владельца дум молодого поколения:

Твой образ был на нем означен.
Он духом создан был твоим:

Как ты могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

В другом стихотворении — «Так море, древний душегубец...» (1826) — этот символ дан в другой, скорбной тональности. Стихотворение написано в связи с распространявшимися слухами (оказавшимися, впрочем, неверными), что Н. И. Тургенев, находившийся в Англии, арестован по делу декабристов и пересылается в Петербург. Оно заканчивается пессимистическими строками о «гнусном веке», когда «Седой Нептун земли союзник».

Особый случай в лирике Пушкина — однородные вариации тем и мотивов, вернее, возврат к однажды уже разработанным темам и мотивам с целью новой их интерпретации, вызванной коренными изменениями и в общественной жизни и в биографии поэта. С этой точки зрения специального изучения заслуживают написанные в разное время парные стихотворения, как, например, о талисмানে. В стихотворении «Храни меня, мой талисман» (1825) — талисман может спасти от всех бед, в том числе «во дни гоненья» и в дни, когда «грозою грянут тучи». После разгрома декабрьского восстания и нагрянувших бед Пушкин пишет другое стихотворение на ту же тему — «Талисман» (1827), но теперь та же тема дана в ином контексте — неумолимости рока.

Парными стихотворениями с измененными трактовками мотивов и в совершенно разных эмоциональных тональностях являются и два стихотворения с одинаковыми названиями «Воспоминание в Царском Селе»; первое — 1814 г., мажорное, одическое, и позднейшее — с трагической окраской, датированное 14 декабря 1829 г.

Новой в пушкинской лирике последекабрьского периода стала символика, основанная на остром переосмыслении библейских образов и мотивов. Раньше, в политической поэзии Пушкина 20-х гг., библейская символика исполь-

зовалась большей частью с оттенком иронии (см., например, в послании «В. Л. Давыдову», 1821), библейские образы в 10-х и в первой половине 20-х гг. носили характер пародийный, фривольный, вольтерьянский (наиболее показательной является в этом отношении «Гавриилиада»). В политической же лирике Пушкин прибегал тогда преимущественно к символике, связанной с греческой и римской историей, с образами героев древних республик. После разгрома восстания декабристов положение изменилось. Возможности использования античной республиканской символики в легальной поэзии затруднялись. Ведь в ответах декабристов Следственному комитету на вопрос об источниках вольномыслия часто указывалась история античных республик. В новых условиях Пушкин обратился к возможностям другой символики — библейской, но и тут дело обстояло не так просто: ведь и Библия использовалась тайным обществом в политической пропаганде (вспомним такой пропагандистский документ, как «Катехизис» Муравьева-Апостола, где утверждалось, что сам бог был врагом самодержавия). Все же, несмотря на бдительность цензуры, совсем запретить возможность использования в поэзии библейских мотивов было нельзя. Пушкин опирался при этом на свой прежний опыт, связанный, правда, не с Библией, а с Кораном. Б. В. Томашевский раскрыл в своей работе о «Подражаниях Корану» их идейный смысл, заметив, что Пушкин остался чужд религиозно-мистическому содержанию этого поэтического памятника и истолковал его мотивы в духе высокой гражданской поэзии. Используя библейские образы и символику, Пушкин следовал традициям, которые сложились в вольнолюбивой лирике еще первой половины 20-х гг. Он обогатил эти традиции, развил их по-новому в многоплановой художественной системе³⁶.

В контексте этой системы связывается воедино и приобретает во многом новое звучание ряд стихотворений

Пушкина о поэте и роли поэзии, написанных в последекабрьский период, в 1826—1836 гг.

Мне уже приходилось подробно анализировать историю создания и содержание этого цикла, в который входят стихотворения «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Я памятник себе воздвиг...» (1836). Каждое из этих стихотворений имеет свои особенности, но весь цикл пронизывает *общий* мотив защиты высокого назначения поэта, враждебного низменным интересам, погоне «за минутной славой», а сам образ поэта — образ человека гонимого, одинокого среди враждебной среды, человека, который окружен ненавистью, подвергается преследованиям, травле, но остается тверд и непоколебим. Но эту характеристику цикла теперь можно дополнить.

Прежде всего следует подчеркнуть, что стихотворение «Пророк», написанное после казни декабристов, является основным *ключевым* произведением, определяющим идейное содержание и символику всего цикла. В условиях 1826 г. оно воспринималось как декларация верности гражданскому призванию поэта.

Цикл о поэте и его роли имеет и более *общий* морально-этический смысл: здесь поэт не только «взыскательный художник» и учитель народа; он становится для всех примером поведения *человка-гражданина*, примером стойкости, мужества, непримиримости ко злу, несмотря на все преследования.

Каждое стихотворение цикла, будучи связано общей идеей высокого назначения поэта, воплощает разные грани центральной идеи. «Пророк» — поэтическая декларация о назначении поэта. В «Поэте» — развитие того же мотива о «божественном глаголе»; художник может быть «всех ничтожней» в обыденной жизни, но очищается от забот «суетного света» в священном служении своему высокому

делу. В стихотворении «Поэт и толпа» — обличение толпы, преследующей поэта за его отказ пренебречь своей свободой и независимостью. Сонет «Поэту» — о подвиге поэта, о его мужестве перед лицом «толпы», которая «бранит» поэта, «плюет» на алтарь, где горит священный огонь поэзии. И, наконец, «Я памятник себе воздвиг...» является философски-историческим обобщением развитых в предыдущих стихах мотивов.

Ряд мотивов, символика, фразеология этого цикла связаны с декабристской трактовкой роли поэта, особенно в стихотворениях Кюхельбекера — «К Пушкину» (1818), «Поэты» (1818), «А. П. Ермолову» (1821) — и Рылеева — «Н. И. Гнедичу» (1821), «Державин» (1822), «На смерть Байрона» (1824—1825). В этих произведениях, как впоследствии и в цикле стихов Пушкина, воплощен идеал свободного, независимого поэта-гражданина, мужественного и смелого обличителя зла, пророчески возвещающего истину. Мотив стихотворения Пушкина «Поэту» — «ты царь» — ассоциируется с стихотворением Кюхельбекера «А. П. Ермолову», где о поэтах сказано: «Царь не поставлен выше их», общая же идея пушкинского цикла непосредственно соотносится с мотивом оды Рылеева «Державин»:

...нет выше ничего
Предназначения поэта...

Может показаться, что стихотворение «Поэт и толпа» все-таки выпадает своим содержанием из всего цикла. Конечно, теперь уже никто не утверждает, что «чернь» здесь — «простой народ», или, по выражению Д. И. Писарева, «неимущие соотечественники». Но все еще встречаются рецидивы истолкования этого стихотворения как декларации, шеллингианской в своей основе, или как апологии «звучков сладких и молитв», в противовес «житейскому волнению». Неправильное истолкование этого стихотворения происходит, в частности, и потому, что оно

изымается из всего пушкинского цикла о роли поэта и назначении поэзии. Прежде всего нужно еще раз подчеркнуть, что стихотворение «Поэт и толпа» должно восприниматься в контексте идей, содержания, фразеологии всего цикла. Связь стихотворения «Поэт и толпа» с ключевым образом «Поэта» и «Пророка» поддерживается эпиграфом, который Пушкин первоначально думал препослать этому стихотворению, — эпиграфом из Книги Иова: «Послушайте глагол моих». Эпиграф этот находится в черновом автографе стихотворения «Поэт и толпа»³⁷.

Известно, какую большую роль Пушкин придавал эпиграфам в качестве своеобразного камертона, направляющего слушателя на определенное восприятие произведения. Эпиграф из Иова в этом отношении знаменателен. Образ многострадального Иова, доблестного мужа и судьи людей, поднят в ветхозаветной поэме до пророческого обличения всемирного зла. Ко второй половине 20-х годов относится работа Федора Глинки над поэтическим переложением Книги Иова (отрывки были напечатаны в 1827 г. в № 7 «Сына отечества»). Оно смыкалось с характерными для декабристской поэзии темами обличения зла, несправедливости и гонений. Именно поэтому цензура запретила тогда Ф. Глинке печатать переложение³⁸.

Сам выбор Пушкиным эпиграфа из Иова к своему стихотворению не был случайным. Глубокий интерес Пушкина к этой книге подтверждается сообщением П. В. Киреевского о том, что Пушкин собирался целиком ее переводить. Все это в еще большей степени проясняет замысел стихотворения не только как «защитительного» перед судом светской черни: поэт гневно обличает враждебную толпу «клеветников», «рабов», «глупцов» (в черновике есть и другие эпитеты — «тираны», «подлецы», «грабители»). Пушкин впоследствии заменил эпиграф другим — из Горация, но первоначально намеченный эпиг-

раф важен для уточнения эмоционально-психологического контекста стихотворения³⁹.

Могут возразить: разве не в противоречии с традицией гражданской поэзии находятся заключительные строки о служителях муз, рожденных

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв...

Вспоминая поистине удивительную историю истолкования этих строк критикой, хочется напомнить слова Декарта, которые любил повторять Пушкин: «Определяйте значение слов и вы избавите человечество от половины заблуждений». «Житейское волнение» подразумевает здесь борьбу, не гражданское служенье, не «битвы» во имя торжества справедливости, а житейскую суету. В этом смысле Пушкин не раз высказывался и в статьях, и в письмах, и в художественных произведениях. (Так, в «Египетских ночах» высокая поэзия противопоставляется «житейской необходимости», которая заставила итальянца-импровизатора пускаться в «меркантильные расчеты».)

В стихотворении «Поэт и толпа» содержится непосредственное обличение тиранов и палачей. Это строки, которые Писарев в свое время использовал в качестве самого «убийственного» аргумента в своем «разоблачении Пушкина», строки, смысла которых даже и в современных работах предпочитают не касаться. Поэт, обращаясь к «толпе», восклицает:

Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...

Из комментариев Писарева следовало, что Пушкин считал народ заслуживающим бичей, темниц, топоров. На самом деле смысл этих строк, если исходить из всей концепции стихотворения, совершенно иной: бичи, темницы, топоры— средства, которыми владеют «тираны» и «подлецы» для

своих низких целей. «Чернь тупая» (чернь светская) хотела бы, чтобы поэт служил ей, был на ее стороне. Именно этот смысл казавшихся сакраментальными слов и расшифровывается в строках автографа, не вошедших в окончательный текст:

...поэт ли будет
Возиться с вами горяча
И лиру гордую забудет
Для гнусной розги палача!

Оставаясь верным общему с декабристами пониманию роли высокой гражданской поэзии, Пушкин вместе с тем значительно шире понимал задачи художественного творчества. Еще в 1825 г. он спорил с Рылеевым и Бестужевым, которые считали, что изображение жизненной прозы, «картин светской жизни» или «легкого и веселого» не является достойными предметами для поэта. Свое несравненно более широкое понимание роли литературы — с неограниченным кругом тем и образов — Пушкин развил в стихотворении 1832 г., адресованном Н. И. Гнедичу как переводчику «Илиады». Работая над этим стихотворением, Пушкин, вне всякого сомнения, вспоминал или перечитывал рылеевское «Послание к Н. И. Гнедичу» (1821). Уже первой строкой своего стихотворения — «С Гомером долго ты беседовал один» — Пушкин напоминал о послании Рылеева, где есть обращение к Гнедичу: «С Гомером отвечай всегда беседой новой». Но если у Рылеева образ Гнедича воплощает лишь представление о поэте как представителе только высокой поэзии, то у Пушкина он не только «пророк», который «вынес» «свои скрижали», но художник, которому близко все окружающее, который откликается на все в мире:

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.

Заключительные строки пушкинского послания — это,

по сути, декларация о беспредельной широте поэтического творчества.

Особый интерес представляет публицистика Пушкина периода последекабрьской реакции, приемы, с помощью которых ему удавалось проводить в печать свои выступления на острые темы. В лирике условность и метафоричность поэтического языка открывали больше возможностей для выражения настроений автора и для всякого рода иносказаний, чем в статьях, подвергавшихся усиленной цензурной фильтрации. И все-таки даже для публицистических жанров Пушкин находил формы, позволявшие ему часто сказать именно то, что он хотел.

Одним из самых любопытных с этой точки зрения является первая из его увидевших свет после восстания публицистических статей — «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанная в альманахе «Северные цветы на 1828 год». Она появилась без подписи, но имя Пушкина в литературных кругах легко угадывалось. Так, рецензент «Северных цветов» в «Московском телеграфе» писал: «Мы с любопытством прочитали... «Отрывки из писем, мысли и замечания» и угадали имя автора. Тут много остроумного, много глубокомысленного... Думаем, что Сочинитель нарочно перемешал дело с бездельем, чтобы заставить читателя угадать, что пишет он шутя и что не шутя»⁴⁰. И в самом деле: Пушкин здесь избрал своеобразный прием: прихотливую мозаику «Отрывков» — рядом с невинными анекдотами и светскими остротами (например, «Магомет оспаривает у дам существование души» — пример невежливости), и в замечания о литературе искусно вмонтированы рассуждения на острые, злободневные темы.

В пушкиноведении это выступление Пушкина долгое время возводилось к жанру «Замечаний о людях и обще-

стве» его дяди, напечатанных в альманахе «Литературный музей». Основанием для такого сопоставления послужило незаконченное предисловие Пушкина к своим «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям», оставшееся в рукописи. Но это предисловие носит, конечно, иронический, пародийный характер. Вот его текст.

«Дядя мой однажды занемог. Приятель посетил его. «Мне скучно,— сказал дядя,— хотел бы я писать, но не знаю о чем».— «Пиши все, что ни попало,— отвечал приятель,— мысли, замечания литературные и политические, сатирические портреты и т. п. Это очень легко: так писывали Сенека и Монтень». Приятель ушел, и дядя последовал его совету. Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически рассуждал, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают иногда сущие безделицы. В эту минуту принесли ему журнал, он в него заглянул и увидел статью о драматическом искусстве, написанную рыцарем романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и написал: я предпочитаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону—несмотря на крики новейших критиков. Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постель. На другой день послал он их журналисту, который его учтиво благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные»⁴¹.

Действительно, замечания В. А. Пушкина на редкость убоги, в них, например, есть такие «перлы» глубокомыслия: «Говори с людьми умными, вежливыми; их беседа всегда приятна, и ты им не в тягость»; «Любовь— прелесть жизни; дружба— утешение сердца. О них говорят много, но редкие их знают»; «Нищий просит малого; но ты, подавая ему милостыню, делаешь для себя многое»⁴².

Понятно, что первоначально задуманное Пушкиным предисловие к своим «Отрывкам» преследовало цель противопоставить свою статью опусам дяди и было написано

вовсе не потому, что Пушкин «первоначально хотел написать свое произведение от имени своего дяди».

Если возводить традиции Пушкина в этом жанре к предшественникам, то уж, конечно, не к Василию Львовичу, а к Ларошфуко и особенно к Монтеню — великому писателю французского Возрождения, «Опыты» которого являются замечательным памятником идеологически и композиционно продуманных фрагментарных записей на разрозненные темы — рассказов, анекдотов, воспоминаний, цитат, сентенций и т. п. На русской почве и в тягчайшей обстановке последекабрьской реакции подобные формы нашли какое-то своеобразное преломление, и не только у Пушкина: условия поднадзорности и полицейского сыска иногда приводили к необходимости выражать свои мысли и переживания цитатами, поговорками или простым упоминанием исторических фактов. С этой точки зрения характерен монтаж такого рода, оставшийся в бумагах декабриста А. А. Бестужева⁴³.

Наиболее важна в «Отрывках» Пушкина заметка, связанная с развернутой в 1818 г. полемикой вокруг «Истории государства Российского» Карамзина — полемикой, в которой особенно большую роль сыграли видные деятели декабризма Н. М. Муравьев и М. Ф. Орлов. «Записка» Никиты Муравьева получила значительное распространение в рукописных копиях, широко известны были также письма, критиковавшие карамзинскую «Историю...» и адресованные П. А. Вяземскому. Пушкин, так же как и декабристы, выразил в то время свое отношение к монархической концепции карамзинского труда в эпиграмме:

В его истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелесть кнута⁴⁴.

Для того чтобы прояснить политическую остроту за-

метки Пушкина на эту тему, нужно кратко остановиться на некоторых обстоятельствах, предшествовавших ее появлению.

Карамзин умер в 1826 г. Его кончина была использована реакционными кругами и «благонамеренными» литераторами для восхваления российского историографа как человека, жизнь которого должна быть примером беспредельной преданности самодержавию, верности государю. В обстановке разгрома восстания декабристов этим кругам было особенно выгодно противопоставить авторитет этого писателя деятелям 14 декабря, аттестовавшимся в печати в качестве государственных преступников, изменников царю и родине. При этом всячески восхвалялась монархическая тенденциозность «Истории государства Российского» и замалчивались те стороны деятельности автора, которые вопреки этой тенденциозности имели немалое прогрессивное значение. Сигналом для всей этой агитационной кампании явились два события. Первое — рескрипт, данный на имя Карамзина во время его болезни Николаем I. Здесь коронованный тюремщик декабристов отмечал «благородную бескорыстную» привязанность автора «Истории» к покойному государю Александру, а также заявлял: «...за себя самого и за Россию изъявляю вам признательность, которую вы заслуживаете своей жизнью как гражданин и своими трудами как писатель». Вторым событием, восторженно отмеченным печатью, было «целование» Николаем I усопшего Карамзина накануне его погребения. Оба эти факта ознаменовали официальную канонизацию облика историографа: почти всюду в печати он восхвалялся в духе царского рескрипта, и одновременно отмечались «мудрость» и «величие» Николая I. Восхваление Карамзина реакционерами подогревалось и еще одним обстоятельством: тогда стало широко известно осуждение Карамзиным декабристов. В письме к И. И. Дмитриеву он писал: «Первые два выстрела рас-

сеяли безумцев с «Полярной звездой», Бестужевым, Рылевым и их достойными клеветами». Вяземского Карамзин уговаривал даже в разговорах не вступаться за «преступников», ибо они виновны «по всемирному, вечному правосудию»⁴⁵.

Атмосфера официальной канонизации Карамзина ставила в очень трудное положение тех его друзей и почитателей, которые, будучи противниками монархической концепции историографа, считали своим долгом откликнуться на его смерть и отметить действительные заслуги замечательного исследователя. Верноподданнические некрологи и статьи о смерти их возмущали. «Как они холодны, глупы и низки», — писал Пушкин Вяземскому 10 июля 1826 г. В этой обстановке молчание литераторов «из круга просвещенных друзей Карамзина» (слова Вяземского в письме к А. Тургеневу в январе 1827 г.) ощущалось ими самими как «неприличное». Из переписки людей этого круга (Вяземского, А. Тургенева, Пушкина, Жуковского и других) видно, с каким усердием каждый из них уговаривал другого напечатать что-либо о Карамзине, но под разными предлогами все отказывались от этой миссии. Главная же причина заключалась, конечно, в сложности ситуации: в развернувшейся кампании никто не хотел ни оказаться верноподданным, ни (что было опасно) выглядеть оппозиционером⁴⁶.

В письме к Пушкину 12 июня 1826 г. (посланном с верной оказией, а не через почту) Вяземский упрекал ссыльного поэта (находившегося тогда в Михайловском) в том, что он «грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов». В ответ на это письмо Пушкин, глубоко оскорбленный, писал Вяземскому (10 июля 1826 г.): «Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так

что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю». Пушкин здесь защищал не только свою честь, но и тех, которые, находясь в это время в Петропавловской крепости, ожидали казни, каторги или ссылки.

В этом же письме Пушкин, подтверждая, что ему принадлежит одна из эпиграмм на Карамзина, признавал вместе с тем, что «Карамзин принадлежит истории», и рекомендовал Вяземскому принести дань его памяти. При этом Пушкин намекал, что Вяземский должен использовать особые приемы «красноречия», которые позволили бы обойти цензурный контроль, противопоставить «глупым» и «низким» верноподданническим статьям официальной прессы свою характеристику историографа. В ситуации этого времени такое выступление в печати, как бы оно ни было завуалированным, требовало не только мастерского владения искусством иносказаний, но и гражданского мужества. Автору предстояло «сказать все», не говоря в прямой форме ничего. Ни Вяземский, ни другие из его круга на это не пошли. На такое выступление решился только Пушкин. Лаконичную, но весьма выразительную заметку о Карамзине он искусно вмонтировал в «Отрывки из писем, мысли и замечания». Помещенное среди мозаичной смеси анекдотов, светских острот (вроде «примеров вежливости по отношению к дамам») и сентенций на литературные темы выступление Пушкина о Карамзине проскочило через цензуру. Суть заметки — в скрытой полемической направленности против официальной трактовки роли Карамзина.

Все ее значение раскрывается только при учете той политической ситуации, которая охарактеризована выше. Для своей заметки Пушкин использовал сохранившийся фрагмент из воспоминаний, которые он писал в Михайловском и затем уничтожил, опасаясь после восстания декабристов ареста или обыска (этот фрагмент помещен теперь в собраниях его сочинений в разделе «Автобиогра-

фическая проза» под заголовком «Карамзин»). Готова публикацию в «Северных цветах», Пушкин завуалировал ее прямой политический смысл, но полностью сохранил основную направленность.

Вначале он отметил сильное впечатление, которое произвел выход «Истории государства Российского», ибо для светских людей история отечества была «новым открытием» (в рукописи воспоминаний об этом сказано резко: «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную»). Это утверждение перекликается с сатирическими словами Пушкина (в тех же «Отрывках», напечатанных в «Северных цветах») о людях, которые «историю знают только со времени кн. Потемкина», но «со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке». Далее Пушкин говорит о глупости «светских суждений» по поводу «Истории» и о беспомощности журнальной критики. Но совсем иначе оценивается в заметке критика Карамзина, которая шла из лагеря декабристов.

За инициалом «Н» читателями, хорошо помнившими возникшую борьбу вокруг карамзинского труда, легко угадывался Никита Муравьев, автор одного из наиболее острых разборов концепции этого труда. Никиту Муравьева Пушкин охарактеризовал здесь словами «пылкий и умный». Такая аттестация в печати «государственного преступника», видного деятеля Северного общества, сочинившего проект конституции и осужденного на каторгу, является актом беспримерным в подцензурной печати этого времени, актом гражданской смелости. Легкое порицание Никиты Муравьева выражено лишь в том, что он «разобрал предисловие», а не весь труд. А ведь в той части «Мыслей об Истории государства Российского», которая разошлась в рукописных копиях и была известна Пушкину, Н. М. Муравьев, разбирая предисловие к «Ис-

тории», подверг критике самую сущность исходных монархических позиций автора. Здесь же Пушкиным упомянут и другой критик Карамзина из декабристского лагеря — М. (подразумевается Михаил Орлов), который в получившем тогда же известность письме к Вяземскому «пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян». Напоминание Пушкиным о декабристской критике Карамзина было в обстановке наступившей реакции и официозных восхвалений историографа безусловно демонстративным (тем более что жанр «Отрывков из писем, мыслей и замечаний» позволял говорить также о смерти Карамзина и о связанных с нею событиях — рескрипте Николая I и проч. Но об этом в заметке Пушкина не сказано, разумеется, ни слова)⁴⁷.

Немалые трудности представляла для Пушкина необходимость выразить в этой заметке свое собственное отрицательное отношение к монархической концепции Карамзина («обширную ученость» его и значительность труда он признавал). В рукописном тексте, на основе которого писалась заметка, это отношение выражено, как противопоставление «размышлений в пользу самодержавия» «верному рассказу событий», опровергающему эти размышления. При этом Пушкин подчеркивал, что «молодые якобинцы» «забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России». В заметке же, напечатанной в «Северных цветах», Пушкин оставил из всего этого лишь одну, но весьма многозначительную фразу: «Многие забывали, что Карамзин печатал свою «Историю» в России». Об антимонархической направленности критики Карамзина декабристами напоминали и другие строки, оставшиеся в «Северных цветах»: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина». Этих «остряков», пародировавших «Историю» Карамзина, Пушкин порицал только за то, что «почти ни-

кто из них не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых двенадцать лет жизни безмолвным и неутомимым трудам»⁴⁸. Конечно, ничто не мешало читателям, ориентированным в сути дела, понять суть пародий «остраков».

В результате всех этих приемов иносказаний и намеков Пушкину удалось обойти цензурные препятствия и единственному из литераторов противопоставить реакционно-монархической кампании в печати в связи со смертью историографа свое отношение к его труду (характерно, что Пушкин не касался здесь других сторон деятельности Карамзина, так как именно его «История» была центральным объектом этой кампании), к его заслугам в изучении прошлого России.

Заметка Пушкина одновременно явилась и ответом Вяземскому, осуждавшему пушкинскую эпиграмму на Карамзина и назвавшему «сорванцами и подлецами» тех, кому она нравилась. Своей явно сочувственной характеристикой Никиты Муравьева Пушкин косвенно оправдывал и свою эпиграмму, которая сатирически обобщала основные положения принадлежавшего Муравьеву критического анализа карамзинских концепций.

В эпиграмме Пушкина основная ее идея полностью соответствует ходу мыслей Муравьева в его критике предисловия к «Истории» Карамзина. Муравьев отмечал установку автора на «красоту повествования» и доступность для «простого гражданина», а эпиграфом взял слова знаменитого римского историка Тацита «Без гнева и пристрастия...» и т. д.; этому соответствуют у Пушкина в эпиграмме слова об «изящности», «простоте» «Истории» и отсутствии в ней «всякого пристрастия». У Муравьева основной тезис Карамзина о том, что правители, обуздывая бурное стремление граждан, даруют им «возможное на земле счастье», расшифровывается как желание

«насильствами учреждать и самый порядок». Пушкин обобщил эту же мысль в словах: «необходимость самовластья и прелести кнута».

Нельзя, как это было до сих пор, рассматривать заметку о Карамзине только лишь как вариант отрывка из воспоминаний Пушкина, относящихся к периоду до 14 декабря 1825 г. Заметка, подготовленная в 1827 г. для «Северных цветов», получила в данной политической атмосфере новое значение и новую направленность. Она представляет собою первое печатное публицистическое выступление Пушкина после разгрома восстания декабристов. Тем более симптоматично, что в нем содержится зашифрованное упоминание о декабристах и об их идеологической борьбе⁴⁹.

В свои «Отрывки...» Пушкин включил и заметку, связанную с тем спором о гордости потомства дворянским происхождением из старинных родов, который Пушкин вел в свое время в переписке с Рылеевым и Бестужевым. В этой заметке Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». «Государственное правило,— говорит Карамзин,— ставит уважение к предкам в достоинство человеку образованному». ...*Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца? Mes arrières-neveux me devront cet ombrage!*»*

Связь заметки с перепиской Пушкина с Рылеевым и Бестужевым отмечает Ю. Г. Оксман⁵⁰. Но до сих пор не обращено внимание на два момента: во-первых, Пушкин

* Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью (франц.).

переводит здесь спор в иной план: если раньше он утверждал, что «аристократическая гордость» — условие сохранения писателями своей независимости, и защищал в связи с этим свое шестисотлетнее дворянство, то теперь он говорит о «славе предков» независимо от сословности. Эту мысль он поясняет следующим образом: «Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения...». Выразительное многоточие является здесь, как и в других случаях, сигналом для внимательного читателя: ведь речь шла, несомненно, о национально-освободительной борьбе греков и о республиканской традиции Древней Греции, нередко упоминавшейся в политической лирике Пушкина и декабристов. Тем самым Пушкин в своей заметке намекал, что его трактовка «славы предков» не только не противоречит идеалу свободы, но прямо связана с борьбой за него.

Во вторых, не случайно сразу же за этой заметкой Пушкин поместил рассуждение о тайных обществах: «Сказано: *Les sociétés secrètes sont la diplomatie des peuples**. Но какой же народ верит права свои тайным обществам и какое правительство, уважающее себя, войдет с оными в переговоры?»

Злободневной была и другая заметка, включенная в те же пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания»: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и еще не игранный и не напечатанный». В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!»

* Тайные общества — дипломатия народов (франц.).

В этой заметке имеется в виду книга французского писателя М.-Ф. Ансело «Six mois en Russie. Paris — Bruxelles. 1827»*.

Смысл заметки заключался прежде всего в том, чтобы привлечь внимание читателей к этой запрещенной в России книге.

Слова Пушкина о «комедии, лучшей из всего русского театра и еще не игранный и не напечатанный», — это о «Горе от ума». Ансело отмечает, что по цензурным соображениям комедия Грибоедова оставалась тогда не напечатанной и не поставленной в театре. Слова о «забавной словесности» звучали в пушкинской заметке отнюдь не иронически. Здесь чувствуется горечь, вызванная положением, в котором находилась литература. Можно полагать, что самый характер заметки был противопоставлен тому краткому отчету о данном в честь Ансело обеде, где, по сообщению «Северной пчелы», «первым тостом было здравие все милостивейшего правосудного государя, который, облагодетельствовав Карамзина, почтив вниманием своим Крылова, Жуковского, ободрил, почтил и оживил Русскую Словесность. Усердные восклицания непринужденного восторга последовали за сим тостом»⁵¹.

Книга Ансело во многом поверхностна, противоречива; наряду с реверансами в сторону Николая I здесь есть и острые характеристики политического характера, что и вызвало ее запрещение в России. Среди этих характеристик выделяется сочувственное упоминание о Пушкине как о «молодом талантливом» поэте, который был сослан.

В этой же книге был приведен прозаический перевод самого острого политического стихотворения Пушкина «Кинжал», который характеризуется здесь как выражение республиканского фанатизма. Правда, здесь же Ансе-

* «Шесть месяцев в России. Париж—Брюссель. 1827» (ф р а н ц.).

ло замечает, что царь «умерил общественную экзальтацию» среди молодежи, которая могла бы привести к преступлению целое поколение.

Несмотря на компромиссность и ошибочность многих суждений Ансело, его книга в обстановке политического террора в России того времени могла играть определенную положительную роль, и с этой точки зрения заметка Пушкина звучала весьма актуально.

Как видим, пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания» представляют собой произведение сложной структуры. Эта статья была специально ориентирована на читателя, хорошо знающего «предмет» и ситуации, о которых здесь говорится в скрытой форме и путем тонких намеков.

Эти факты — свидетельство стремления Пушкина всеми средствами запечатлеть в сознании современников и потомства память о декабристах, защитить дело героев и жертв одного из крупнейших событий русской истории XIX в.

ЭПИЛОГ

«Сердце в будущем живет...»

Шли годы. Восстание декабристов уходило в историю. Но Пушкин вновь и вновь возвращался к людям 14 декабря, ставших «историческими лицами». А после его смерти среди рукописей нашлись планы романа, где прототипами были Грибоедов, Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев — трое последних объединены в «Общество умных».

Мысли о прошлом вплетались в раздумья о будущем. Возможность прозрения будущего пролегла через опыты истории: «одна только история народа может объяснить истинное требование оного: так считали и декабристы: «Для нас необходим фонарь истории» (А. А. Бестужев); нужна история «не только для любопытства или умозрения, но путеводит нас в высокой области политики» (М. С. Лунин)¹.

Пушкина всегда интересовали восстания: России XVII в., XVIII в., стрельцов, Разина, Пугачева... Он изучал революционный опыт Европы, французских революций, движения греческих повстанцев, борьбы карбонариев в Италии 1820—1821 гг., «возмущения» в других странах. Обращался к далекому прошлому, к античным республикам, их легендарным героям, их самоотверженной борьбе с тиранами.

Исторические факты вели к размышлениям о силах, которые примут участие в будущих восстаниях. «Кто были на площади 14 декабря? — Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? — Не знаю, а кажется — много». Исследователи не раз обращались к этим строкам, больше в связи с вопросом о судьбах дворянства. Но важнее в этой заметке убежденность в неизбежности грядущего переворота. Масштабы пушкинского мышления, глубокая вера в непрерывность исторического прогресса не допускали предположения о неизбежности режима деспотии. Кто станет организатором нового «возмущения», как произойдет крушение режима? Ответа тогда не могло быть. Время для реальных прогнозов еще не пришло. Новая философия истории только еще складывалась в сознании Пушкина, поиски были оборваны трагической гибелью².

Конечно, он не считал, что роль «просвещенного дворянства» закончена, были в этом сословии люди, враждебные николаевской реакции. Вместе с тем он внимательно присматривался к появлению в общественной жизни людей из «среднего сословия», разночинцев. Выдвигались и писатели, «не принадлежавшие к дворянскому сословию», их было пока немного; но, как многозначительно заметил Пушкин, это «есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия». Ведь тогда только еще начиналась деятельность Белинского, Пушкин заинтересовался им и хотел его привлечь к сотрудничеству в своем журнале «Современник».

Но еще более волновали Пушкина крестьянские бунты, не утихавшие и в 20-е, и в 30-е гг., хотя и носившие ограниченный характер.

Еще только зарождалась мысль о возможности в неопределенном времени победы в условиях, когда крестьянская «стихия мятежей» будет соединена с силами «просвещенного разума». В некоторых символических очертаниях

намечен в черновых фрагментах «Сцен из рыцарских времен» характер подобных восстаний. О замысле пьесы можно судить по ее плану. В центре два героя — Франц, поэт, выходец из мещан, чуждый буржуазному меркантилизму отца и враждебный высшему рыцарскому клану; Бертольд — брат его, ученый-новатор, изобретатель, искатель средств, которые уничтожили бы все преграды «творчеству человеческому». Происходит «восстание крестьян, возбужденное молодым поэтом», дальше в плане лаконично названы события и последствия восстания: «Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь — воплощенная посредственность — убит пулей». В финале «пьеса кончается размышлениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерии)».

В литературе «Сцены из рыцарских времен» долгое время не получали признания. Первым, кто дал высокую оценку этому незавершенному произведению, сравнив его с «Борисом Годуновым», был Чернышевский. В наше время пушкинистами замечено, что замысел пьесы находится в русле размышлений Пушкина о будущей революции в России³.

Пушкин однажды заметил: «Поэт не пророк, а угадчик». В стремлении «разгадать» «пружины» прошлого и будущего развития исторического процесса гениальная интуиция поэта помогала рациональному анализу, анализ поверял интуицию. В стихотворном наброске «О сколько нам открытий чудных...» запечатлен сам процесс поисков и обретения истины, относились ли они к науке, технике, к познанию хода истории: могучая сила, которую двигает «просвещенья дух», «опыт» — «сын ошибок трудных», значение «парадоксов», «случай — бог изобретатель». Были и в самой жизни Пушкина времена «ошибок трудных», но они совершались в поисках верных решений⁴.

Все размышления Пушкина о прошлом и современнос-

ти, о прошлых и грядущих попытках переворотов возникли на фоне уроков восстания декабристов. Он понял, что это восстание не могло победить, но не считал, что оно было случайным эпизодом истории: «Не пропадет ваш скорбный труд»,— обращался он к друзьям-каторжникам.

Каков же все-таки удельный вес вопроса о том, почему Пушкин не был принят в члены тайного общества? Казалось бы, после многих исследований проблемы «Пушкин и декабристы» этот вопрос должен быть снят как дискуссионный. Факты и материалы, приведенные в разных работах, и в том числе в этой моей книге, свидетельствуют о главном: среди мотивов, по которым Пушкин остался не вовлеченным в подпольную деятельность декабристов, не было и тени сомнений в его ненависти к самодержавию, в его одержимости борьбой против крепостничества и деспотического режима. И это *главное*. Среди причин, которые заставляли декабристов воздержаться от приема Пушкина в тайное общество, выделялись две: одна — открытость его характера, неосмотрительность демонстрации своих политических взглядов, что совершенно не вязалось с требованиями строгой конспирации; другая причина заключалась в том, что и до ссылки Пушкина, и тем более после, он состоял под неусыпным полицейским надзором и уже само это обстоятельство исключало возможность привлечения в секретную организацию. Друзья Пушкина, несмотря на его пылкое желание вступить в члены тайного общества, все-таки не пошли на это, сохранив гениального поэта «для славы России»,— так писал Пушкин, когда размышлял о судьбе его дарования, если бы он оказался на сибирской каторге⁵.

Независимо от того, был ли Пушкин членом тайного общества, он стал крупнейшим выразителем идеалов освободительного движения декабристской эпохи и хранителем лучших традиций движения. Он испытывал постоянное влияние грозовой атмосферы, в которой действовали

декабристы, и сам влиял на ход их борьбы не только политическими идеями своей поэзии, но и излучавшими ею эмоционально-психологическими импульсами героической борьбы, самоотверженности.

В письме к П. А. Осиповой 26 декабря 1835 г. Пушкин писал: «Как подумаю, что 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все это я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч., и проч.».

А в августе 1836 г., вскоре после десятилетней годовщины казни декабристов, поэт написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Оно оказалось эпилогом размышлений о своей жизни, о ее целях. Оно оказалось и последним из вольнолюбивой лирики Пушкина: разумеется, оно не было предназначено для печати, оно было, как и другие его произведения такого рода, «потайным». Не осталось и прижизненных копий этих стихов, а если бы они разошлись по рукам, возникло бы новое дело, более грозное, чем раньше об отрывке из стихотворения «Андрей Шенье».

Стихотворение о нерукотворном памятнике написано менее чем за полгода до гибели поэта, в обстановке травли, непонимания и клеветы. Впервые оно было напечатано Жуковским в 1841 г. с искажениями, заменой мотивов об «александрийском столпе» и о свободе — нейтральными словами, годными для цензуры. Подлинный же текст стал известен лишь через сорок лет.

Оглядываясь на весь свой путь, поэт был озабочен, верно ли поймут в будущем его жизнь, его судьбу. Об этом вещие строки:

...в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

В черновике вторая строка звучит иначе: «И милосер-

дие воспел» — о постоянных попытках поэта воздействовать на того, чьей тиранической волей лучшие люди России были казнены или сосуждены на каторгу.

Последняя строфа подтверждает верность поэта своему призванию, верность себе:

...Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету прислали равнодушно...

Направленность мысли поэта яснее из черновика: вместо «Обиды не страшась» вариант — «Изгнанья не страшась...».

Политическая острота стихотворения и его декларативность определены зачином о «нерукотворном» памятнике поэта, что вознесся «выше александрийского столпа». Это сравнение, столь опасное тогда, Жуковский заменил: вместо «александрийского» — «наполеонова». Ведь александрийский столп, по намерению Николая I, должен был стать символом русского самодержавия, его силы и бессмертия (сначала замысел был еще более тенденциозным — в виде гранитного обелиска с всадником, который попирал ногами змею, а перед всадником — летящий двуглавый орел). Торжественное открытие колонны произошло 30 августа 1834 г. в присутствии десяти тысяч войск и дипломатического корпуса. А Пушкин? Он был обязан по своему придворному званию камер-юнкера присутствовать на церемонии, но демонстративно уехал в Москву. Все это поясняет значение слов об «александрийском столпе», которому противопоставлен символический нерукотворный памятник непокоренного поэта.

В самом замысле заключено здесь и предвидение грядущих времен свободы «всей Руси великой».

«Сердце в будущем живет...» — в этих словах одного из пушкинских набросков выражено не одно лишь мимолетное настроение, а запечатлена неугасимая вера в исполнение светлых надежд.

ПРИМЕЧАНИЯ

Условные сокращения

Все тексты Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 16-ти т. Л., 1937—1949. При ссылках указывается сокращенно — «Пушкин», римскими цифрами том, арабскими — страница. В необходимых случаях приняты знаки, обозначающие: квадратные скобки — слова, зачеркнутые Пушкиным, угловые скобки — слова, предположительно прочитанные или неразборчивые.

Пушин — Пушин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956.

ВД — Восстание декабристов. Материалы по истории восстания декабристов, т. I—XVII. М.; Л., 1925—1980.

Летопись — М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, т. I.

Воспоминания — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1974.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Ссылки на источники и литературу сосредоточены в книге в одном сводном примечании к комментируемому абзацу. При повторении одного и того же опубликованного источника ссылка после первой цитации дается сокращенно.

Часть первая

ПРЕДДЕКАБРИСТСКОЕ «ПРИУГОТОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО МНЕНИЯ». — ОПЫТЫ ВОСПИТАНИЯ «ИСТИННЫХ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА»

1. У истоков

1. Общая ситуация в России начала XIX века охарактеризована в кн. М. В. Нечкиной «Движение декабристов» (М., 1955, т. I, с. 50—81)

2. Феномен Лицея. — Замысел и его судьба. — «Краеугольный камень»

2. Записка Булгарина «Нечто о Царскосельском лицее и духе оного» опубликована в кн. Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором», изд. 3 (Л., 1925, с. 35—51); Гастфрейд Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицее. Материалы для словаря лицейстов первого курса 1811—1817 годов. СПб., 1912—1913, т. III, с. 53.

В этой главе моей книги Лицей характеризуется кратко как один из ярких эпизодов формирования мировоззрения раннего преддекабристского движения, направленности лицейского воспитания, близкого «Законоположению» Союза Благоденствия, а также гервого общения Пушкина и Пущина с оппозиционными элементами будущих членов тайного общества. Подробнее об истории пушкинского Лицея, проектов его организации и связи с современными политическими событиями — в моей книге «Пушкин и его эпоха» (М., 1958, с. 2—172).

3. Наставление воспитанникам, читанное при открытии императорского Царскосельского лицея в присутствии Е. И. В. и августейшей фамилии 19 октября 1811 года адъюнкт-профессором Александром Куниным. СПб., 1811.

4. Для содержания и направленности лицейского воспитания весьма важны тетради сверстника Пушкина А. М. Горчакова с записями лицейских лекций. Они были обнаружены в личном архиве Горчакова, находившемся в Центральном государственном историческом архиве СССР в Москве (ф. 828). Затем они перешли в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ф. 244, объединяющий архив Пушкина и рукописную пушкиниану); Основные части лекций опубликованы мною в «Красном архиве», 1937, № 1.

5. ПД, ф. 244, оп. 25, № 370, л. 32, 32об.

6. Там же, № 367, л. 10, 10об., 88.

3. За фасадом.—«Святое братство».—«Готов для дела»

7. *Пилецкий* М. Замечание для господ гувернеров, моих сорудников по части нравственной и учебной.—Летописи Гос. лит. музея. Пушкин / Под ред. М. Цявловского. М., 1936, с. 466; Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899, с. 242; ПД, ф. 244, оп. 25, № 9, л. 2, 3, 5 об.—6.

8. *Штейнгейль* В. Записки касательно составления и само-го похода Санктпетербургского ополчения, отделение второе, ч. 2, с. 25.

9. Там же.

10. *Пушкин*, с. 53.

11. Отрывки из записок Д. И. Завалишина.—Древняя и новая Россия, 1879, № 2, с. 153, 154.

12. В словаре более двухсот записей (в упомянутой статье Ю. Н. Тынянова напечатано более двадцати, дополнительно тексты в моей публикации «Из неизданного литературного наследия декабристов» в кн. «Декабристы и русская культура» (Л., 1975, с. 185-203); полностью словарь еще не издан, в этой же части книги приводятся наиболее характерные определения.

13. *Нечкина* М. «Священная артель».—В кн.: Декабристы и их время: Материалы и сообщения / Под ред. М. П. Алексева и Б. С. Мейлаха. М.; Л.: изд. АН СССР, 1951, с. 178.

14. *Модзалевский* Б. Л. Пушкин под тайным надзором, с. 36; Показания Пушкина по делу о «Гавриилиаде».—В кн.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1955, с. 749.

15. *Пушкин*, с. 68, 69.

Часть вторая

МЯТЕЖНАЯ НАУКА И МЯТЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

1. Пора надежд и призывов к действию

1. *Пушкин*, XIII, 11.

2. Легальные и нелегальные литературные объединения. —Новаторы и «гасители»

2. Полярная звезда, 1824, с. 7.

3. ВД, т. 1, с. 433.

4. «Законоположение» Союза благоденствия, гл. V, § 48—52 (на значение этих формулировок для характеристики литературных

объединений и, в частности, Вольного общества любителей российской словесности впервые указал Ю. Г. Оксман в предисловии к кн.: Рыллеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934, с. XXIII).

5. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова, изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлин, 1870, т. I, с. 309, 84, 93.

6. Записки Филиппа Филипповича Вигеля. ч. 1, с. 361.

7. Чтение в Беседе любителей русского слова, кн. 5, с. 25, 26.

8. Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова. СПб., 1824, ч. 2, с. 27; Там же, ч. 17, с. 47.

9. Там же, ч. 3, с. 260, 261.

10. Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений, изд. 2. СПб., 1873, с. 45—48; Анненков П. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 108—112; Писарев Д. И. Пушкин и Белинский.— Соч. в 4-х т. Гослитиздат, М., 1956, т. III, с. 405—407; Пыпин А. История русской литературы. СПб., 1907, т. IV, с. 216; Русские ведомости, 1899, № 200. Значительно продвинулось изучение «Арзамаса» после выхода книги «Арзамас» и арзамасские протоколы» (Л., 1933, предисловие Д. Д. Благого, вводная статья М. С. Боровиковой-Майковой); о роли Пушкина в «Арзамасе» в связи с обстоятельно освещаемой историей этого объединения см. книгу М. И. Гиллельсона «Пушкин и арзамасское братство» (М., 1974).

11. Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором, с. 52—53.

12. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2011, л. 25.

13. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. 1816—1824, т. III, с. 93, 7; Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936, с. 204.

14. «Арзамас» и арзамасские протоколы, с. 193, 190, 191.

15. Там же, с. 206, 208, 210, 227.

16. Отчет имп. Публичной библиотеки за 1887 г., с. 82—85 (Приложения IV. Новые материалы для истории «Арзамаса». Программа журнала, который предполагало издавать арзамасское общество); Нечкина М. В. Движение декабристов, т. I, с. 183; Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, с. 222; «Арзамас» и арзамасские протоколы, с. 210—213; Там же, с. 223; Русский архив, 1866, с. 500 (выдержки из старых бумаг Остафьевского архива. Письма Дмитрия Васильевича Дашкова. Письмо 3, от 26 ноября 1815 года. СПб.) Уткинский сборник. М., 1904, с. 18.

17. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, с. 257; Там же, с. 485.

18. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2727, л. 170 (без даты).

19. «Вольное общество» как литературный центр декабризма освещалось в работах Б. Мейлаха «Пушкин в литературных объединениях декабристов» (Красная новь, 1936, № 1) и «Пушкин и русский романтизм»; затем в книге В. Базанова «Вольное общество любителей российской словесности» (Петрозаводск, 1949). Во втором издании книги (Л., 1964) оно названо «Ученая республика». Следует заметить, что это новое название является неоправданным, ибо оно маскирует разношерстный состав общества, о чем, кстати, свидетельствуют приложенные ко второму изданию списки его членов и протоколы заседаний.

20. Цитируется по печатному тексту речи, хранящейся в ПД, ф. 58, № 4, л. 103—114.

21. Грот Я. (в передаче Плетнева). Сб. отделения русского языка и словесности. СПб., 1868, т. V, вып. I, с. 184.

22. Письмо Каразина Кочубею. Впервые напечатано в «Русской старине», 1899, кн. V, с. 277, с. 277—279.

23. Русская старина, 1898, кн. XI, с. 244, 245; Мнемозина, 1824, III, с. 37.

24. Тексты Б. Л. Модзалевского «К истории «Зеленой лампы» в кн.: Декабристы и их время. М., 1928, т. I (далее цитируются ч. I с. 14—18, 29, 31, 32).

25. Подробнее об истории «Зеленой лампы» и круге ее интересов см. в кн. Б. Томашевского «Пушкин», кн. 1 (1813—1824) (Л., 1956, с. 193—234).

26. Статья Ю. М. Лотмана в кн. «Литературное наследие декабристов» (Л., 1975, с. 25—74).

Часть третья

ИДЕИ ДЕКАБРИСТОВ И ПУШКИНА О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ И ПУТЯХ КУЛЬТУРЫ

1. «Просвещенная свобода»

1. Декабрист М. С. Лунин. — Общественное движение в России. Письма из Сибири. М.; Л., 1926, с. 20.

2. Бестужев Н. А. Статьи и письма. М., 1933, с. 266; ВД, т. I. М., 1925, с. 430.

3. Бестужев Н. А. Статьи и письма, с. 173; ВД, т. IX. М., 1950, с. 117.

4. ВД, т. V. М., 1927, с. 105; Рылеев К. Ф. Полное собр. соч. М., 1934, с. 311

5. ВД, т. VII. М., 1958, с. 165, 305—309; Там же, т. V, с. 12.

6. Избранные социально-политические и философские произведения

ния декабристов. М., 1951, т. I, с. 244; говоря, что «Ломоносов обнял все отрасли просвещения», Пушкин пояснял: «История, ритор, механик, химик, минералог и стихотворец, он все испытал и все проник»; Пушкин, IX, 32.

7. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, с. 241.

8. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. I, с. 244; ВД, т. V, с. 202.

9. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу, с. 267.

10. Сборник императорского русского исторического общества. СПб., 1891, т. 78, с. 524.

11. Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч., с. 368; Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985, с. 88.

12. Полярная звезда, 1823, с. 3.

13. ВД, т. П. М., 1926, с. 166; Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. I, с. 512.

14. Это «письмо», написанное го-французски, особенно пишется А. Д. Улыбышеву, члену «Зеленой лампы». Текст его впервые был опубликован полностью в сб. «Декабристы и их время», т. I, с. 44—48; Мнемозина, 1824, ч. 2, с. 42.

15. Сын отечества, 1816, ч. 27, с. 161, 162.

16. Лекция Кюхельбекера о русской литературе. — В кн.: Декабристы-литераторы. Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 374, 375; см. анализ лингвистических взглядов Кюхельбекера в сопроводительной статье Б. В. Томашевского к публикации текста лекции (Литературное наследство, т. 59, с. 355—364).

17. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. I, с. 271; ВД, т. VII, с. 222; Там же, с. 264—268.

18. Бестужев А. А. Письмо к Н. А. и К. А. Полевым. 1 января 1832 г. — Русский вестник, 1861, т. 32, с. 319.

19. Декабристы и их время, т. I, с. 200.

20. Нечкина М. В. Движение декабристов, М., 1955, т. I, с. 264.

21. Записки, письма, статьи декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 9; Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. I, с. 271.

22. Кюхельбекер В. К. Стихотворения. М., 1967, т. I, с. 128; Там же, с. 103, 104.

23. ВД, т. IV. М., 1927, с. 191; Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 25; ВД, т. V, с. 12; Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма. Пг., 1923, с. 38.

24. Русские писатели о литературном труде. М., 1955, т. III, с. 107, 108.

25. Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч., с. 308.

2. «Дух преобразования» и роль литературы

26. Красный архив, 1928, т. 5 (30), с. 223 (письмо м-Пю Гюенне 18 ноября 1825 г. Подлинник по-французски).

27. Русская старина, 1893, № 5, с. 406, 407 (письмо К. Н. Батюшкову от 22 февраля 1816 г., подлинник по-французски), с. 404—405; Пыпин А. Н. Исторические очерки. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1900, с. 571, 572.

28. Поэзия декабристов, с. 270—275, 283.

29. Рылеев К. Ф. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма / Ред., подготовка текста и примечания Ю. Г. Оксмана, с. 150—153, 372 (подчеркнуто мною.— Б. М.).

30. Полярная звезда, 1824, с. 1—2; Полярная звезда, 1823, с. 41, 43, 44; Мнемозина, 1824, ч. 2, с. 31, 33—38 и др.

31. Пыпин А. Н. Исторические очерки. Общественное движение в России при Александре I, с. 553, 570.

32. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, 1816—1824. Т. III, с. 81.

33. Там же, с. 181, 197.

34. Там же, с. 220, 221.

35. Пыпин А. Н. Исторические очерки. Общественное движение в России при Александре I, с. 571; Бестужев Н. А. Воспоминание о Рылееве.— Воспоминания Бестужевых, с. 25.

36. Поэзия декабристов, с. 82; Сын отечества, ч. 101, № 10, с. 198, 199, 197; Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 123, 124.

37. Поэзия декабристов, с. 72.

38. Там же, с. 225, 81.

39—40. Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 15, 16; Полярная звезда, 1823, с. 29; Поэзия декабристов, с. 119, 120, 132, 133.

41. Полярная звезда, 1825, с. 14; Пушкин, XIII, 148, 149.

42. Пушкин, XIII, 141, 150.

43. Полярная звезда, 1825, с. 14.

44. Там же, 7, 8, 9.

45. Пушкин, XIII, 149.

46. Там же, XIII, 182—283.

47. Излагаемая здесь гипотетическая реконструкция по черновикам онегинского путешествия, как связанного с десятой («декабристской») главой романа, была дана в моей книге «А. С. Пушкин,

Очерк жизни и творчества» (Л., 1949, с. 113—115), затем к этой гипотезе я возвращался с уточнениями и дополнительной аргументацией (в частности, в главе «Евгений Онегин» в коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» (Л., 1966). В этой же главе дан обзор изучения романа). Если разделить существующие в литературе точки зрения на эволюцию Онегина, то окажется, что крайние из них таковы: одна — признание героя в итоге убежденным декабристом, другая — отрицание самой возможности его прихода к декабризму и даже... отрицание самого существования десятой главы (несмотря на свидетельство Пушкина и ряда современников о ее существовании). Между этими противоположными версиями располагаются промежуточные. Предлагаемая мною трактовка «путешествия» основана на принципе изучения динамики творческого процесса, восстанавливаемого по рукописи, анализа возникновения и перебора вариантов движения замысла (с учетом других косвенных данных).

Из работ последнего времени на эту тему см. соображения Ю. М. Лотмана в его книге «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Пособие для учителя. Изд. 2. Л., 1983; Дьяконов И. М. Об истории замысла «Евгения Онегина». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982, т. 10.; Пугачев В. В. К вопросу о Пушкине и декабристах. — В кн.: Тыняновский сборник. Первые тыняновские чтения. Рига, 1985.

48. *Пушкин*, VIII, 476. Далее при цитатах из «путешествия» указываются страницы этого тома из белого и черного текста.

49. Эти строки особенно важны в движении замысла эволюции Онегина и возможного изменения его мироощущения и усиления враждебности «свету» после возвращения из странствий («...попал, как Чацкий, с корабля на бал»).

50. *Пушкин*, XI, 163.

Часть четвертая

«...И ПОСТЕПЕННО СЕТЬЮ ТАЙНОЙ...» — В ОРБИТЕ ДЕКАБРИСТОВ ЮГА РОССИИ

1. Первая жертва революционной агитации: эпизоды изгнания Пушкина из столицы

1. *Пушкин*, XIII, 227, 548.
2. *Воспоминания*, т. II, с. 136.
3. Там же, т. 1, с. 207, 208.
4. *Летопись*, с. 193.
5. *Пушкин*, XI, 23.
6. *Летопись*, с. 195.

7. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1895, с. 286, 287.

8. Старина и новизна, кн. 1, 1897, с. 101.

9. Русская старина, 1887, январь, с. 215, 240; Памяти Сапулина. М., 1931, с. 162—165.

10. Пушкин, XIII, 548, 549.

11. Летопись, с. 261.

12. Там же, с. 358.

2. «Все тот же я...»

13. Линин Л. А. С. Пушкин на Дону. Ростов н / Д, 1941, с. 26—37, 58—60.

14. Остафьевский архив, т. II, с. 327.

15. Воспоминания, с. 359, 361.

16. Летопись, с. 254.

17. Остафьевский архив, т. II, с. 266.

18. Летопись, с. 317; Пушкин, XII, 189, 190.

19. Здесь чтение слов «Мир <або>» и «Пестель» предполагаемое, в автографе значит скороспью «Мир», «Пе». В пушкиноведении первое имя читалось по-разному: Мират, Мирович, М. Орлов, второе — «Петр», «Пестель». Мною расшифровываются как Мирабо и Пестель. Словом «Мирабо» называли в дружеском кругу Н. Тургенева, а расшифровку «Пестель» подтверждаю тем, что на этом же автографе, как мною установлено, есть незаконченный рисунок — профиль Пестеля. Обоснование такого прочтения записи дано в моих статьях «Только революционная голова...» (Лит. газета, 14 февр. 1979 г.) и «Еще о заметке Пушкина «Только революционная голова...» (В кн.: Сибирь и декабристы. Иркутск, 1981, вып. 2, с. 181—186).

20. Пушкин, XI, 14, 15.

21. В. Е. Якушкин. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 41.

22. Там же, с. 42, 43; Лит. наследство, т. 58. М., 1952, с. 163.

23. Пoesия декабристов, с. 475.

24. Там же, с. 479, 482.

25. Там же, с. 481.

26. Воспоминания, т. I, с. 328.

3. «Ужель надежды луч исчез?»

27. В. Е. Якушкин. Записки, статьи, письма, с. 43.

28. Многие факты противоречивых явлений в истории тайного общества — то подъема революционной активности, то порой кризисных настроений в эти годы — приведены в монографии М. В. Нечкиной «Движение декабристов», т. I, с. 11.

29. Некоторые из этих набросков рассматривались в статьях М. Цявловского и И. Н. Медведевой (обе в кн.: *Пушкин. Временник Пушкинской Комиссии*. М.; Л., 1941, т. VI.).

30. *Пушкин*, II, 294, 808. (здесь и далее при цитировании этой группы набросков даются ссылки и на варианты текста).

31. Там же, 293, 805.

32. Там же, 805.

33. Там же, 293, 805.

34. Поэзия декабристов, с. 475.

35. Там же, с. 481, 482.

4. Новые испытания и новые поиски

I

36. Звенья, т. IX. М., 1951, с. 29.

37. Русская старина, 1904, февраль, с. 358.

38. *Летопись*, с. 464.

39. Русская старина, 1871, декабрь, с. 670, 673.

40. *Летопись*, с. 464.

41. Там же, с. 464.

42. Остафьевский архив, т. V, вып. I, с. 37.

2

43. Полярная звезда, 1825 г., с. 177; *Пушкин*, т. XI, с. 40.

44. Употребление Пушкиным понятия «народ» — многозначно и зависит от контекста (см.: *Словарь языка Пушкина*, т. 2. М., 1957 с. 724—725).

45. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. II. М., 1951, с. 95.

46. *Пушкин*, XI, 34.

3

47. Эйдельман Н. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979 (гл. «11 января 1825»).

48. *Пушкин*, с. 69, 70, 71, 73.

49. Специально этой элегии посвящена статья В. Б. Сандомирской «Андрей Шенье» (в кн.: *Стихотворения Пушкина 1820—1830 годов*. Л., 1974, с. 8—35), сосредоточенная преимущественно на вопросах творческой истории и текстологии. О работах предшественников автора см. с. 9, 10.

50. Томашевский Б. В. кн. II, с. 7.

51. Об А. Н. Раевском как человеке, противоположном по ха-

рактеру брату Н. Н. Раевскому, см. в кн.: Гершензон М. О. История молодой России. М., 1923 (гл. «М. Ф. Орлов»).

52. Цявловская Т. Г. Муза пламенной сатиры. — В кн.: Пушкин на юге. Кишинев, 1961, с. 147—198.

53. Беляев Б. Д. Соболевский о Пушкине. — Пушкин и его современники, вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, с. 45.

Часть пятая

КАТАСТРОФА 14 ДЕКАБРЯ. — ПУШКИН В ПЕРИОД СЛЕДСТВИЯ И СУДА НАД ДЕКАБРИСТАМИ

1. Что знал Пушкин в михайловской ссылке о катастрофе

1. *Воспоминания*, т. 1, с. 425.

2. Лорер Г. И. Записки декабриста. Иркутск. 1984, с. 204 (издание подготовлено М. В. Нечкиной).

3. *Воспоминания*, т. II, с. 7; Грот Н. Я. Пушкинский Лицей. СПб., 1911, с. 107.

2. Вопросы о Пушкине в делах «Высочайше утвержденной Следственной комиссии о злоумышленных обществах»

4. Литературный архив. М.; Л., 1938, т. I, с. 279.

5. Пушкинские дни в Одессе. Одесса, 1900, с. 17.

6. Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором, с. 19.

7. Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста. М., 1888, с. 73.

8. Летопись, с. 659 (цитировано по книге французского историка Поля Лакруа «История жизни и правления Николая I», т. 2, 1865, с. 68, 69). Н. Эйдельман продолжил усеченную в «Летописи» цитату: «Не говорил ли он о первых <т. е. тайных обществах>, что они крысоловки, а о последних <т. е. заговорах>, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки?» (Эйдельман Н. Пушкин и декабристы, с. 347). Полагаю, что эту последнюю фразу Пушкин вообще не мог сказать, да еще Пушину, которому не раз говорил о желании вступить в общество. Можно лишь допустить, что на следствии Пушину, стараясь как можно более убедительно внушить Николаю I, что Пушкин не имел никакого отношения к декабристскому движению, и «обеляя» своего ближайшего друга в глазах царя, мог употребить при этом любые резкие слова.

9. Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 159 (Нечкина М. Новое о Пушкине и декабристах).

10. Щеголев П. Е. Пушкин. Исследования, статьи, материалы. Т. II, с. 75; ВД, т. IX, с. 263.

11. Нечкина М. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. — Каторга и ссылка, 1930, кн. 4, с. 24; ВД, т. IX, с. 125.

12. ВД, т. III, с. 128.

13. ВД, т. I, с. 156.

14. Пушкин, XIII, 241.

15. ВД, т. I, с. 430.

16. Там же, с. 142.

17. Там же, с. 192.

18. Летопись, с. 723.

19. ВД, т. XIV, с. 326.

20. Из писем и показаний декабристов / Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906, с. 66, 67, 70; ВД, т. XIV, с. 177.

21. Нечкина М. О Пушкине, декабристах..., с. 9.

22. ВД, т. IX, с. 49.

23. ВД, т. IX, с. 289.

24. Там же, с. 49; ВД, т. XIII, с. 298, 299.

25. ВД, т. IX, с. 289.

26. Там же, с. 118—119.

27. Там же, с. 175.

28. Там же, с. 118.

29. Там же, с. 249, 257.

Вопрос об упоминаниях Пушкина в делах Следственной комиссии издавна привлекал внимание исследователей. Впервые по архивным документам он был затронут в статье, включенной в книгу П. Е. Щеголева «Пушкин. Очерки», СПб., 1912 (первоначально в журнале «Русская мысль», 1910, май). В дальнейшем исследователи возвращались к этому вопросу по мере публикации следственных дел в издании «Восстание декабристов» (т. I—XVIII). В 1951 г. появилась «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина», т. I, составленная М. А. Цявловским, где в хронологическом порядке были приведены выдержки из «Восстания декабристов» и других источников упоминаний Пушкина в ходе следствия. «Летопись» способствовала разработке этого вопроса литературоведами и историками (Д. Д. Благим, Н. Л. Бродским, Ю. Г. Оксманом, В. В. Пугачевым и др.).

В данной книге (а ранее в статье «Пушкин в ходе следствия и суда над декабристами». Изв. отделения лит. и яз. АН СССР, 1955, т. 14, вып. 2) мною предпринята попытка выяснить логику следствия, затрагивавшего Пушкина, и объяснить причины упоминания о нем декабристами на допросах. Из работ последнего времени нужно

отметить книгу Н. Эйдельмана «Пушкин и декабристы», где в третьей части («Михайловское», с. 348—360 и 365—368) выстроена с уточнениями хроника допросов.

30. Пушкин, XIII, 264.

3. «И я бы мог...»

31. См. подробный обзор споров о различных вариантах прочтения этой записи в кн. Г. А. Невелева «Истина сильнее царя: А. С. Пушкин в работе над историей декабристов». М., 1985, с. 69—78. (В этой же книге изучены источники осведомленности Пушкина о ходе следствия, экзекуции и казни декабристов, с. 12—62.)

32. Цявловская Т. Г. Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина. — В кн.: Литературное наследие декабристов, с. 203—207. В этой статье, содержащей интересные соображения, приговор по делу декабристов цитируется по выдержке из книги М. В. Нечкиной «Движение декабристов», т. 11, с. 404, без учета того, что Нечкина при этом указывает далее: привлеченные по делу тайного общества приговаривались к той или иной мере наказания по одиннадцати разрядам в зависимости от «тяжести преступления».

33. С. Я. Гессен утверждал в статье «Пушкин накануне декабрьских событий» (в кн.: Пушкин. Временник. М.; Л., 1936, т. 2), что Пушкин не мог оказаться в Петербурге в день восстания, так как узнал о нем позже. С этим мнением не согласился М. А. Цявловский (*Летопись*, с. 783—784). Вместе с тем в статье Гессена есть убедительные доказательства против некоторых легенд, выдаваемых за истину (в частности, против версии о том, что Пушкин намеревался ехать в Петербург под видом крепостного П. А. Осиповой Алексея Хохлова, изготовив с этой целью документ от имени Осиповой (*Летопись*, с. 654, 784).

Часть шестая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУШКИНА ИЗ ССЫЛКИ. — ТАКТИКА НИКОЛАЯ I

1. Николай I дважды экзаменует Пушкина

1. Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором, с. 17. 18 (подлинник по-французски).

2. Подробнее о командировке Бошняка в Псков — Михайловское для расследования поведения Пушкина в ссылке см. в кн.: Эйдельман Н. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотноше-

ний, с. 381—400 («Открытое предписание»); Эйдельман Н. Секретная аудиенция. — Новый мир, 1985, № 12.

3. Пушкин, XIII, 284.

4. Летопись, с. 727.

5. Пушкин, XIII, 298, Анализ пометок Николая I на «Записке о народном воспитании» см. в статье А. Г. Цейтлина «Записка о народном воспитании». — Лит. современник, 1937, № 1.

6. Военно-исторический архив, ф. 722, оп. 1, № 261.

7. Вульф А. Н. Дневник; Майков Л. Пушкин. СПб., 1899, с. 156.

2. «В надежде славы и добра...» и рассеянные иллюзии

8. Из писем и показаний декабристов. / Под ред. А. К. Бороздина. С. 21, 44. Ср. с. 25, 26, 44, 71, 81.

9. Висковатов С. Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Павловичу, Самодержцу Всероссийскому. — Новости литературы, 1826, февраль, с. 36; Русская старина, 1881, № 9—11.

10. Здесь цитируется первая редакция стихотворения. О его истории см. в кн. М. А. Цявловского «Статьи о Пушкине» М., 1962, с. 16, 17.

11. Ю. Г. Оксман справедливо отмечает, что политические иллюзии, отразившиеся в этом стихотворении, Рылеев изжил лишь после вступления в Северное общество осенью 1823 г. (Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. М., 1956, с. 359).

Часть седьмая

ПАМЯТЬ

1. Последекабрьская ситуация

1. Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т., изд. АН СССР, т. VII, с. 214; И. А. Гончаров. Собр. соч. М., 1954, т. VIII, с. 247.

2. Пушкин, XIII, 241.

3. Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. VII, с. 214, 215.

4. Моск. телеграф, 1826, ч. 7, отд. I, с. 102, 103; Литературный архив, М.; Л. 1938, т. I, с. 271 (из архива Д. И. Хвостова, публикация А. В. Западова); Русский архив, 1901, кн. 2, с. 343, 344.

5. Русский архив, 1870, № 7. с. 1366.

6. Гангелов А. С. Воспоминания декабриста, с. 83; письмо А. С. Грибоедова к Ф. В. Булгарину (дат. между 18 февр.

6 марта 1826 г.); Грибоедов А. С. Соч. в 2-х т. М., 1971, т. 2, с. 261; Пушкин, XIII, 254.

7. Москвитянин, 1841, ч. 1, с. 522.

8. Ростопчина Е. П. Сочинения. СПб., 1890, с. 50, 51.

9. Пушкин, XIII, 295; Там же, с. 297.

10. Русский архив, 1865, № 20, стб. 96, 97, 98, 99.

11. Красный архив, 1930, кн. 1 (38), с. 141, 142.

12. Мандрыкина Л. А. После 14 декабря 1825 г. (агитаторы конца 20-х — начала 30-х гг.); Декабристы и их время / Под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, с. 231, 232; Красный архив, 1926, кн. 3(16), с. 194.

13. Пушкин. Полн. собр. соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910, т. IV, с. XXIII примеч.

В течение последних лет в литературе встречаются модификации трактовки Венгеровым стихотворения Пушкина «В Сибирь» и соответствующие возражения (см., например, дискуссию на эту тему в «Вопросах литературы», 1985, №5). По моему убеждению, неправомерной является сама постановка вопроса о том, что «Стансы» («В надежде славы и добра..») и «В Сибирь» свидетельствуют в равной мере о том, что все надежды поэта ограничивались только ожиданием милостей царя. Замысел каждого из этих стихотворений совершенно различен. В условиях разгрома восстания и внутренней было Николаем I надежды, что он берет на себя роль нового Петра, Пушкин полагал, что ему предстоит миссия «советника у трона» (подробнее см. об этом выше, в части VII). Содержание предназначенного для печати стихотворения «Стансы» — своеобразное поучение царю. Другое дело — нелегальное послание в Сибирь, где выражены верность идеалам свободы и убеждение, что эти идеалы все же победят. Следует еще раз подчеркнуть, что по смыслу послания в Сибирь узники получат свободу не от царя, а от «братьев» и что их тюрьмы будут разрушены.

14. Красный архив, т. XIII, 1923, с. 292—297; Гернет М. Н. История царской тюрьмы (1825—1870). М. 1951, т. II, с. 197; Русская старина, 1881, т. XXXII, сентябрь, с. 191.

15. Нечкина М. Заговор в Зерентуйском руднике. — Каторга и ссылка, 1925, кн. 6 (13); перепеч. в кн. М. Нечкиной «О нас в истории напишут...» (Иркутск, 1982).

16. Декабристы и их время, т. I. М., 1928, с. 222, 226; Поэзия декабристов, с. 651; «Мнимые стихотворения А. И. Одоевского», сообщение М. А. Брискмана. — Декабристы и их время / Под ред. М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха, с. 204—213; Поэзия декабристов, с. 419, 364.

17. Поэзия декабристов, с. 355.

18. Шадури Вано. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958 (о Пушкине и декабристах на Кавказе, гл. V и VII).

19. Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929, с. 44; *Пушкин*, с. 85.

20. *Пушкин*, с. 84—85; Воспоминания Бестужевых, с. 485; Корнилович А. О. Сочинения и письма / Подг. А. Г. Грум — Гржимайло и Б. Б. Кафенгауз. М.; Л., 1957, с. 336.

21. Гуревич А. Пушкин и Сибирь. Красноярск, 1952, с. 30.

22. Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы, т. I, с. 175.

23. *Пушкин*, XVI, 169.

24. Щеголев П. Е. Декабрист И. И. Горбачевский о Пушкине. — В кн.: Щеголев П. Е. Пушкин: Исследования, статьи, материалы, т. II, с. 293—296: см, также соображения на эту тему в кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960, в статье В. Э. Вацура «Пушкин и Аркадий Родзянко». — Временник Пушкинской Комиссии 1969. Л., 1971, с. 65 и в кн. Н. Я. Эйдельмана «Пушкин и декабристы», с. 164—167.

25. Записки декабриста И. И. Горбачевского. — Задруга. М., 1916, с. 300.

26. *Пушкин*, с. 119; Отечественные записки, 1860, июль, т. 131, с. 73.

27. Языковский архив, вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным (1822—1829). СПб., 1913, с. 290; Соч. и переписка П. А. Плетнева. Изд. Я. Грота. СПб., 1885, т. III, с. 524; А. Н. Вульф и его дневник, Л. Майков, Пушкин. СПб., 1899, с. 191; Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. М.; Л., 1960; Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Изд. АН СССР, т. III, с. 712.

28. *Пушкин*, с. 507; Русский вестник, 1870, июнь, т. 87, с. 507; Там же, 1861, апрель, т. 32, с. 429; Там же, 1861, апрель, т. 32, с. 436.

29. Марлинский А. Клятва при гробе Господием. Соч. Н. Полевого. — Моск. Телеграф, 1833, ч. 53, с. 101; Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы, т. I, с. 178; *Пушкин*, с. 87.

2. Пушкин и заветы декабристов

30. Русский вестник, 1861, апрель, т. 32, с. 436.

31. Вадковский Ф. Желания. — В кн.: Поэзия декабристов, с. 700.

32. Опубликовано в ст. Мейлаха «Из неизданного литературного наследия декабристов» (текст стихов по-французски и в русском переводе). — В кн.: Декабристы и русская культура, с. 227, 228.

33. Вопрос о широком комплексе связанных с декабризмом мо-

тивов и метафорических определений в лирике Пушкина 1826—1837 гг. рассматривался мною на пятой Всесоюзной пушкинской конференции (Л., 1955) и в кн. «Талисман» (изд. 1—М., 1975, 2—1984). О приемах, использованных Пушкиным в разработке декабристских мотивов некоторых стихов после катастрофы восстания 14 декабря, см. в кн. Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина (1826—1830)» (М., 1967) и в статье Р. В. Иезуитовой «К истории декабристских замыслов Пушкина 1826—27 гг. (в кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983).

34. В черновых вариантах этот мотив звучит сильнее: «И горько зарыдал...»; «И на колени пав, заплакал, зарыдал». В черновике есть упоминание о «семье друзей». Ср. также в черновике первой редакции (1825) стихотворения И. И. Пушкину трагические воспоминания о «днях упований и свободы» и о судьбе, разбившей Лицей «рукой железной».

35. Пушкин подразумевал следующее место из письма аббата Фердинанда Гальяни 1774 г.: «Знаете ли Вы, что такое высшее ораторское искусство? Это искусство сказать все и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить всё» (см. комментарий Б. А. Модзалевского в кн.: Пушкин. Письма, т. 2. М.; Л., 1928, с. 170).

36. См.: Томашевский Б. Пушкин. Кн. 2. Материалы к монографии (1824—1837). М., 1961, с. 18—44.

37. Цитата из «Книги Иова» (гл. XIII, стих 17): «Послушайте, послушайте глагол моих».

38. См.: Базанов В. Карельские поэмы Федора Глинки. Петрозаводск, 1945, с. 108—124; Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830), с. 172—178.

39. Письмо П. В. Киреевского Н. М. Языкову от 12 октября 1832 г.—Ист. вестник, 1883, с. 535, 536.

40. Моск. телеграф, 1828, № 1, с. 127.

41. Пушкин, XI, 59; Литературный музей, 1827, с. 265, 267.

42. Неизданный Пушкин, т. II, 1922 (мнение Н. К. Казьмина).

43. См. об этом в моей вступительной статье к антологии «Поэзия декабристов», с. 33, 34.

44. Как установлено Б. В. Томашевским, именно эта эпиграмма на Карамзина, а не какая-нибудь другая принадлежит Пушкину (см. его книгу «Пушкин», кн. I, М.; Л., 1956, с. 225—227). Об остром споре с Карамзиным, когда Пушкин сказал ему: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе», см. в воспоминаниях Пушкина. В его же письме П. А. Плетневу 21 января 1831 г. есть такое признание: «Карамзин под конец был мне чужд». Критике «Истории» Карамзина декабристами и Пушкиным посвящены, с. 104—112 в кн. Н. Эйдельмана «Последний летописец» (М., 1983).

45. Рескрипт Николая I и описание похорон Карамзина напечатаны в «Северной пчеле» (1826, № 63); сообщения и статьи в «Северной пчеле» (1826, № 64; «Journal de St.-Petersbourg», 1826, № 123; «Дамском журнале», 1826, ч. XIV, № 12, и др. Давление официозных мнений в связи со смертью Карамзина было настолько ощутимым, что даже в статье о Карамзине, напечатанной в «Северных цветах» (СПб., 1827), упоминается о «нежнейшем участии» Николая I в судьбе Карамзина (хотя статья обходит вопрос о политической позиции историографа, выдвигавшейся в статьях других изданий); Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 411; Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, 1810—1826. СПб., 1898, с. 171.

46. Архив Тургеневых, вып. VI, 1921, с. 54; «Наше молчание о Карамзине и так неприлично; но не Булгарину прерывать его», — писал Пушкин Дельвигу 31 июля 1827 г., призывая его не помещать в «Северных цветах» статью Булгарина «Вечер у Карамзина».

47. Острота и общая ситуация этой борьбы охарактеризованы в статьях М. В. Нечкиной и И. Н. Медведевой, посвященных соответственно декабристам Михаилу Орлову и Никите Муравьеву как критикам «Истории государства Российского» Карамзина (Литературное наследство, т. 59. М., 1954, с. 557—564 и 569—580). В современных изданиях сочинений Пушкина, кроме академического, при печатании «Отрывков» оба этих имени — Н. Муравьева и М. Орлова — даны полностью, без оговорок, что они при печатании в «Северных цветах» не могли быть раскрыты; во вступительной статье к публикации писем М. Орлова к Вяземскому М. Нечкина справедливо замечает, что Пушкин неточно передает слова Орлова: это можно объяснить лишь тем, что Пушкин не читал письма Орлова и знал его лишь в пересказе Вяземского, который не понял или не хотел понять мысли Орлова, вовсе не требовавшего от Карамзина «какой-нибудь блестящей гипотезы...», а выступившего против ложной норманской концепции Карамзина (Литературное наследство, т. 59, с. 560, 561).

48. Оговорка «почти никто не сказал спасибо» Карамзину здесь весьма существенна: в самом важном из декабристских документов, критиковавших «Историю» Карамзина, — в «Записке» Никиты Муравьева — труду историографа воздается дань почти в тех же словах, какими говорил об этом Пушкин (Муравьев писал, разбирая предисловие: «...Н. М. Карамзин... посвятил 12 лет постоянным, утомительным изысканиям... До сих пор, однако ж, никто не принял на себя лестной обязанности изъяснить историку благодарность») (Литературное наследство, т. 59, с. 582). Из этого следует, что Пушкин полностью соглашался с характером этой «Записки», выделяя «пылкого и умного» Муравьева среди других критиков Карамзина.

49. Альманах «Северные цветы на 1828 год» вышел в свет 22 декабря 1827 г.

50. В примечании Ю. Г. Оксмана (Пушкин. Собр соч. М., 1962, т. VI, с. 474).

51. Северная пчела, 1826, № 60, 20 мая.

ЭПИЛОГ

«Сердце в будущем живет...»

1. Моск. телеграф, 1833, ч. 52, с. 542; Декабрист М. С. Луниц, Сочинения и письма, 82.

2. Пушкин, XII, 334.

3. Чернышевский Н. Г., т. II с. 459 («Сочинения Пушкина»); Томашевский Б. В. Пушкин, II, 186, 187.

4. Пушкин, III, 464.

5. Пушкин, с. 87.

СОДЕРЖАНИЕ

Факты истории и история фактов (Вместо предис-
ловия) 3

Часть первая

Преддекабристское «приготовление общего мнения».
Опыты воспитания «истинных сынов отечества» . . . 7

Часть вторая

Мятая наука и мятая поэзия 50

Часть третья

Идеи декабристов и Пушкина о национальном
возрождении России и путях культуры 104

Часть четвертая

«...И постепенно сетью тайной...» — В орбите декабристов
юга России 153

Часть пятая

Катастрофа 14 декабря.— Пушкин в период
следствия и суда над декабристами 231

Часть шестая

Возвращение Пушкина из ссылки.— Тактика Нико-
лая I 262

Часть седьмая

Память 287

Эпilog. «Сердце в будущем живет...» 371
Примечания 348

МЕЙЛАХ БОРИС СОЛОМОНОВИЧ

ДЕКАБРИСТЫ И ПУШКИН

Редактор *Л. В. Иоффе*
Художественный редактор *Е. Г. Касьянов*
Художник *А. И. Аносов*
Технический редактор *А. В. Пономарева*
Корректор *Г. Ф. Клешина*

ИБ № 1372.

Сдано в набор 20.01.87. Подписано в печать 16.04.87.
HE 00047. Формат 70×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1.
Гарнитура академическая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,18. Уч.-изд. л. 16,5. Усл. кр.-отт. 16,84.
Тираж 50 000. Заказ 1606. Изд. № 6095. Цена 70 к.

Восточно-Сибирское книжное издательство
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда».
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.



